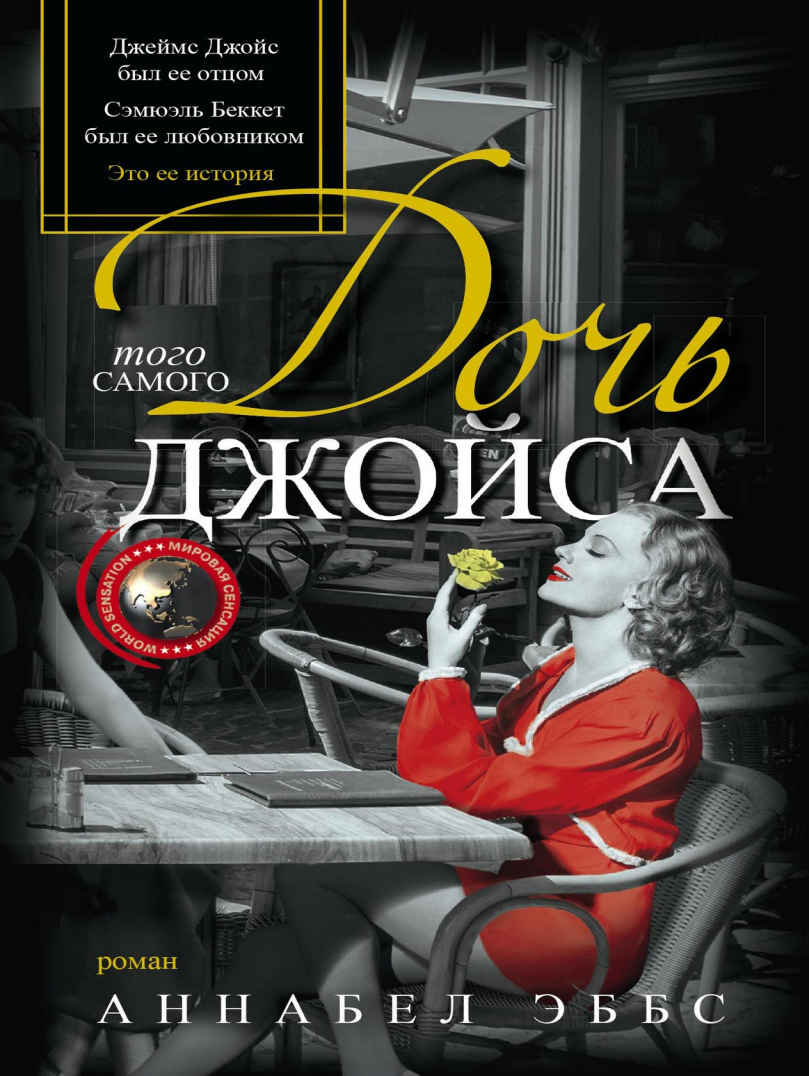
Джеймс Джойс
был ее отцом

Сэмюэль Беккет
был ее любовником

Это ее история

Дочь того САМОГО ДЖОЙСА



роман

АННАБЕЛ ЭББС

Дочь того самого Джойса
Аннабел Эббс

Аннотация
Аннабел Эббс. Дочь того самого Джойса
Дочь того самого Джойса. роман
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Глава 19

Глава 20
Глава 21
Эпилог
Историческая справка
Послесловие

Аннотация

Книга о любви, творчестве и жизни в тени гения. Завораживающее повествование о драматической судьбе Лючии Джойс, дочери писателя Джеймса Джойса, автора знаменитого «Улисса», танцовщицы, блестяще дебютировавшей на одной из лучших сцен Парижа, талантливой художницы, красавицы, прекрасно говорившей на четырех языках. Что же подорвало так ярко начавшуюся жизнь Лючии? Отчего закатилась ее сверкающая звезда? Автор рассказывает потрясающую и малоизвестную историю, произошедшую в один из самых насыщенных культурных периодов XX века.

Аннабел Эббс
Дочь того самого Джойса

* * *

Оформление художника Я. Л. Галеевой

© Annabel Abbs 2016
© Перевод и издание на русском языке «Центрполиграф», 2018
© Художественное оформление «Центрполиграф», 2018

Дочь того самого Джойса
роман

Существуют грехи или (назовем их так, как называет их мир) дурные воспоминания, которые человек стремится забыть, запрятать в самые дальние тайники души, – однако, скрываясь там, они ожидают своего часа.

Джеймс Джойс. Улисс. 1922 г.

Сентябрь 1934 года

Кюснахт, Цюрих

Я стою на палубе и смотрю, как за кормой кипит белая пена. Цюрих медленно исчезает за горизонтом, и я жду, когда же передо мной появится Кюснахт. Ветер стряхивает с деревьев сухие, скрученные листья. Воздух холодный и промозглый, над озером стоит тонкий запах разложения.

Я хожу к нему уже три недели. Мы встречаемся в его старом, требующем ремонта, каком-то квадратном доме в Кюснахте. Три раза в неделю я приезжаю на сеансы на пароме. И за все это время

я не сказала ни слова. Но сегодня что-то, кажется, изменилось. Я осознаю, что новое, незнакомое прежде чувство будто ворочается внутри меня, и мое молчание начинает меня угнетать.

Все озеро залито осенним солнцем. У самой поверхности резвятся маленькие рыбки, выпрыгивают из воды, совершают пируэты, и их полосатые спинки блестят, словно крошечные звезды, упавшие с небес. Я смотрю на них, и странное ощущение зарождается где-то в подошвах ног, пробирается выше, к щиколоткам, охватывает икры. Пробегает по спине. Я невольно начинаю покачивать бедрами и постукивать пальцами о поручни, отбивая ритм. Как будто мое тело, скучное, ничем не примечательное тело, снова хочет стать красивым, превратиться в предмет всеобщего поклонения.

Сегодня я заговорю. Я отвечу на все его утомительные вопросы. И скажу, что снова хочу танцевать. Да. Мне нужно, необходимо опять танцевать…

* * *

Доктор Юнг складывает пальцы домиком. Их кончики касаются его аккуратно подстриженных усов.

— До восемнадцати лет вы спали в одной комнате с отцом. Как вы переодевались? — Его глаза похожи на маленькие кружки, излучающие свет. Он не сводит взгляда с моего лица.

— Я спала в одежде, — смущенно отвечаю я, зная, что за вопросы последуют дальше. И меня от них тошнит. А еще они до смерти мне надоели.

— Почему вы не раздевались?

Его слова повисают в воздухе. Я плотнее закутываюсь в свое кротовое пальто. Маленькая настойчивая горничная все пыталась отобрать его у меня в прихожей. Повторяла, что в кабинете у доктора очень тепло, она сама разожгла камин.

— Крысы ведь не переодеваются на ночь, не так ли?

— Крысы? — Доктор Юнг резко поднимается с кресла и начинает расхаживать по комнате. — Я рад, что вы наконец-то решили заговорить, мисс Джойс, но объясните, что вы имеете в виду.

— Мы жили в самых разных местах. Наверное, их были сотни… комнаты… квартиры… В Италии, в Швейцарии, в Париже. — Я уже чувствую, что от слов у меня вяжет во рту. Мне хочется стиснуть зубы и замолчать. С меня хватит этих бесед, этих бесконечных вопросов. Но я быстро провожу языком по верхней губе и заставляю

себя продолжать: — Когда состоятельные люди — покровители отца — стали давать нам деньги, мы перебрались на Робьяк-сквер. До этого мой брат Джорджо всегда называл нас «эмигрантскими крысами».

— А ваш отец называл это изгнанием. — Доктор Юнг подходит ближе и склоняется надо мной, так что наши лица находятся на одном уровне. Может быть, он и в самом деле способен заглянуть в мою пустую, разграбленную душу, думаю я. Понять, как меня предали, как отняли у меня все. — Расскажите мне об «Улиссе». Признаюсь вам, я заснул, читая его. — Он снова опускается в кресло, делает какие-то пометки в записной книжке и опять упирается в меня глазами. — Роман, запрещенный за непристойность. Что вы чувствовали, зная, что ваш отец — автор порнографической книги?

За окном облако закрывает солнце.

— «Улисс»… — повторяю я и копаюсь в своей дырявой, будто изъеденной молью памяти, пытаясь отыскать хоть какие-то зацепки. Толстый синий корешок… золотые буквы… мама вырывает из рук… — Моя мать однажды увидела у меня роман и отняла его. Она сказала, что у отца грязное воображение и что мне будет позволено его

прочитать, лишь когда я выйду замуж. Замуж! — Я горько усмехаюсь.

— Так вы прочли его?

— Конечно. Это величайшая книга из всех, что когда-либо были написаны. — Я не признаюсь доктору, что и мне тоже сюжет показался скучным, персонажи странными и слишком сложными, я ничего не поняла и так и не добралась до «развратных мест», о которых судачили все вокруг. Вместо этого с моих губ неожиданно срывается вопрос о баббо[1], вопрос, который все еще мучает меня даже по прошествии стольких лет.

— Доктор, мой отец в самом деле сумасшедший извращенец?

Доктор Юнг внимательно смотрит на меня сквозь очки в тонкой золотой оправе. Я вижу, как расширяются его глаза. Он шумно вздыхает и медленно склоняет голову.

— Почему вы спрашиваете меня об этом, мисс Джойс?

Я так тесно стягиваю полы пальто, что оно сдавливает грудную клетку и мне становится трудно дышать.

---

[1] Примечания: 1

Баббо *(ит.* babbo) — папа. *(Здесь и далее примеч. пер.)*

— Я прочитала это в одной газете, — с трудом выдавливаю я. — Они назвали его сумасшедшим извращенцем. А «Улисс» — похабщиной и самым непристойным романом всех времен. — Мой голос отделяется от тела и живет сам по себе, как будто ни слова, ни звуки, что я произношу, не имеют ко мне никакого отношения.

— Как вы думаете, почему ваш отец выбрал себе в жены горничную? — Доктор подается вперед и сдвигает очки на лоб — он снова внимательно изучает меня.

— Ему не нравятся умные женщины. Так он однажды сказал. — Опять же, я не признаюсь, что *точно* знаю, почему отец женился на горничной. Есть вещи, о которых не говорят. Особенно с толстыми швейцарцами с часами-луковицей на цепочке, которым платят за час работы, как женщинам легкого поведения. И вообще ни с кем.

Доктор Юнг кивает и задумчиво покусывает ноготь большого пальца. Он постоянно наблюдает за мной, следит за каждым движением, каждой реакцией, пытается влезть мне в душу. Потом берет ручку и записывает что-то в книжку, и я слышу, как перо царапает бумагу. Я поглаживаю мех кротового пальто — такой мягкий, такой успокаивающий. Словно ласкаю маленькую

собачку, свернувшуюся у меня на коленях. Лицо мамы уже расплывается перед моим внутренним взором — ее черные брови, похожие на перья ворона, тонкие губы, мягкие щеки, покрытые сеточкой красноватых сосудов.

— Больше не хочу о ней говорить. Она сделала со мной это. — Я три раза постукиваю пальцем по виску.

Доктор бросает писать и застывает в задумчивости. Это длится так долго, что у него начинают подергиваться веки.

— Расскажите о ваших отношениях с отцом. До того, как вы стали спать в одной спальне.

— Он всегда писал. До тех пор, пока не был закончен «Улисс», едва со мной разговаривал. — Я опускаю ресницы и любуюсь своими новыми туфельками из мягчайшей итальянской кожи. И поджимаю пальцы. Нет нужды рассказывать больше. Пока нет…

— Вы сражались за его внимание со множеством людей — как реальных, так и придуманных. — Глаза доктора, яркие, как шутихи, словно впиваются мне в мозг.

— Полагаю, так оно и было.

Я зарываюсь пальцами в мех, играю с ним, провожу рукой против ворса и думаю о своих жадных

братьях и сестрах. Обо всех этих персонажах его романов, расхаживающих по Дублину. Да-да, мои жадные братья и сестры. Это они отняли у меня баббо. Я смело выдерживаю взгляд доктора, надеясь, что кажусь дерзкой и уверенной в себе. Но, скрытые под кротовым пальто, на шее у меня выступают капельки пота и струятся вниз, в глубину декольте.

— Для чего я здесь?

Мне нужно отделаться от его бесконечных вопросов. Времени осталось совсем мало. Вещь, над которой работает папа, все еще не закончена. Баббо нужна моя помощь. Я всегда его вдохновляла. И какая польза от меня, заключенной в Швейцарии? Мои стопы слегка подергиваются, взад-вперед, взад-вперед. Это напоминает мне быстрые вдохи и выдохи человека, которого вдруг охватила паника.

— Вы здесь по просьбе вашего отца, мисс Джойс. Но, поскольку до нынешнего дня вы упорно хранили молчание, нам с вами предстоит еще много долгих бесед. Расскажите мне о Джордже — Доктор Юнг переплетает пальцы и выжидающе смотрит на меня.

Джордже. При одном только звуке его имени меня словно омывает теплая волна любви. Десять

лет мы с Джордже были нераздельны, как сиамские близнецы. Я смотрю на свои руки, как будто сейчас увижу на них белые следы от его пальцев. Он всегда хватал меня за руки. Оттаскивал от каждой встреченной тощей бродячей кошки с выступающими ребрами, которую мне непременно нужно было взять домой. Поддерживал, когда мы поднимались по крутым улочкам Триеста. Сотни раз не давал мне свалиться прямо под колеса омнибуса. Но никаких следов, конечно, нет. Лишь блестящий, сморщенный, но почти незаметный шрам на большом пальце. Однако я начинаю вспоминать что-то еще. Что-то маячит на задворках памяти. Я замираю, пытаясь задержать уплывающие образы, оживить их. Но ничего не выходит. Я только чувствую, как в затылке зарождается тупая боль. Несколько бесконечно долгих минут я тру виски. Тишина просачивается внутрь меня, водоворотами кружится в ушах, а в мозгу постепенно расцветает боль.

Доктор бросает взгляд на тяжелые золотые часы с цепочкой, что лежат перед ним на столе.

— Наше время на сегодня истекло, мисс Джойс. Но я бы хотел, чтобы вы написали мне нечто вроде мемуаров о тех годах, что вы провели на Робьяк-сквер. Вы можете это для меня сделать?

— Для *вас?* Я полагала, что это лечение разговорами должно помочь мне.

— Это нужно мне для того, чтобы помочь вам. — Он говорит медленно, четко произнося каждое слово, как будто обращается к ребенку или слабоумному. Затем берет со стола часы и со значением смотрит на них. — В следующий раз принесите первую главу.

— Но с чего мне начать?

— Вам теперь двадцать семь? — Доктор кладет часы обратно и загибает мясистые пальцы, что-то подсчитывая. — Вы сказали, что вашим первым возлюбленным был некий мистер Беккет, верно? — Он энергично кивает. — Вот и начните с него. Вы помните, когда впервые его увидели?

— Подождите, — говорю я и закрываю глаза.

Воспоминания приходят ко мне, маленькие кусочки, крохотные детали медленно выступают из темноты. Сначала бледные, совсем слабые. Потом — яркие и резкие. Запах устриц и eau de parfum[2], турецких сигарет и сигарного дыма. Хлопают пробки от шампанского, погромыхивает лед в стальных ведерках, звякают, звякают, бесконечно звякают бокалы. Я помню все: ослепительный

---

[2] Примечания: 2
Парфюмированная вода *(фр.).*

свет люстр в ресторане, громкие разговоры, тюрбан на голове Стеллы, похожий на маленькую желтую тыкву, влажное дыхание Эмиля на моей щеке, сияющие глаза баббо, произносящего тост в мою честь, все до единого слова мамы и баббо. О да… все их слова. О рождении, о свадьбе, о моем таланте и будущем, которое меня ожидает. Тогда мне казалось, что жизнь услужливо расстилается под моими ногами, усыпанная розами и золотыми блестками, сверкающая, прекрасная, полная возможностей.

Я открываю глаза. Доктор Юнг уже поднялся и отодвинул кресло. Он стоит возле стола и нетерпеливо постукивает пальцами по кожаной спинке. Словно стрелки его золотых часов отщелкивают секунды.

— Я знаю, с чего мне начать, — говорю я.

Я начну с того момента, когда в моем юном сердце впервые проклюнулись ростки желания и честолюбия, как жадные молодые побеги сорняков, позже заполонившие собой все. Потому что это и было начало. Что бы там ни говорили, *это* было начало.

Глава 1

Ноябрь 1928 года

Париж

— Два гения в одной семье. Уж не посоперничать ли нам? — Не отрывая глаз от газеты, баббо повернул на пальце перстень с драгоценным камнем. Он внимательно вглядывался в мою фотографию на странице, так, будто никогда не видел меня раньше. — Как же ты прекрасна, mia bella bambina[3]. Твоя мать выглядела точно так же, когда мы с ней сбежали.

— Вот мое любимое место, баббо. — Я вырвала у него из рук газету и, задыхаясь от восторга, зачитала отрывок из отзыва на мой танцевальный дебют: — «Когда она достигнет пика мастерства, Джеймс Джойс, возможно, будет известен прежде всего как отец своей дочери».

— Какое яростное, неукротимое у тебя тщеславие, Лючия. Эта строчка словно выгравирована в моей памяти. Позволь-ка мне. — Высоким, чуть

---

[3] Примечания: 3
Моя красивая девочка *(ит.).*

пронзительным голосом он продекламировал: — «Лючия Джойс — истинная дочь своего отца. Она унаследовала от Джеймса Джойса его увлеченность, энергию и — хотя пока нам еще неизвестно, в какой степени, — его гениальность». — Он остановился и двумя пальцами, потемневшими от табака, прикоснулся к только что тщательно набриолиненным волосам. — Твое выступление было поразительным. Такой потрясающий ритм и в то же время эфемерность… Я снова думал о радугах. — Баббо на секунду прикрыл глаза, словно вспоминая минувший вечер, и снова открыл их. — Что еще говорит о моем чаде газета — с чьим авторитетом, несомненно, никто не осмелится поспорить?

— Тут сказано: «Этот дебют сделал ей имя в Театре Елисейских Полей, этом главном храме авангардного танца в Париже. Она танцует дни напролет — репетирует с труппой, занимается хореографией или просто танцует сама для себя. Когда же Лючия не танцует, она придумывает костюмы, разрабатывает цветовые комбинации и эффекты. Вдобавок ко всем своим прочим талантам она говорит не меньше чем на четырех языках — и бегло! — и к тому же обладает весьма выразительной внешностью: это

высокая, стройная, невероятно грациозная красавица с каштановыми волосами, уложенными в прическу „боб“, голубыми глазами и чудесной фарфоровой кожей. Мы в восхищении!»

Я швырнула газету на диван и принялась вальсировать по гостиной, ярко, эффектно, экспрессивно. В моих ушах все еще звенели аплодисменты, эйфория пьянила меня. Я подняла руки и закружилась, проносясь мимо столь любимых баббо портретов его предков в золоченых рамах; вокруг сложенных в стопки томов энциклопедии «Британника», которые порой служили табуретами льстецам баббо, когда они собирались, чтобы послушать, как он читает; мимо маминых папоротников в горшках…

— Весь Париж читает про меня, баббо. Про *меня*! И… — Я остановилась и погрозила ему пальцем. — И *тебе* стоит поостеречься!

Баббо скрестил ноги и лениво откинулся на спинку кресла, наблюдая за мной. Он всегда наблюдал за мной.

— Сегодня поужинаем в «Мишо». И будем пить за тебя и праздновать твой успех до самого утра, mia bella bambina. Пригласи свою американскую подругу-танцовщицу, пусть она украсит наше общество своим присутствием. А я приглашу

мисс Стейн. — Он снова пригладил волосы, на сей раз с озабоченным видом. — И еще, я полагаю, тебе следует позвать того молодого человека, что сочинил музыку.

— Да, я скажу Эмилю… мистеру Фернандесу. — Мое сердце подпрыгнуло, я поднялась на цыпочки и сделала пируэт — один, второй, третий, а потом упала на диван. И тут же взглянула на баббо — заметил ли он, как участился мой пульс, когда он упомянул Эмиля? Но он опять закрыл глаза и играл с усами, прижимая кончики к лицу указательными пальцами. Интересно, мелькнуло у меня в голове, думает ли он сейчас о мисс Стелле Стейн, которая делает иллюстрации к его книге, или прикидывает, помадить ему усы или нет перед тем, как мы отправимся в «Мишо».

— А в газете ничего не написали о композиторе, как, еще раз, ты сказала, его зовут? — Баббо открыл глаза и посмотрел на меня.

Мне показалось, что его зрачки за толстыми стеклами очков плавают, словно черные головастики в кувшине с молоком.

— Эмиль Фернандес, — повторила я.

Услышал ли он особую, нежную интонацию, с которой я произнесла это имя? Работая над моим дебютным выступлением, мы с Эмилем

сблизились и стали неравнодушны друг к другу, и я не знала, как отнесется к этому баббо. Когда дело касалось меня, он всегда вел себя так, будто я принадлежу ему, и только ему, и они вместе с мамой принимались втолковывать мне, что принято и что не принято делать в Ирландии. Когда я возражала, что теперь мы в Париже и у каждой здешней танцовщицы сотни любовников, баббо глубоко вздыхал, а мама вполголоса бормотала: «Шлюхи, распутницы, хоть бы унцию стыда имели!»

— Я позвоню мисс Стейн, а ты можешь позвонить мистеру Фернандесу и своей восхитительной подруге, имя которой я все время забываю. — Он поднес руку к шее и аккуратно поправил свой галстук-бабочку.

— Киттен, — напомнила я. И вспомнила сама, что и мама, и баббо почему-то упорно называют ее мисс Нил. — Ну, мисс Нил, ты же знаешь! Как ты мог забыть ее имя? Она моя лучшая подруга вот уже много лет.

— Киттен-котенок, совсем ребенок, была укушена выпью злосчастной и околдована, в цепи закована, бедная детка, котом опасным… — пробормотал баббо и полез в карман вельветового пиджака за сигаретой.

В тишине мы услышали на лестнице тяжелые шаги мамы.

— Думаю, для нашего же с тобой спокойствия нам не стоит постоянно читать твоей матери статью о твоем дебюте. — Он снова замолчал и закрыл глаза. — Это… одна из присущих ей странностей, как тебе известно. — Баббо зажал сигарету губами и зашуршал чем-то в кармане. — А теперь доставь мне удовольствие — еще один последний пируэт, mia bella bambina.

Я быстро сделала тройной пируэт. Мама не любила, когда я танцую в гостиной, и мне не хотелось, чтобы ее воркотня испортила мое прекрасное настроение.

Она вошла в комнату с руками полными пакетов с покупками. Ее грудь высоко вздымалась — она только что преодолела пять лестничных маршей, ведущих к нашей квартире. Баббо открыл глаза, моргнул и сообщил маме, что сегодня мы идем в «Мишо», чтобы устроить небольшой праздник.

— Хочешь сказать, почтовый ящик нынче с утра оказался набит деньгами? — Мама обвела взглядом комнату, чтобы проверить, не перевернула ли я что-нибудь, — такое случалось, когда мы с баббо оставались одни и он просил меня

потанцевать для него.

— О нет, мой горный цветок. — Он на мгновение прервался, чтобы закурить сигарету. — Это лучше, чем деньги. За Лючию сегодня пьет весь Париж, и мы тоже хотим поднять за нее бокалы. Так что вечером мы будем праздновать, гордиться и хвастаться.

Мама не сдвинулась с места, по-прежнему держа в руках пакеты. Она лишь сузила глаза, так что они превратились в две маленькие щелочки.

— О, только не твои танцы, Лючия. Они меня просто убивают. Ты сведешь меня в могилу — ты и еще этот лифт, что никогда не работает, и все эти треклятые ступеньки, по которым мне приходится лазать.

Я почувствовала, как атмосфера сгущается, но ведь я давно привыкла к мученическому лицу мамы и ее постоянным жалобам и причитаниям. Кроме того, когда она отвернулась, баббо заговорщически взглянул на меня и быстро подмигнул. Не обращая внимания на ее ворчанье, я передала маме газету.

— Я стану знаменитой танцовщицей, мама. Прочти.

— Прочту, Лючия, вот только сначала мне надо разобрать эти пакеты и сделать себе чайку.

Посмотри-ка, какие замечательные перчатки, Джим.

Она бросила покупки на диван, вытащила из одного из пакетов длинную глянцевую коробку и принялась разворачивать бесконечные слои черной папиросной бумаги. Мне почудилось, что в комнате вдруг стало холодно, как будто в нее откуда-то проник ледяной ветерок. Я положила газету на диван и прижала руки к груди. Ну почему она не может порадоваться за меня — хоть раз? Хоть в *этот* раз?

Баббо снова украдкой подмигнул мне и выпустил длинную струю дыма.

— Ив самом деле, очень красивые перчатки. И они будут смотреться еще красивее и элегантнее на твоей руке, сжимающей бокал с несравненным, головокружительным шампанским в «Мишо». — Он сделал жест в сторону дивана. — Прочти статью, Нора. В ней описываются дивные таланты нашей bella bambina. Я невольно вспоминаю пословицу «Яблоко от яблони недалеко падает».

— Святая Мария, Матерь Божья! Да вы словно пара детишек, что залезла в горшок и слопала все варенье! — Мама вздохнула и посмотрела на новые перчатки. — Что ж, мне не больно-то

хочется готовить сегодня, а перчатки в «Мишо» уж точно оценят. — Она фыркнула, потянулась за газетой и потыкала в нее пальцем. — Здесь должны были писать о Джордже Почему никто не пишет о нашем Джорджо?

— Напишут, Нора. Непременно. Возможно, у Лючии было озарение насчет Джорджо? Видение, как у Кассандры?

Баббо с надеждой взглянул на меня, но не успела я ответить, как мама разразилась ядовитыми комментариями о «дурных предзнаменованиях» и «безумных Кассандрах». Я промолчала.

— Время Джорджо еще придет, но сегодня мы отмечаем успех моей радужной девочки. — Кольцо дыма сорвалось с губ баббо, словно бы неуверенно поднялось вверх и растворилось в воздухе.

— Что это ты все время твердишь о каких-то радужных девушках? Только не говори мне, что они — кто бы это ни был — тоже могут видеть будущее! — Мама с яростью дернула новую перчатку, пытаясь натянуть ее на пальцы.

— Это из моей книги… они шалят, и резвятся, и кружатся в хороводе на своем празднике… потому что они цветы… Но не обращай внимания. Незачем тебе забивать этим свою прекрасную голову,

моя непобедимая и величественная воительница. — Баббо уставился в потолок и вздохнул.

— Почему бы тебе не написать нормальную книгу, Джим? Эта точно меня прикончит. — Не снимая перчаток, она неохотно потянулась за газетой. — Надень что-нибудь поярче, Лючия. Не хочется, чтобы тебя затмила эта мисс Стелла Стейн. Так какая, ты говоришь, там страница?

Как только метрдотель заметил баббо, маму и меня, он тут же ринулся к нам, разрезая толпу, словно нож масло. Какие-то люди то и дело останавливали баббо и спрашивали его, как продвигается «вещь, над которой он работает». Только маме было позволено знать настоящее название книги, и баббо заставил ее поклясться, что она никому ничего не скажет.

Когда родители поздоровались с нашими гостями, у меня за спиной неожиданно возник Джордже.

— Прости, я опоздал, — чуть задыхаясь, выговорил он. — Едва ли не час ждал трамвая. Но я читал газету — какой грандиозный отзыв! — Джорджо притянул меня к себе и поцеловал в висок. — И какая у меня умная, талантливая сестричка! Надеюсь, что скоро ты заработаешь целое состояние — будет чем платить за мои уроки пения. — Он

скорчил гримасу и быстро отвернулся.

— Я тоже надеюсь, — осторожно ответила я, стараясь, чтобы это не прозвучало хвастливо. — А что уроки пения? Не слишком удачно?

— Недостаточно удачно, чтобы отвечать ожиданиям отца. — Джорджо коснулся пальцем накрахмаленного воротничка сорочки, и я заметила лавандово-лиловые круги у него под глазами. От его дыхания исходил легкий запах спиртного. — Мне каждый день приходится просить у него денег, и он всегда смотрит на меня такими глазами… будто собака, которую никто не покормил. А потом разочарованно вздыхает… как обычно.

Я с сочувствием коснулась его руки. Мне было очень больно видеть Джорджо таким разочарованным, и, кроме того, раньше от него никогда не пахло алкоголем.

— Я начну зарабатывать и смогу помочь.

На это Джорджо ничего не ответил.

— А помнишь мистера и миссис Обнимашки-Пирожки? — вдруг спросил он.

Я рассмеялась:

— Родителей, которых мы придумали в детстве?

Его лицо погрустнело.

— Я видел их во сне прошлой ночью. Они в конце концов пришли за нами и усыновили нас, и мистер Обнимашки-Пирожки учил меня кататься на лошади.

— Мы с тобой уже слишком взрослые для того, чтобы мечтать о воображаемых родителях. — Я оглянулась на маму и баббо, которые пробирались вглубь ресторана, окруженные целой армией черно-белых официантов.

— Когда мы были маленькими, их никогда не было рядом. А теперь, когда мы стали взрослыми, они все никак не оставят нас в покое. Мистер и миссис Обнимашки-Пирожки такими бы не были, правда?

— Нет, но ведь они не настоящие. — Думать о прошлом мне не хотелось, поэтому я просто пожала плечами и собралась напомнить Джорджо, что мама как раз считает его идеальным, и, по ее мнению, он все на свете делает хорошо и правильно. Но Джорджо не дал мне ничего сказать.

— О, смотри-ка, все уже здесь.

Он показал на столик у окна, где сидели Стелла, Эмиль и Киттен, а рядом с ними были разложены отполированные до блеска приборы и сияли хрустальные бокалы. Свет люстры падал прямо на улыбающееся лицо Эмиля, и в груди у меня что-то

затрепетало. Он напомадил свои черные волосы, а в петлицу вставил оранжевую лилию. Эмиль помахал мне рукой, и луч света, отразившись от его бриллиантовой запонки, рассыпался по столу сотнями радужных сверкающих искр. Рядом с ним устроилась Стелла, вся в ярко-бирюзовом шелке, с тремя рядами длинных, доходящих до пояса, янтарных бус на шее и в лимонно-желтом тюрбане с кисточками, которые, казалось, танцевали у нее над бровями. За нами появился баббо. Он внимательно рассматривал Стеллу, словно ученый, изучающий неизвестную орхидею.

— Хотела бы я одеваться так, как она, — прошептала я Киттен, когда она прижалась губами к моей холодной щеке.

В Стелле были дерзость и бравада, богемный шик и беззаботность, которые я так мечтала перенять. Мама всегда выбирала и покупала мне одежду сама, и, хотя мои платья и костюмы были безупречно элегантны и отлично скроены, они не шли ни в какое сравнение с вызывающе-великолепными нарядами Стеллы.

— О, не беспокойся о том, как ты одета, дорогая. После твоего дебюта и этого восторженного отзыва это не имеет никакого значения. Должна признаться, я тебе немного завидую. А потом,

подожди, и ты еще увидишь, что у нее внизу! Гаремные штаны с кисточками! Весьма непрактично. Не представляю, что она будет делать, если пойдет дождь. — Киттен сжала мою ладонь. — Но Джордже, сегодня у него не такой беспечный и неунывающий вид, как всегда. Он сам на себя не похож.

— Он беспокоится о деньгах, и, я думаю, он устал зависеть от милости покровителей баббо, — прошептала я ей в самое ухо.

— Все будет хорошо, если твоему отцу удастся продать свою книгу в Америке. Но почему он так смотрит на Стеллу?

— Она делает иллюстрации для его книги. Можешь быть уверена, сейчас он думает не о Стелле, а о книге. — Я опустила глаза и совсем тихо добавила: — Или, возможно, он мысленно пытается описать ее по-фламандски или на латыни… или в этих своих стишках-головоломках.

Я скользнула на банкетку рядом с Эмилем и ощутила крепость его тела и исходящий от него жар. Вокруг нас звенели разговоры и смех, браслеты и бусы, тарелки и бокалы, ножи и вилки. И весь этот шум звучал в моих ушах словно аплодисменты моему дебюту. Мне казалось, что меня пропитывает электричество, что я вот-вот

поднимусь над землей от восторга.

Баббо заказал шампанское и устрицы на льду, и, как только официанты наполнили наши бокалы, он встал, отодвинул стул и костистыми пальцами ухватился за край стола.

— Тост в честь Лючии! Танцовщицы и артистки, знающей несколько языков!

— С голубыми глазами и фарфоровой кожей, — подхватила мама, подняла свой бокал и вытянула шею, повернув голову так, чтобы ее было лучше видно.

Я вдруг подумала, что она завидует мне. Это была глупейшая, нелепейшая мысль, и продержалась она в моей голове не дольше мгновения, но… что-то было в том, как она выгнула шею, подставив ее под свет люстры. Словно она пыталась дать всем понять, что своей внешностью я обязана лишь ей. Меня внезапно поразило — как давно я не видела, чтобы баббо смотрел на нее с нежностью или слушал, застыв в своей обычной манере, переливы ее речи. Все это теперь доставалось мне. Я бросила взгляд через стол — вот он, баббо, с бокалом в руке, часто моргает, переводя глаза со Стеллы на меня.

Между тем шампанское кипело в бокалах, от блюда с устрицами поднимался соленый, ост-

ро-свежий, как молодая зелень, аромат, облачка сигарного дыма зависали в воздухе, люди за соседним столом улыбались и хлопали мне. Эмиль прижал свою ногу к моей, уверенно и очень по-мужски. В этот момент мне казалось, что я буду счастлива целую вечность, до окончания времен, и никто — никто на свете! — не может быть счастливее, чем я. Я склонилась к Эмилю и незаметно для всех положила руку ему на бедро.

— Где ты будешь танцевать в следующий раз, Лючия? Может быть, Жозефине Бейкер придется освободить для тебя сцену? — Стелла поправила тюрбан, подцепила вилкой устрицу и изящно отправила ее в рот.

— Ну уж и штучка эта миссис Бейкер. Танцевать голой в бананах! Какой позор! — Мама взяла салфетку и с силой встряхнула ее, словно хотела одним махом отогнать все разговоры о Жозефине Бейкер, танцовщице, которая покорила Париж своими довольно фривольными выступлениями.

— Говорят, она зарабатывает огромные деньги, — заметил Джорджо и на мгновение прижал кончик языка к верхней губе. — И вроде бы сменила юбку из бананов на совсем маленькую юбочку из розовых перьев.

— То есть она танцует совсем обнаженной, если не считать перьев? — Киттен в шоке распахнула глаза.

— Потаскушка, вот кто она такая, — бросила мама, и ее ноздри гневно затрепетали.

— Современная молодая женщина и сама зарабатывает себе на жизнь. Молодец — все, что я могу сказать, — возразила Стелла и подняла бокал с шампанским, но быстро поставила его обратно, поймав яростный взгляд мамы.

— У нее уже было двое мужей, а теперь, по слухам, еще и любовник. И как назвать такую… леди, спрашиваю я вас?

— Именно поэтому она и может танцевать на сцене в одних лишь перьях. Если бы она не побывала замужем, ей бы этого не позволили, — тихо произнесла Киттен. — Папа говорит, что брак — это единственный способ для женщины обрести свободу, особенно в Париже. Все эти эмансипе… вертихвостки… папа утверждает, что в действительности они совсем не свободны.

— Должно быть, танцевать в чем мать родила — значит ощущать настоящее освобождение, — фыркнул Джорджо и достал сигарету. — Особенно если берешь за это несметные деньги. Можно ли быть более свободной?

— Что за вздор! — Стелла, с горящими глазами, ткнула воздух вилкой. — Сейчас у женщин появилась настоящая возможность получить свободу. Посмотрите на парижанок — они рисуют, пишут, танцуют. И не все они замужем.

— Браво, Стелла! — воскликнула я и захлопала в ладоши.

Стелла была, по словам мамы, «языкастая». Еще одна ее черта, которой я восхищалась и завидовала. Мне захотелось рассказать всем о своих взглядах и опыте, о том, какой свободной чувствуешь себя, когда забываешь обо всем и танцуешь, словно растворяешься в движении, и не важно, бедна ты при этом или богата, одета или раздета… но Джорджо меня опередил.

— А еще говорят, что она каждый день получает сотни предложений руки и сердца. Может, мне тоже стоит попытаться? Что скажешь, Эмиль? — Он повернулся к Эмилю и хлопнул его по плечу.

— Я согласен с Киттен. Брак — это тот фундамент, на котором строится наше общество, и это в самом деле единственный путь к свободе. Так считаем мы, евреи. Все держится на браке. Но я не уверен, что это относится к женитьбе на миссис Бейкер. — Рука Эмиля нашла под столом мою руку, и он пощекотал ее большим пальцем. — А

вы что думаете, мистер Джойс?

Краем глаза я увидела, что мама ерзает на стуле, уставившись на свой бокал с шампанским. Баббо рассеянно гладил бороду, снова и снова проводя по ней пальцами, и так же, как мама, задумчиво смотрел на блюдо с пустыми устричными раковинами.

— Брак, религия… обычаи и условности. Это оковы, которые должны быть сброшены.

— Не обращайте внимания на Джима. Много он знает об оковах. — Мама коротко вздохнула, словно гнев и раздражение совсем лишили ее сил.

Я вопросительно взглянула на Джорджо, но он рылся в карманах в поисках зажигалки; в его губах торчала незакуренная сигарета.

— Нельзя сказать, что свобода женщины и институт брака несовместимы. Но также нельзя отрицать и главенствующую роль семьи. Взять хотя бы вас, Джойсов. — Стелла взмахнула рукой над столом, который был уже в полном беспорядке: полупустые бокалы тут и там, скатерть усыпана крошками хлеба и пеплом. — Вы женаты уже так много лет и беззаветно любите Лючию и Джорджо. Были бы они столь же талантливы и умны, если бы вы не поженились?

— Мы бы гнили в сточной канаве. — Джорджо

подавил зевок, прикрыв рот кулаком, и подмигнул мне. — Но вместо этого мы — восходящие звезды сцены, не так ли, Лючия?

— Ну, мое мнение такое: эту миссис Жозефину Бейкер следует запереть где-нибудь, и покрепче. В Ирландии-то она уж точно сидела бы за решеткой. — Мама отодвинула бокал и упрямо покачала головой.

— Я придерживаюсь того же мнения, Нора. Абсолютно согласен, — пробормотал баббо в узел галстука так тихо, что его услышала лишь я.

Эмиль вскочил со стула.

— Довольно этих разговоров о тюрьмах и сточных канавах! Предлагаю еще один тост в честь нашей прекрасной, талантливой Лючии! — Он поднял бокал, и все остальные последовали его примеру, на разные лады выкрикивая мое имя.

В то мгновение я и увидела *его.* Он стоял на улице, так близко, что его нос почти касался стекла, и заглядывал в окно. Его глаза горели от любопытства. Поначалу мне показалось, что он смотрит на баббо, но очень скоро его взгляд переместился на меня. И в эти доли секунды случилось нечто поразительное. Когда наши глаза встретились, между нами будто пробежала искра. Нет, не искра, а мощный поток электричества. Мое сердце

яростно дернулось в груди. Затем он склонил голову, чуть сгорбился и исчез в темноте бульвара. Я почувствовала, что Эмиль снова опустился на стул и прижал свою ногу к моей.

— На что она уставилась? Лючия? Лючия! Мы тут все пьем за твое здоровье, а ты глазеешь в окно, и вид у тебя как у одержимой. — Мама в отчаянии закатила глаза.

Баббо нахмурился и вскинул ладонь.

— Тише, Нора. У нее момент ясновидения. Тише все! Моя Кассандра что-то узрела.

— Просто… кто-то смотрел на меня через окно, — неловко объяснила я, все еще изумленная и оглушенная тем, что произошло, пронзительным взглядом этих глаз, тем, как скакнуло мое сердце. Я с деланым пренебрежением махнула рукой и обернулась к Эмилю в надежде, что это отвлечет папу о разговорах о Кассандре.

— Это один из твоих новых поклонников, я уверена! — воскликнула Киттен, рассмеялась и стиснула мое плечо. — Придется тебе теперь терпеть их, Лючия. Не сомневаюсь, что у входа уже выстроилась очередь за автографами.

Будет ли он стоять у дверей? Мужчина с яркими, как у птицы, глазами, и носом, похожим на клюв, и острыми, как ножи, скулами? Нет. Он

растворился во тьме. Я очнулась. Все смеялись над какой-то остротой баббо — все, кроме Эмиля, который шептал мне в ухо:

— У тебя будут тысячи поклонников! *Тысячи!*

Баббо завел речь о неоспоримой связи между танцами и ясновидением и рассказал о некоем неизвестном африканском племени, члены которого танцевали до тех пор, пока им не являлось будущее. Я чувствовала на себе его взгляд, но не могла сосредоточиться на словах.

— И спорю на что угодно, они тоже пляшут полуголыми, — вполголоса добавила мама, и все снова расхохотались.

Но я думала только о мужчине, что смотрел на меня с улицы. Странное ощущение беспокойства овладело мной — будто внутри у меня что-то сдвинулось и в душе поселилось какое-то непонятное мне самой предчувствие.

Сейчас, вспоминая об этом здесь, в Альпах, где воздух так холоден и чист, я понимаю, что была права. Тогда все это казалось невероятным, но где-то глубоко, в солнечном сплетении или еще глубже, и принялся разматываться этот клубок. Все началось в ту самую секунду.

Глава 2

Ноябрь 1928 года

Париж

— Вчера вечером Эмиль просто глаз не мог от тебя оторвать. — Киттен поднялась на цыпочки и потянулась, так что мускулы на ее икрах напряглись и стали напоминать узлы на корабельных канатах. — Он отличная партия, Лючия.

— Ты имеешь в виду, из-за его денег? — Я положила ногу на станок и склонилась к ней, достав рукой до мыска, так что немного заболели мышцы.

Бледный, почти зимний свет проникал в окна, ложась косыми квадратами на паркетный пол балетной студии. Другие танцовщицы тоже разогревались, кружились и смотрели на свое отражение в огромном зеркале, которое занимало всю стену. Мы ждали учителя.

— Папа говорит, что семья Фернандес очень богата. Но нет, я не об этом. Мама сказала, что Эмиль может стать вторым Бетховеном. Только представь себе! Он мог бы сочинять для тебя

целые симфонии! — Киттен откинула голову, покрутила плечами и мечтательно вздохнула.

— Да, он очень талантлив, но не думаю, что он второй Бетховен, — возразила я.

Кузеном Эмиля был не кто иной, как Дариюс Мийо, один из самых знаменитых композиторов Парижа, известный своими эксцентричными сочинениями, в которых дерзко смешивались классика и джаз. Эмилю ужасно хотелось стать таким, как он, и он часто с увлечением рассказывал о своем намерении соединить строгость Баха с энергичностью джазовой музыки. Что, если мама Киттен права? На секунду я почувствовала гордость за него. У меня даже перехватило горло.

— По правде говоря, мне очень нравится с ним работать. Он один из немногих композиторов, который не имеет ничего против того, чтобы его музыка подчинялась моей хореографии. Более того, он только счастлив. Обычно они все считают, что подстраиваться должен балет, что он — на втором месте. — Я резко встряхнула кистями.

— О… мне кажется, тут дело не только в работе. — Киттен взглянула на меня сверху вниз, не меняя позиции; на ее губах, покрашенных в самый модный оттенок — розового бутона, — играла понимающая улыбка.

— Что ж, признаю — он мне очень симпатичен. На прошлой неделе он отвез меня в Булонский лес на своей новой машине, и мы целовались. — Мне вспомнился его колючий подбородок, и то, как его усы щекотали мой нос… и как его нетерпеливые руки забрались мне под платье.

— И… это было хорошо, дорогая? — Киттен приподняла голову, расправила плечи и развела руки, словно приготовившись принять в объятия мое следующее откровение.

Но раздались звуки фортепиано, и все танцовщицы развернулись. В студию плавной походкой вошел месье Берлин, в белом костюме-тройке и белых лайковых перчатках, и серебряным набалдашником своей трости слегка постучал по крышке инструмента. Я с облегчением выдохнула — мне не пришлось разочаровывать Киттен и признаваться в том, что торопливые, слишком настойчивые объятия дрожащего от страсти Эмиля не вызвали у меня никакого ответа. Я осталась совершенно холодна и не на шутку расстроилась. Мне бы хотелось испытать те же ощущения, что и развратные парижские вертихвостки. Однако вместо этого я почувствовала лишь ледяную пустоту в животе и еще довольно неприятную вещь — будто мои внутренности сжались, словно

пальцы в кулак.

— В третью позицию, — скомандовал месье Борлин. — Разведите руки, поднимите ладони и потянитесь.

— У меня предчувствие, что Эмиль сделает тебе предложение, — шепнула Киттен.

— Не говори глупостей! Я бедна, у меня косят глаза, и я не еврейка.

Я чуть раздвинула пальцы и вытянулась вверх, как могла, выше, выше, пока у меня не заныли все мышцы и сухожилия. Но от слов Киттен по спине у меня пробежали мурашки. Возможно ли, что Эмиль действительно относится ко мне подобным образом? Что его страсть настолько велика? Мне вдруг представился его огромный дом с каменным, кремового оттенка, фасадом и затейливыми балконами под каждым окном с голубыми ставнями. Искусно расставленные повсюду цветы и развешанные картины, написанные толстыми, сочными мазками, что так нравились его матери. Его тетушки и сестры, которые восхищались мной и охали и ахали над каждым моим движением, словно я — очаровательный щенок, которого только что принесли домой. И сам Эмиль… его пальцы, бегающие по клавишам фортепиано, его живость и веселость,

его нежные, влюбленные глаза.

— Очень хорошо, мисс Джойс, задержитесь в этом положении. — Месье Борлин постучал тростью о пол. — Класс! Пожалуйста, посмотрите на мисс Джойс. Отметьте позицию ее ног — как правильная постановка стоп помогает ей удержать равновесие. И изящество ее рук.

— Думаю, ты не права, — прошипела Киттен. — Мне кажется, Эмиль любит тебя. Почему бы и нет, собственно говоря? Ты красива, ты одна из самых талантливых танцовщиц Парижа, ты добра и умна. А твой папа — самый выдающийся писатель в мире.

— Первая позиция. Поднимите руки и тянитесь вверх… еще выше! Выше, говорю я! — рявкнул месье Борлин, на мгновение перекрыв мощным голосом мелодию, что выводил аккомпаниатор. — Теперь поднимите левую ногу… выше… выше! — Он сильно ударил тростью по мазутной печи, отчего та выпустила в воздух столб черного дыма. — И… вращайтесь!

Мои ноги горели, а над верхней губой выступили капельки пота. И тем не менее я обожала это предельное напряжение мускулов, контроль над собственным телом, то, как все мои члены двигались в совершенной гармонии, а мысли от-

ступали, и в голове не оставалось ничего, кроме музыки и меня.

— Эмилю невозможно отказать, дорогая. — Киттен повернула голову в мою сторону. — Он такой веселый, всегда улыбается. И довольно привлекательный… этакий иудейский тип внешности.

— Иудеи не женятся на не-иудейках. Особенно на тех, отец которых известен на весь мир своим богохульством и к тому же не имеет ни гроша в кармане.

Я старательно не сводила глаз со своей левой ноги, мысленно приказывая ей оставаться в нужной позиции. К тому же это помогало мне избежать взгляда Киттен. Несмотря на все усилия, на меня нахлынули мириады самых разных мыслей, однако я попыталась их отогнать.

— Отлично, мисс Джойс. Тяните мысок, мисс Нил. Еще! Больше! — Месье Борлин коснулся кончиком трости левой ступни Киттен. — Трудитесь, мисс Нил, трудитесь.

Когда он отошел от нас, Киттен заговорила снова:

— А как Джорджо? Уж *он* точно не смотрел на *меня* весь вечер.

— Он очень устал. Все его уроки пения. Баббо твердо вознамерился сделать из Джорджо знаме-

нитого оперного певца. Он сам хотел им стать до того, как начал писать.

Я взглянула на свою левую ногу, все еще удерживая ее в воздухе. Мне бы хотелось, чтобы Джорджо избрал себе другое поприще. Как жаль, что этого не случилось. Я вспомнила день, когда мы оба записались в одну и ту же школу музыки, через месяц после нашего прибытия в Париж. Баббо настоял на том, чтобы мы не прекращали петь всю дорогу до школы — даже в трамвае. Еще через несколько месяцев я решила, что в семье Джойс слишком много подающих надежды оперных певцов, и бросила уроки. Но Джорджо остался, сказав, что пение — это единственное, что он умеет делать.

— Держу пари, учитель пения Джорджо и вполовину не такой требовательный, как месье Борлин. — Киттен медленно опустила ногу. Ее лицо раскраснелось и было усеяно жемчужинками пота.

— Прекрасно, расслабьтесь. Теперь мы поработаем над импровизацией. Представьте себе, что вы — портрет художника-кубиста. Сделайте так, чтобы ваше тело походило на квадрат, прямоугольник, ломаную линию — все, что угодно. Я хочу, чтобы вы ощутили радость музыки

Дебюсси, ее дух, ее ритм и экспрессию. — Месье Борлин несколько раз шумно втянул воздух, как будто пытался удержать в носу мелкий камушек. — Внимательно вслушайтесь в геометрию музыки. Отразите ее в ваших движениях. В этом и заключается красота свободного танца. *Современного* танца!

Я выгнулась назад и обхватила щиколотки, втянув в себя грудь и живот, стараясь сделать так, чтобы не выступали ребра. Шмыгая носом, месье Борлин проговорил:

— Прекрасный треугольник, мисс Джойс! Здорово! Если вы еще не изобразили фигуру, взгляните на треугольник мисс Джойс!

Расхаживая по студии, он то и дело легонько тыкал танцовщиц кончиком трости и выкрикивал указания.

— Позвольте музыке течь сквозь себя. Она подскажет вам, какую форму принять… Очень хорошо, мисс Нил.

Я стояла, прижавшись лбом к полу, дыша глубоко и медленно. И думала об Эмиле и о том, что сказала Киттен. Конечно, Эмиль никогда на мне не женится, но всегда приятно, когда тебя обожают. И слова «мадам Фернандес» звучат так славно… гладко и округло. Почему-то они напо-

минали мне эллипс.

А затем я подумала о мужчине с яркими и пронзительными птичьими глазами, и в груди у меня поплыло. Стоит ли сказать Киттен, что вчера у меня появилось некое неясное предчувствие? Она верила в мою способность видеть будущее почти так же безоговорочно, как и баббо. Но нет — даже Киттен решит, что это просто смешно. Всего лишь мимолетный взгляд незнакомца через окно! Но я помнила, как странно дернулось у меня сердце. Много лет назад, когда баббо впервые провозгласил меня «своей Кассандрой», мама зло язвила каждый раз, когда у меня случались эти «особые моменты». И каждый раз я рассказывала баббо о необычных физических ощущениях, которые их сопровождали. Он всегда взмахивал рукой, в которой держал оловянный нож для разрезания бумаги, и говорил хриплым от волнения голосом: «Ну теперь-то ты ей веришь, Нора?»

Я решила, что ничего не скажу Киттен и вообще не буду больше думать о своих предчувствиях. Иногда мне казалось, что они лежат у меня внутри, как тяжелые камни. Я закрыла глаза. Разрешила музыке войти в себя и свободно струиться сквозь мое тело. Словно сквозь сон я слышала стук трости месье Борлина, его фырканье и заме-

чания, звуки фортепиано, гудение печки. Спустя некоторое время я снова открыла глаза.

— Маргарет Моррис из Лондона устраивает мастер-класс по своей системе движения на следующей неделе. Пойдем? В Англии от нее все без ума. — Киттен посмотрела на меня из-под локтя, и мне показалось, что у нее странный, блестящий взгляд, словно она плачет. Но через мгновение она моргнула, и я подумала, что, должно быть, ей в глаза просто попала пыль.

— О, с огромным удовольствием, Киттен. И у меня возникла новая идея для танца, который я хочу поставить. Хочешь, я покажу тебе после занятия?

Да, новый танец постепенно складывался у меня в голове. Вдохновившись стихотворением Китса, я хотела включить в него радугу и, возможно, что-то из плясок примитивных племен, чтобы помочь баббо с его книгой. Я мечтала создать танец дикой, исступленной радости, от которого зрители в напряжении сидели бы на краешках кресел. Это был довольно честолюбивый и смелый замысел. В нем должны были участвовать несколько танцовщиц, каждая представляла бы собой полоску радуги и была бы наряжена в определенный цвет. Мне виделось, как они спле-

таются между собой, завязываются в цветные узлы, а потом рассыпаются по сцене и тихо кружатся, как крылатые семена платана, медленно падающие на землю. Пока еще я не обсуждала это с Эмилем, но надеялась, что он сочинит для меня музыкальное сопровождение, с четким ритмом, настойчивым, беспокойным, создаваемым несколькими барабанами.

— О да, конечно! Понятия не имею, откуда ты берешь все эти идеи. У меня они никогда не появляются.

Ее голос заглушил гнусавый баритон месье Борлина:

— Дыхание! Дыхание! Не забывайте следить за дыханием!

Танец был ключом ко всему, ответом на все вопросы. Что бы ни преподнесла нам жизнь, мы должны продолжать танцевать.

Глава 3

Ноябрь 1928 года

Париж

— Отнеси им выпить, Лючия. Времени-то уже больше пяти. — Мама вручила мне бутылку охлажденного белого вина и два бокала. — Он читает без передыху два часа подряд. У бедного парня, должно быть, совсем в горле пересохло.

— А кто там — мистер Макгриви или мистер Макэлмон? — поинтересовалась я. Последние две недели они по очереди приходили читать баббо. Мне бы хотелось, чтобы сегодня это был мистер Макгриви. Он был не таким кичливым, как мистер Макэлмон.

— Ни тот ни другой. А теперь давай-ка поднимайся и отнеси им это вино, а не то они улизнут в кафе «Франсис» и просидят там всю ночь.

— Я не могу сдвинуться с места. Сегодня занималась восемь часов. Мы репетировали танцы для фильма — помнишь, я тебе говорила, — и у меня безумно болят ноги. Я хромала всю дорогу домой. — Я показала маме ногу — клочки кожи

свисали с пальцев, похожие на пластины грибов.

— О, только не жалуйся. Некого тут винить, кроме самой себя. Он очень привлекательный. — Она кивнула в сторону кабинета баббо. — Ирландец. Говорит и по-французски, и по-итальянски, и уж не знаю еще по-каковски. Мало кто из ирландцев на такое способен.

— Как его зовут? — Я съехала на краешек дивана, пытаясь встать.

— Имя я не запомнила. Слишком много народу вертится вокруг твоего отца. Ловят каждое его слово. Бог их знает, откуда они все берутся. — Мама вздохнула, села и принялась листать журнал мод. — Да… Если бы сам Господь Бог спустился на землю, то и он уселся бы печатать эту самую книгу, которую пишет отец.

На полу кабинета баббо были разбросаны ирландские газеты. По всей комнате там и тут были расставлены высокие стопки книг — просто чудо, что они не падали. Баббо был в своем белом пиджаке, который делал его похожим на дантиста; он сидел в привычной ему позе: ноги скрещены, ступня прикрыта той ногой, что сверху. Напротив него, словно отражение в зеркале, устроился высокий худощавый молодой человек, точно копируя позу баббо, — даже его ноги были скре-

щены на тот же манер. Он читал вслух что-то из «Ада» Данте.

Я узнала его сразу же, как он поднял голову. Мужчина за окном ресторана. От неожиданности я даже подумала, что ошиблась, но, тщательно всмотревшись в его лицо, осознала: это действительно он. Только теперь его глаза напоминали сине-зеленые бездонные озера. На нем были такие же круглые очки в тонкой оправе, как и у баббо, но, разумеется, с более тонкими линзами, и серый твидовый костюм. Когда он взглянул на меня, я поняла, что он тоже узнал меня.

— А, белое вино. Отлично. — Баббо встал и принял у меня из рук бутылку и бокалы. — Это моя дочь Лючия, — сказал он и, повернувшись ко мне, добавил: — Мистер Беккет совсем недавно приехал сюда из Германии. Мы должны помочь ему немного освоиться, как ты считаешь?

— Да, разумеется. Где вы остановились, мистер Беккет? — Я пыталась говорить спокойно и ровно, но не могла подавить дрожь, и мне не хватало воздуха.

— При университете. «Эколь Нормаль»[4] на рю д'Ульм. Я там преподаю. — Он говорил с мягким

---

[4] Примечания: 4

«Эколь Нормаль» *(фр.* Ecole normale) — одно из самых престижных высших учебных заведений во Франции

ирландским акцентом, от которого, казалось, вибрировал воздух в комнате.

— И… там хорошо?

— Вода вечно холодная, а кухня кишит тараканами. Но библиотека великолепна, и, кроме того, у меня есть кровать и пара полок. — Он, не моргая, смотрел на меня несколько секунд, затем опустил взгляд, и я заметила, что щеки его слегка запунцовели. Лишь позже, когда я сама успокоилась, мне пришла в голову мысль: был ли он так же поражен нашей встречей и не мог совладать с собой?

— Не беспокойтесь о тараканах, мистер Беккет. В Париже полно мест, где можно прилично поесть. Почему бы вам не отужинать сегодня с нами? Мы пойдем в «Фуке». Лючия, беги и скажи своей матери, что мы идем в «Фуке» и мистер Беккет будет нашим гостем.

Мама крутилась перед зеркалом.

— Эту шляпу или черную, Лючия?

Ее слова повисли в воздухе, как дым. Я почти не слышала ее. Я, не отрываясь, смотрела в окно, в направлении рю д'Ульм. Последние листья еще цеплялись за ветви деревьев; уличные фонари под ними отбрасывали неровные круги света на мощенную булыжником мостовую. Запах

жареных каштанов, которыми торговали прямо с жаровен на рю де Гренель, проникал сквозь плохо подогнанные оконные рамы, но я едва ли замечала и это. Я передвигалась словно во сне, не чувствуя под ногами пола. Куда бы я ни поглядела, везде передо мной вставало лицо мистера Беккета. Я видела его скулы в рисунке голых ветвей, в набухающем тучами небе отражались его глаза. Мою кожу будто покалывали тысячи иголочек, я ощущала себя необыкновенно легкой, и в то же время мне было ужасно тесно. Я постоянно безмолвно повторяла его имя, снова и снова. Мистер Беккет. Мистер Беккет. Мистер Беккет.

— Лючия! Да что с тобой стряслось, боже праведный! Ты не слышишь меня, что ли? Да я будто сама с собой тут разговариваю! Я решила: надену черную шляпу. Она больше подходит к моему пальто. — Мама заправила за уши мягкие локоны. — Девочка, на что ты там уставилась? Иди и найди свою шляпу и перчатки!

Дверь кабинета баббо отворилась, и передо мной предстал мистер Беккет. Он смущенно улыбался, а его глаза, казалось, мгновенно впитывали все вокруг: греческий флаг, который мы прикололи к стене на удачу, фотографию, где была изображена вся наша семья, в самой лучшей

одежде, с чинными и торжественными лицами, стопку книг, приготовленных, чтобы возвратить их в библиотеку мисс Бич. Затем мама и баббо отправились разыскивать трость и шляпу баббо, а мистер Беккет стал расспрашивать меня о «Фуке».

— Там не слишком помпезно? Подходяще ли я одет для такого места?

Его голос чуть-чуть подрагивал, в нем чувствовались тревога и смущение, не проявлявшиеся, впрочем, на его лице. Я оглядела его. Костюм уже протерся на коленях и висел на нем, как на вешалке. На сорочке не хватало пуговицы, а галстук был завязан так туго, что, кажется, угрожал задушить своего владельца.

— Мы в-всегда туда ходим, — запинаясь, пробормотала я. — Это на Елисейских Полях, так что, думаю, мы возьмем такси. — Краска заливала мое лицо, а тело трепетало. Почему я не могла владеть им так, как во время танца? Почему вела себя так глупо? Почему не знала, что сказать?

— У меня есть костюмы получше. — Мистер Беккет опустил глаза.

— Вы выглядите великолепно! — слишком громко и торопливо заверила его я. Наверное, голосом я пыталась заглушить стук собственного

сердца. — Просто великолепно!

Повернувшись к двери, я спиной почувствовала, как он обводит взглядом мою фигуру. Да, это был крайне удачный выбор — вишнево-красное платье с подолом, украшенным кисточками. Оно подчеркивало изгибы моего тела, тела танцовщицы, и длинные стройные ноги, и грудь в нем выглядела маленькой и плоской, как раз по моде.

Потом он отошел к окну и выглянул наружу. Даже по его затылку было видно, как он напряжен и скован.

— Отсюда прекрасный вид на Эйфелеву башню, мисс Джойс.

Я тоже приблизилась к окну, и мы вместе полюбовались огнями Парижа. Город сверкал и переливался; ярко и зазывно светились окна баров и ресторанов, в лужах дрожало отражение фонарей, там и тут на мгновение ослепительно вспыхивали фары проносящихся мимо автомобилей. И над всем этим сияющая Эйфелева башня направляла наши взоры вверх, к небу. Я вдруг ощутила слабый запах мыла мистера Беккета и тепло его тела — мы стояли так близко друг к другу. И мое сердце все так же оглушительно колотилось о ребра.

— Это большое преимущество — жить на пятом этаже, — произнесла я, и мой голос, казалось, эхом отразился от стен и потолка.

— Какую же чушь ты несешь, Лючия! Все эти треклятые ступеньки, по которым мне приходится карабкаться вверх с покупками, каждый божий день!

Позади нас неожиданно появились мама и баббо. Они держались за руки.

— А, вы наслаждаетесь Эйфелевой башней, мистер Беккет. А Лючия рассказала вам, как однажды мы с ней забрались на самый верх этого ужасного строения?

— Нет, она ничего не рассказывала, сэр. — Мистер Беккет с любопытством обернулся ко мне.

Я открыла было рот, чтобы поведать ему эту историю, но вдруг словно лишилась языка. Точно так же, как и тогда, когда мы с баббо стояли на вершине башни, держались за перила и смотрели вниз, на съежившийся город. То же самое головокружительное, тошнотворное чувство, накрывшее меня в тот момент, подступило ко мне и сейчас. Я замолчала и задрожала. И мне внезапно захотелось протянуть руку и коснуться мистера Беккета, схватиться за него, как я схватилась за баббо в тот день, уцепиться за его локоть, как я

уцепилась за локоть баббо на верхней площадке Эйфелевой башни.

— Эйфелева башня представляется мне неким скелетом, кадавром, тушей диковинного зверя, угрожающе нависшей над нами, — пробормотал баббо и кивнул в сторону окна. Во рту у него торчала сигарета.

— Ничего такого тебе не представляется, Джим, — решительно возразила мама. — Да ты вообще о ней не думаешь. Ты думаешь только об Ирландии, и сам знаешь это лучше меня. А теперь давайте пойдем, а не то нам не достанется столика. Лючия, закрой рот, муху проглотишь. Как бы мне хотелось, чтобы с нами был Джорджо! Его вечно нет дома. Вечно он на этих своих уроках пения. Я попрошу его показать вам Париж, мистер Беккет.

Она потянула баббо за руку к двери и дальше, к лестнице. Я взглянула на мистера Беккета. Мое лицо горело. Кажется, я заметила на его губах тень улыбки, но все, что он сказал, — это лишь:

— После вас, мисс Джойс.

Я сделала шаг, и острая боль пронзила ногу. Но я подумала о мистере Беккете, и она мгновенно исчезла. Как это случилось? Почему мои израненные, измученные ступни больше не горят? Я

осторожно наступила на пятку, пытаясь почувствовать мозоли, которые всего минуту назад причиняли мне такие страдания. Ничего. Как будто их и не было. Наоборот, ноги были легкими, я словно не шла, а парила над лестницей, следуя за баббо, ступая в такт металлическому постукиванию его трости о каменные ступеньки.

И вдруг я все поняла. Это было предзнаменование! Знак! Я вспомнила, как впервые увидела мистера Беккета сквозь окно ресторана. Как встретились наши взгляды, как мощная волна притянула нас друг к другу, искру, ослепившую нас, толчок моего сердца — все, что невозможно было объяснить. И ведь баббо тогда заметил, что у меня «момент ясновидения». И поднял руку, будто жрец, призывая всех замолчать. Он тоже почувствовал это — судьбоносную силу того мгновения. Неужели мистер Беккет — мое предназначение? Может ли быть так, что наши жизни будут связаны воедино навечно?

В «Фуке» официанты тут же засуетились вокруг баббо, сражаясь за право принять у него трость или шляпу, сопроводить к «его» столику, предложить меню. Мистер Беккет взглянул на меня, удивленно подняв брови, и я, улучив секунду, склонилась к нему и шепнула:

— Он известен своими щедрыми чаевыми… они всегда прыгают возле него, словно обезьянки в цирке.

Мистер Беккет, кажется, изумился еще больше.

— Это все его богатые покровители, — пояснила я. — Мы были очень бедны, но теперь некий богатый американец и еще одна не менее состоятельная английская леди каждый месяц присылают нам деньги. Поэтому мы можем ужинать в ресторане когда нам только вздумается.

Я не стала говорить, что тратились эти деньги беззаботно и нам постоянно приходилось просить еще и еще.

Мистер Беккет бегло осмотрелся и, увидев, что мама и баббо разговаривают с какой-то парой у бара, повернулся ко мне и спросил:

— В самом деле, мисс Джойс?

Я кивнула, собираясь рассказать ему о нашей квартире на Робьяк-сквер, о том, как восхитительно, что у баббо теперь есть свой кабинет, а у меня — отдельная спальня, и как это невероятно — иметь собственный телефонный аппарат, и электрическое освещение, и ванну с медными кранами, но он быстро переменил тему:

— Ваш отец говорит, что вы очень талантливая танцовщица, мисс Джойс.

— Я танцую дни напролет. Каждый день. — Я сняла шляпу и встряхнула волосами. Сейчас, когда я почти уверилась в том, что мистер Беккет — мое будущее, что сам рок соединил наши жизни, мое волнение и нервозность постепенно улеглись. — Я собираюсь стать профессиональной танцовщицей. Танец — это самое прекрасное, что есть на свете. Это божественно. Вы танцуете, мистер Беккет?

Он покачал головой.

— Я могу обучить вас чарльстону. Или банни-хаг?

У меня перед глазами мелькнул образ: я в объятиях мистера Беккета, моя рука в его руке, моя кожа касается его, наши бедра покачиваются в такт, и воздух между нами раскален, будто мы находимся посреди горящего леса.

— Я научила танцевать чарльстон всех друзей баббо, — добавила я, отметив его одобрительный взгляд.

— А мистер Джойс тоже танцует чарльстон? — поинтересовался он и снова нашел глазами баббо, который все еще был занят беседой с кем-то у бара.

— Ему больше по душе ирландская джига, — ответила я. — Не говорите, что вы не умеете

танцевать, мистер Беккет. Любой, кто слышит музыку и откликается на нее, может танцевать. Вы любите музыку?

— Я обожаю музыку. — Мистер Беккет откашлялся и понизил голос. — Прошу вас, называйте меня Сэмом.

— О, у нас в семействе Джойс с этим очень строго. Очень по-ирландски, я полагаю. Отец настаивает на формальном обращении. Но, может быть, когда мы окажемся наедине…

Мистер Беккет… Сэм… уставился на меня во все глаза. Был ли он поражен моим предложением встретиться наедине или старомодными порядками, принятыми в нашей семье?

— Это хорошая мысль. — Он медленно кивнул, поправил очки, и я заметила, что его щеки снова порозовели.

— Вы, видимо, ожидали, что мой отец более современен? Вас удивляет, что Великий Писатель, сломавший все законы прозы, не может и не желает переступить через правила этикета, мистер Беккет? — Я тоже понизила голос и добавила: — Сэм. — Это прозвучало так необычайно сладостно, что я несколько раз проговорила про себя: «Сэм, Сэм, Сэм».

— Думаю, да, — признался он и посмотрел на

моих родителей, которые, держась за руки, пробирались к нам.

Тогда я впервые осознала, что у него очень необычный взгляд: застенчивый и упрямый одновременно, к тому же какой-то мятущийся, однако это беспокойство не имело ничего общего с нервностью.

— О да, большинство парижан очень богемны, — живо подтвердила я. — Уверена, вы уже слышали все эти истории. Но мои родители никак не могут избавиться от пережитков ирландского воспитания. — Я не стала сообщать мистеру Беккету, что они всегда предпочитали быть дома к девяти вечера, и мама никогда не разрешала мне ходить на похороны. Мне подумалось, что с этими привычками и суевериями ирландцев он и так прекрасно знаком.

— Сколько вам лет, мисс Джойс… если мой вопрос не покажется вам слишком дерзким? — Его лицо было так близко, что я чувствовала его дыхание на своей щеке, теплое и сухое, как дым.

— Мне двадцать один. А вам?

— Двадцать два, — ответил он и взглянул на меня так, словно моя кожа была совсем прозрачна и он мог видеть, как кровь струится по моим венам.

Подошли мама и баббо в сопровождении целой армии официантов. Стулья были тут же отодвинуты, меню разложены, салфетки разглажены, шляпы, шарфы и перчатки унесены в гардероб. Как только баббо уселся за стол, он сразу засыпал мистера Беккета градом вопросов о Дублине.

— О, ну вот и понеслось, — бросила мама. — Только не начинай вспоминать название каждого треклятого магазина и бара на О'Коннел-стрит. — Она повертела головой, чтобы разглядеть, кто еще из знакомых находится в ресторане. — Глянь-ка, Лючия, ведь это та знаменитая актриса! Матерь Божья! Что это на ней надето? Видела ты в жизни хоть раз такой безвкусный наряд?

Она ткнула меня локтем под ребра, но мне не хотелось отворачиваться от мистера Беккета. Я не испытывала ни малейшего интереса ни к знаменитой актрисе, ни к ее наряду. Мамин голос словно ввинчивался мне в ухо, совершенно заглушая слова мистера Беккета:

— Ты видела ее шляпу, Лючия? Некоторые люди и понятия не имеют, как одеваться. Павлиньи перья… с ее-то цветом лица… боже мой, боже мой!

Я хотела услышать, что говорит мистер Беккет — он и баббо устроились на банкетке напротив, — но из-за шепота мамы и гула других голосов мне

никак не удавалось этого сделать.

Я съежилась на стуле. Мне было прекрасно известно, что произойдет дальше. Все эти вечера были так предсказуемы! Баббо и его ирландские соотечественники начнут предаваться воспоминаниям, пить, читать ирландские стихи, а под конец, возможно, даже распевать ирландские баллады или танцевать джигу. Я уже чувствовала себя лишней, выключенной из разговора, но не собиралась так легко сдаваться. Только не в этот раз.

— Я так давно не была в Ирландии, — громко вмешалась я. — Мне бы хотелось туда вернуться.

— Там все не слишком изменилось, — ответил мистер Беккет, и я ощутила, что меня затягивает в эти сине-зеленые глаза, я падаю и тону в них.

— Не дури, Лючия, — одернула меня мама, и я резко обернулась. — Ирландия — настоящее болото и отхожая яма. Все эти хвалебные песни лучше оставь своему отцу. Он споет их за нас обеих.

— Да будет, Нора, — недовольно проворчал баббо. — Возможно, это страна варваров с распятиями в руках, но совсем не отхожая яма.

— Свора попрошаек и ханжей! — Мама вскинула голову. — И конечно, ни о каком возвращении речи быть не может. Тебя бросят за решетку,

Джим, и ты хорошо это знаешь.

Баббо мрачно кивнул, а мистер Беккет неловко заерзал. Я судорожно соображала, что бы такого сказать, чтобы разрядить возникшее напряжение. Но мама заметила еще одну актрису и снова принялась что-то шипеть мне в ухо, а баббо, как она и предсказывала, стал припоминать названия баров на О'Коннел-стрит. Я наблюдала за мистером Беккетом из-под ресниц — как серьезно он смотрит и почти торжественно кивает на каждое слово баббо. А потом наши глаза вдруг встретились — и долгую секунду не могли оторваться друг от друга. Все вокруг нас словно ожило — опять то же самое электричество, от которого воздух будто потрескивает и особенно пахнет. Против воли мои пальцы двинулись вперед по льняной скатерти — неведомая сила притягивала их к мистеру Беккету.

— А что «Медная Голова», мистер Беккет? Сильно она изменилась? — Голос баббо разрезал пространство и время. Волшебство рассеялось, острота ситуации спала, и магнетизм, которому только что повиновалась моя рука, исчез.

Я щелкнула пальцами, как будто отменяя вопрос баббо.

— Расскажите нам о своей семье, мистер Бек-

кет. Мы хотим знать о вас все… если только это не слишком бесцеремонно с моей стороны?

И лишь позже, гораздо позже я вспомнила об Эмиле. Целую секунду я даже не могла представить его лицо. А когда представила, то почувствовала себя такой жестокой и бездушной… такой виноватой, что насильно постаралась прогнать его из своей памяти. Далеко-далеко.

* * *

Только следующим вечером я узнала о намерениях баббо относительно мистера Беккета. Я сидела в кухне, а мама бинтовала мои ступни. После еще шести часов репетиций нарывы сочились густым желтым гноем, а мои танцевальные туфли изнутри были выпачканы кровью.

Вошел баббо. Его очки запотели, а галстук сбился на сторону.

— Я так больше не могу, — жалобно произнес он.

— Что теперь случилось, Джим? — Мама сильно дернула бинт.

— Ай! Не так туго, мама, а не то я завтра не смогу надеть балетки, — простонала я.

— Матерь Божья! Ты и твои ноги, твой отец и его глаза! Я уже не знаю, куда мне деваться, вы

меня с ума сведете! Где Джорджо? — Она подняла голову, словно ожидая, что Джорджо дома и вот-вот войдет в кухню. Однако Джорджо отсутствовал весь день и всю ночь. Я не говорила маме. Я знала, что ей бы это очень не понравилось.

— Я целый день говорил по телефону с юристами. Незаконно напечатанные копии «Улисса» продаются в Америке и Англии по сорок долларов за экземпляр. — Баббо в отчаянии взъерошил волосы.

— Что ж, деньги нам куда как пригодятся, Джим. И это совсем неплохие деньги.

— Но в том-то все и дело! Мы не получаем с этого ни пенни! Ни единого пенни! И там полно ошибок! Какой-то человек в Америке наживает себе состояние на *моей* работе — моей *изуродованной* работе! — В его голосе звучало настоящее раздражение. Он снял очки и протер их шелковым носовым платком. Его глаза, в красных жилках, с серыми кругами, без привычных стекол, вдруг показались мне особенно усталыми и несчастными. — Я писатель, а не юрист. Все это очень меня подавляет. Я совершенно пал духом. А вдобавок еще и мистер Макэлмон сообщил, что возвращается в Америку. — Баббо надел очки и тяжело вздохнул. — Кто поможет мне с работой,

Нора?

— А миссис Роскошные Портки Флейшман не может тебе помочь? Или она слишком много времени пялится на тебя, вместо того чтобы печатать? — Мама еще раз туго обернула бинт вокруг моей ноги и завязала узлом концы.

— Слишком жмет, — пожаловалась я. — И я ни за что не смогу это развязать. И мне придется жить с этими бинтами всю жизнь.

— Если бы не эти твои танцы, нам не нужно было бы столько денег. Так что перестань ныть, ладно?

Мама встала и начала сердито сматывать бинт. Я невольно возмутилась. С Джорджо она никогда так не говорила, а ведь его уроки пения обходились гораздо дороже, чем мои уроки танцев.

— Никакого чувства собственного достоинства нет у твоей миссис Роскошные Портки Флейшман. Одна еврейская наглость и все такое. — Мама возмущенно фыркнула и замолчала.

— У миссис Флейшман есть достоинства, — возразил баббо. — Она знает всех нужных людей, и восхищается моими трудами, и к тому же она достаточно богата и может себе позволить работать у меня бесплатно.

— Она разводится, Джим! Бога ради… это же

позор!

— Я могу тебе помочь. — Я осторожно вытянула забинтованную ступню. Мне не хотелось видеть у нас миссис Флейшман. Было в ней нечто, что вызывало во мне смутное беспокойство. То, как она вплывала в наш дом, в собольем манто на плечах, с сумочкой из змеиной кожи, болтающейся на запястье, с отрепетированной улыбкой дружелюбия на малиновых губах… ее воркующий голос, «милые» гримаски и попытки изобразить умную женщину, каковой она на самом деле ни капли не являлась.

— Ты и так делаешь для меня более чем достаточно, Лючия. Пишешь за меня письма, постоянно бегаешь в библиотеку. Возможно, если бы ты меньше танцевала на публике… Если бы только дома… — Баббо умолк.

— Господи, спаси нас и помилуй! Я не стерплю, если она будет целыми днями мотаться у меня под ногами. Вы двое, клянусь, таки доведете меня до сумасшедшего дома, если будете постоянно балаболить о своих предзнаменованиях и радугах.

— Ты могла бы переплетать книги, Лючия. — Баббо прислонился к дверному косяку, глядя куда-то поверх моей головы. Его тонкие пальцы теребили галстук.

На минуту я решила, что он шутит. Сейчас он разразится тонким серебристым смехом, и я присоединюсь к нему, и мы позабавимся над этой немного чудной остротой. Мама водрузила на плиту чайник и принялась расставлять чашки и блюдца. Все молчали.

— Переплетать книги? — Я поднялась и попыталась пройти по кухне, хромая и подпрыгивая от боли. То, что сказал баббо… но ведь это же нонсенс! Ему нравятся мои танцы. Они его вдохновляют — все это знают. Неужели он действительно предпочел бы, чтобы я сделалась переплетчицей? И сама зарабатывала себе на жизнь… В этом все дело? Или он хотел бы, чтобы я переплетала *его* книги? Я сердито повернулась к нему, готовая упрекать, обвинять, но слова застряли у меня в горле. Я вдруг все поняла. Какая же я глупая! Он не хотел, чтобы я танцевала для кого-то еще. Вот почему он предложил мне делать это дома, а не на сцене. Он желал, чтобы я принадлежала только ему.

— Переплетчица — это прекрасная профессия для юной леди. То есть для юной леди, которая намеревается приобрести профессию. — Он кашлянул. Я хорошо знала: *этот* кашель означает, что разговор окончен и обсуждаемая тема за-

крыта. — Нет, Нора, мне необходима помощь человека, который понимает мою работу. У Макгриви недостаточно времени. Он теперь постоянно занят преподаванием.

— Вот это жалость так жалость. Мистер Макгриви всегда такой сдержанный. А что насчет этого мистера Беккета? Не может ли он помочь?

Я едва не задохнулась от волнения. В одну секунду все мои тревоги из-за того, что мне, может быть, придется стать переплетчицей, испарились. Я села и крепко ухватилась за подлокотники кресла. Мистер Беккет на Робьяк-сквер. Мистер Беккет, работающий с баббо. Был ли это очередной знак? Богини судьбы неумолимо сводили нас вместе.

— Ах да, мистер Беккет. Эта мысль приходила мне в голову. Ему придется отложить свой труд о Прусте. И конечно, я не смогу ему платить. — Баббо закурил сигарету, и, на мгновение освещенное огоньком спички, его лицо стало как будто ярче, глаза прояснились. — Да, мистер Беккет. Разумеется, он на это способен. Эрудит. Прекрасно мыслит. Как он тебе показался, Нора?

— Он не очень-то много говорил, не так ли? Больше слушал тебя. Ловил каждое твое слово, как и все они. — Мама подвинула ко мне чаш-

ку. — Что такое, Лючия? У тебя такой вид, словно ты привидение узрела. Выпей чаю. Отличный чай. Горячий, крепкий.

— Мне мистер Беккет понравился, — стараясь не выдать своих чувств, произнесла я. — Он очень умен, не правда ли?

— И мало улыбается. Очень серьезный, это уж как пить дать, — добавила мама. — Мистер Макгриви всегда заставляет меня смеяться. У него прекрасное чувство юмора и такие хорошие манеры. Никогда еще не было, чтобы он не заметил мою новую прическу или шляпку.

— Итак, я попрошу юного Беккета. В самом деле. Так я и поступлю. Большинство молодых — и не только — людей сочли бы за огромную честь, даже счастье, помочь мне в работе. — Баббо сжал губы, будто пытаясь скрыть улыбку. — И если он понравился Лючии, уверен, он понравится и всем нам. Несмотря на то что он не обладает очарованием и прекрасными манерами, как наш старый добрый друг мистер Макгриви.

— Кстати, об очаровании. Твой знакомый, композитор, заходил к нам сегодня, Лючия. Искал тебя. Такой взволнованный. Но я сказала ему, что ты слишком занята танцами, чтобы думать о ком-то еще. — Мама бросила на меня многозна-

чительный взгляд.

— Эмиль? Мистер Фернандес? — Я ожидала, что, как всегда при звуке имени Эмиля, по телу моему пробежит сладкий трепет, но ничего не произошло. Передо мной лишь довольно смутно предстало его милое лицо, и еще я как будто услышала первые аккорды его последней композиции, под которую с такой эйфорией танцевала. Но все это почти сразу же испарилось. Я ощутила укол совести, но уже через доли секунды мои мысли снова вернулись к мистеру Беккету. Мистер Сэм Беккет на Робьяк-сквер, каждый день. Моя судьба, мой жребий — как же быстро все движется!

— Ну да, мистер Фернандес, конечно, это был он. Шикарно одетый, между прочим. В пальто из твида лучшего качества. У этих евреев столько денег, они могут позволить себе швырять их направо и налево. — Мама тяжело поднялась и, вздохнув, направилась к раковине. — Когда ты собираешься попросить мистера Беккета начать работу, Джим?

— Я отправлюсь к нему прямо сейчас. Сию же минуту. Тебе придется пойти со мной, Нора. Мои глаза сегодня так плохи, что я едва ли вижу на ярд вперед. — Баббо тоже встал и оправил жи-

лет. — Не хочешь ли с нами, Лючия?

Я грустно посмотрела на свои распухшие ноги, обмотанные бинтами.

— Не глупи, Джим. Девчонка не может и шага ступить! Положи ночью ноги повыше, Лючия. Нужно, чтобы они хорошенько отдохнули, а не то тебе уже никогда не придется танцевать. Чаю выпьешь, Джим?

— Нет времени. Я должен нанять мистера Беккета как можно скорее. Нужно ковать железо, пока оно горячо, Нора. Мистер Беккет необходим мне, как воздух. Не найдешь ли ты мою шляпу и трость? И поторопись, Нора! Поторопись! — Вытянув перед собой руки, баббо двинулся к двери.

— Матерь Божья! Да что ж мне, и чай не допить? — Мама с театральным отчаянием вскинула руки. — Скажи Джорджо, что в кладовой лежит отличный кусок мяса, Лючия. И поджарь его для брата. С луком и картофелем.

Я услышала, как удаляются вниз по лестнице их шаги, проковыляла к плите и снова поставила чайник на огонь. Мысли метались в голове, словно маленькие вихри: что, если мистер Беккет и вправду станет работать на Робьяк-сквер; Эмиль… а как же Эмиль; баббо и его возмутительное предложение заняться переплетением книг… я все

еще сердилась на него. И все лишь потому, что я не должна танцевать для кого-то другого! Почему и мама, и баббо как будто бы ощущают какую-то неловкость из-за того, что я выступаю на сцене? Их восхищало то, что Джорджо будет петь перед большим залом. Почему же они не чувствовали ничего подобного в отношении меня?

Меня вдруг охватило неодолимое желание танцевать. Сделать это как следует мне мешал толстый слой бинтов, но я опустилась на пол и исполнила джазовую импровизацию, извиваясь и раскачиваясь, ломая руки и разрезая воздух ногами. К тому времени, как закипел чайник, издавая пронзительный свист, я немного успокоилась. Отмеряя чай и заливая его кипятком, я думала только о мистере Беккете. Пожалуйста, Господи, молила я, пусть мистер Беккет согласится работать с баббо… пожалуйста, Господи…

Глава 4

Ноябрь 1928 года

Париж

Первой, кому я во всем призналась, была Киттен. Мы только что закончили двухчасовую репетицию танцевального дуэта для нового фильма Жана Ренуара. Совершенно обессиленные, мы добрались до гримерной комнаты и рухнули на скамью. Я принялась осматривать свои израненные ноги.

Зажимая нос одной рукой, другой Киттен стащила с себя чулки. К привычным «ароматам» гримерной — клея для туфель, пота, волос и дурного одеколона — примешивался еще какой-то запах, острый, металлический и довольно противный.

— Должно быть, это самая отвратительно пахнущая гримерная во всем Париже. Что это за жуткая вонь?

Я принюхалась. Запах мочи! К горлу немедленно подступил комок, и я с трудом подавила тошноту.

— Мне кажется, это запах мочи… мужской мочи. — Я огляделась в поисках окна, чтобы проветрить комнату, но его конечно же не было. Почему в гримерных никогда не делают окон?

— О-о-о, как ужасно! — Киттен еще крепче прижала ладонь к носу.

— Это напоминает мне одно из мест в Триесте, где мы жили… — начала я, но тут же остановилась. — Ты не возражаешь, если мы переоденемся прямо в студии? Все уже ушли, а мне нужно кое-что тебе сказать.

— Я так и знала! — с торжеством в голосе воскликнула Киттен. — Ты здесь не единственная ясновидящая, знаешь ли. Я заметила, что нечто явно не так — сразу же, как только ты появилась в студии в этих закатанных чулках, с голыми коленками. Да еще и с опозданием. Опаздывать — это совсем на тебя не похоже, дорогая. Давай вернемся в студию, и ты мне все расскажешь.

— О, Киттен, я не могла дождаться подходящего случая!

Мы подхватили свои сумки и пальто, поскорее выскочили обратно в студию и устроились у печки. Я прижалась к ней плечом, не в силах больше держать в себе то, что меня переполняло.

— Мне кажется, я влюблена! Не могу думать

ни о чем другом. Мне пришлось даже пройтись по Люксембургскому саду, чтобы хоть немного успокоиться. Я, наверное, раз сто обошла фонтан Медичи. Я очень плохо танцевала?

— Ты танцевала с такой энергией… от тебя словно сияние исходило, и я тут же подумала, что у тебя в жизни произошло что-то восхитительное! Это Эмиль Фернандес, да? — Киттен склонила голову набок и окинула меня долгим взглядом.

Я покачала головой и сжала губы, чтобы не выпалить все в одну секунду и не разрушить драматизм момента.

— Ах ты, темная лошадка! Как ты могла скрывать от меня *такой* секрет?

— Я только что познакомилась с ним, Киттен. Два вечера назад. Его имя — Сэмюэль Беккет. Ему нравится, когда его называют Сэм, но мы зовем его мистер Беккет. И он такой чудный! — Я закрыла глаза, уронила голову Киттен на плечо и вздохнула, вспоминая его пронзительные глаза… волнующие, околдовывающие.

— Быстро же ты, дорогая! Ладно, прощаю тебя за то, что ты мне не сказала. Но кто он?

— На самом деле все еще быстрее, чем ты думаешь. — Я подняла голову и посмотрела ей в лицо. — Полагаю, мы поженимся. Не сразу, разу-

меется. Но со временем.

Киттен ахнула:

— Он сделал тебе предложение? Уже?

— Нет, конечно нет. Сначала он должен в меня влюбиться. Но у меня такое чувство, что это непременно произойдет. — Я положила одну ногу на другую и сняла балетку.

— Могу поспорить, у тебя опять было видение. — Киттен погладила меня по спине, как будто хотела приласкать меня, чтобы я рассказала ей больше, и я вдруг поняла, до чего нелепо все это звучит. Баббо бы обязательно понял. Я увидела его как наяву: горящие глаза, тонкие, похожие на лапки паука пальцы, нащупывающие карандаш, пока он осторожно, тихим голосом расспрашивает меня, чтобы не спугнуть. Но я не собиралась ничего ему говорить. Мне не хотелось прочитать *об этом* в его книге, даже в туманном, расплывчатом виде. Даже в виде его особого, мало кому понятного шифра.

— Это тот самый мужчина, что смотрел на меня в окно, когда мы сидели в «Мишо»… когда мы отмечали тот самый хвалебный отзыв в газете. — Я облизнула палец и потерла кровавое пятнышко на заднике балетной туфли. — Теперь он работает с баббо. И когда я думаю о нем, у меня перестают

болеть ноги. А прошлой ночью… прошлой ночью мне снилось… — Я замолчала и потерла пятно сильнее.

— Ну? — Киттен слегка толкнула меня плечом.

— Мне приснилось, что мы были с ним вдвоем… как женщина и мужчина, понимаешь? И все вокруг было залито солнцем. — Я не сказала, что, когда проснулась, все мое тело болело и будто вибрировало при одном лишь воспоминании об этом. И что я целых полчаса танцевала у себя в спальне, чтобы остыть. — Я еще никогда не чувствовала ни с кем такой близости, тем более с человеком, которого почти не знаю, — призналась я.

Китти испустила громкий театральный вздох, как будто я сообщила ей нечто столь небывалое, чему невозможно поверить.

— Но все же — кто он? Откуда родом?

— Он ирландец. И у него завораживающие глаза, как у гипнотизера… цвета морской воды. И при этом яркие и острые.

— Звучит ужасно экзотически. А что он делает здесь?

— Преподает английский. Но сейчас у него только один ученик. Он страшно умный и хочет стать великим ученым. Мама решила познако-

мить его с Джордже Сегодня в кафе «Дю Дом» они должны встретиться за аперитивом. Ты сможешь прийти?

Мое сердце забилось быстрее и сильнее, а тело будто бы начало испускать электрические импульсы — и все это из-за того, что я вскоре снова увижу Сэма.

— Прямо сейчас? Но мне нужна ванна — и мне нечего надеть. И не мешает нарумянить щеки. Нельзя ли сначала забежать домой?

Я посмотрела на часы на стене. Было уже почти шесть. Я встала, пропустила пальцы сквозь недавно обновленную стрижку и пригладила платье.

— Нет времени. Идем, я расскажу тебе о нем по дороге.

— А как же твои чулки? Ты не хочешь снова их закатать?

— Джорджо может сказать маме, и мне крепко достанется. Мне просто хотелось попробовать, ведь сейчас это так модно. — Я слегка вздрогнула, взяла сумку и направилась к двери.

— Жаль. Это выглядело так дерзко и вызывающе, — разочарованно протянула Киттен. — Хотя сейчас, полагаю, уже довольно холодно.

Выйдя из студии, мы сразу ощутили дыхание зимы. Воздух был колким, свеже-ледяным и жгу-

чим одновременно. Мы поплотнее закутались в пальто и надвинули шапки на уши. Бульвар Монпарнас уже готовился к обычной разгульной ночи. Тележки с цветами ломились под тяжестью толстых связок остролиста, усыпанного алыми ягодами, и желтого жасмина, что расцветает зимой. Оглушительно пахло жареными каштанами. Грустные голоса уличных певцов смешивались со звонкими криками мальчишек-газетчиков и призывными возгласами табачников. Торговцы воздушными шарами и продавцы нот складывали товар, кукольники сворачивали ширмы и убирали своих марионеток, и все перекликались друг с другом. Старухи под просторными стоячими зонтами, предлагавшие покупателям шнурки и прочую мелочь, зевали и потягивались. А глотатели огня и жонглеры, наоборот, готовились к вечерним представлениям. Из баров, оглядываясь по сторонам, выходили посетители — может быть, искали отставших друзей, а может быть, местечко, где можно выпить подешевле.

— Поверить не могу, что ты заставляешь меня встретиться с Джорджо, когда я в таком виде. — Киттен кивком указала на свои ноги. Вместо элегантных туфелек на каблучках, с пряжками и пуговками, какие она обычно носила, сейчас

на ней были практичные коричневые ботинки — в них она всегда возвращалась домой после репетиций.

— Вряд ли он упадет в обморок. Ты ведь не скажешь ему обо мне и мистере Беккете? — Я остановилась, чтобы бросить несколько монет в жестянку нищего, который скорчился на тротуаре. На коленях у него лежали деревянные костыли. — Джорджо и мама посмеиваются над баббо, когда он называет меня «своей Кассандрой». Хотя это странно. Сначала я вижу его в ресторане, затем он вдруг появляется в нашем доме. И вдобавок ко всему он ирландец и прекрасно говорит по-итальянски, как и мы. А теперь он будет работать с баббо и приходить к нам каждый день.

Я взяла Киттен под руку и притянула ее к себе. Впереди уже показались огни кафе. Мой пульс участился, и я жадно глотнула холодного воздуха.

— И что же, *все* твои предвидения сбываются? То есть все-все, до единого? — спросила Киттен.

Я немного поколебалась, не зная, как объяснить непоколебимую уверенность баббо в том, что я обладаю необыкновенным даром.

— Это не совсем предвидения — скорее нечто

вроде интуиции. В прошлую пятницу я проснулась и почему-то подумала о нашей старой знакомой из Цюриха. Мы ничего не слышали о ней уже три года. Но уже через час мальчик-почтальон принес от нее письмо — она сообщала, что приезжает в Париж.

Я куснула ноготь и снова вспомнила то утро. Я открыла глаза с неожиданной мыслью о Жанне Вертенберг (о которой не думала по меньшей мере год) и странным щекочущим ощущением в позвоночнике. Когда доставили письмо, я рассказала обо всем баббо, и он конечно же начал подробно меня расспрашивать: как выглядела Жанна? что она делала? говорила ли со мной? что в письме? как долго сохранялось это щекочущее чувство? А затем прикрыл глаза и пробормотал что-то о мистической деятельности, творящейся в дремлющем разуме.

— Иногда это приходит в виде снов. — Я снова остановилась, на сей раз у тележки с цветами, и окунула лицо в большой букет желтого жасмина, стоящего в эмалированном ведре. Его ветки были похожи на копья.

— Я точно знаю, что один твой сон про меня действительно сбылся! Это было поразительно. Сверхъестественно! Даже папа это признал, а

ведь он такой циничный, когда дело касается подобных вещей. — Киттен помолчала, припоминая. — Ты помнишь, Лючия? Тебе приснилось, что я исполняю главную партию в «Сотворении мира» в Сен-Поль-де-Ванс? И я в самом деле получила эту роль!

— Сбываются только самые яркие видения, те, где я помню каждую подробность, каждый запах и звук, где цвета так ярки, что у меня болят глаза. Когда мне снились мистер Беккет и я… обнаженные… я чувствовала на своем теле жар солнца, и выступы его тела подо мной, каждую косточку. И все кругом было золотым, и еще где-то будто бы на заднем плане слышался странный звук… как тикающие часы. Но ты ведь не скажешь ни слова ни единой душе, да, Киттен?

— Конечно нет, дорогая! — Киттен повернулась ко мне и улыбнулась. — Но обещай — если ты снова увидишь меня во сне, то обязательно расскажешь. Даже если это будет что-то ужасное. Даже если я приснюсь тебе в гробу.

Я отняла у нее руку и прямо перед входом в кафе сделала несколько пируэтов, на глазах у торговцев устрицами, что устроились на террасе со своими корзинами и ножами.

— Я предсказываю только счастье, Киттен, — за-

верила я, открывая дверь, но мои слова заглушили взрывы смеха и веселые крики, доносившиеся из кафе.

Джорджо и мистера Беккета мы заметили сразу же.

— Привет, пташки! — Джорджо прижал меня к себе и расцеловал в обе щеки. — Я только что говорил мистеру Беккету о лучших джазовых местечках в Париже, но, как выяснилось, он предпочитает музыку другого рода. Не правда ли, мистер Беккет?

Джорджо смачно чмокнул Киттен и сделал комплимент ее чудесному цвету лица. Мистер Беккет нервно переминался с ноги на ногу и, быстро затягиваясь, курил сигарету.

— Здесь, в Париже, все целуют друг друга, мистер Беккет, — объяснила я и почувствовала, как горячая волна заливает мою шею и лицо. Я поднялась на цыпочки и тоже поцеловала его в обе щеки. Его щетина чуть царапнула мне губы, а дым от сигареты обвился вокруг горла, как шарф. Я отступила и склонила голову, надеясь, что он не заметит, как сильно я покраснела.

— О да, это парижский обычай. Меня зовут Киттен. — Киттен потянулась и подставила мистеру Беккету лицо. — Это одна из тех вещей, из-за кото-

рых я обожаю этот город! — добавила она, снимая перчатки. — Все эти поцелуи! А если вы любите музыку, то знайте: Джорджо поет как ангел.

— Спасибо, Киттен. А эти две девчонки только и делают, что танцуют. — Джорджо обернулся к мистеру Беккету и показал на нас сигаретой. Я заметила, как блеснул ее золотой фильтр. Это были не те самокрутки, что он обычно курил, и я мельком подумала: может, ему заплатили за выступление? Но спросить не успела — Джорджо опять заговорил: — И днем и ночью. Танцы, танцы, танцы. Это сводит мать и отца с ума.

— «О, музыки качанье и безумье — как различить, где танец, где плясунья?»[5]

Мистер Беккет смотрел на меня, и я тут же забыла о внезапном богатстве Джорджо. Я подняла бровь:

— Это вы написали, мистер Беккет?

— Боюсь, что нет. Это одно ирландское стихотворение. Вы любите поэзию, мисс Джойс?

— Конечно! Я как раз занимаюсь постановкой нового танца, который мне навеяло стихотворение Китса. Возможно, вы его знаете. — В его глазах горел неподдельный интерес, и я собра-

---

[5] Примечания: 5
У. Б. Йейтс. «Среди школьников». Пер. Г. Кружкова.

лась продолжить, но вмешался Джорджо:

— Лучше расскажи ему о Париже, Лючия. О вечеринках, о ночных клубах. Ему нужно завести побольше друзей, а то он знает лишь нас да Томаса Макгриви, а Макгриви скорее мышь, чем человек. — Джорджо щелчком отбросил свою сигарету с золотым кончиком, подозвал официанта и заказал нам всем еще по мартини.

Я взглянула на мистера Беккета.

— Я так рада, что вы приняли предложение баббо. Он очень плохо себя чувствует. В иные дни он вообще ничего не видит. Ему приходится писать толстенными карандашами или мелками и надевать две пары очков, одну поверх другой. От света у него болят глаза, так что не забывайте задергивать занавески.

— Как же мне в таком случае ему читать? — нахмурился мистер Беккет.

— Вам нужно будет сесть прямо возле окна и оставить между шторами совсем узенькую щель, так чтобы свет падал только на книгу. Я всегда так делаю.

— Работать с вашим отцом — огромная честь для меня, — торжественно произнес он.

— Полагаю, вы захотите посещать салоны? Баббо заходил пару раз в салон к мисс Стайн и

мисс Барни. Там собираются все великие артисты. Я могу устроить вам приглашение, если пожелаете.

— Они все лесбиянки! Зачем ему туда? Разве что посмотреть, как развлекаются богатые американцы. — Джордже открыл крышку зажигалки и снова захлопнул.

Как горько он это произнес, подумала я, но вслух ничего не сказала. Прикусила язык, взглянула на Киттен и закатила глаза. Она почему-то выглядела грустной и уставшей. В этот момент я посмотрела на туфли Джордже Они были натерты так, что, казалось, излучали собственное сияние.

— Кто это так натер тебе туфли, Джорджо? — спросила я. Даже мама, при всей ее любви, никогда не прикладывала к этому столько усилий.

Он по-детски ухмыльнулся.

— Не важно, Лючия. Я покажу вам джазовые клубы, — обратился он к мистеру Беккету. — За Лючией остаются баль-мюзеты и балет, а отец сводит вас в оперу и на Сену. Он упоминал о своих ежедневных прогулках вдоль Сены? Нет, думаю, что нет. Его необходимо сопровождать — вы скоро к этому привыкнете.

— Не то чтобы у меня совсем нет друзей. — Мистер Беккет осторожно улыбнулся. — Я вступил

в университетскую команду по регби. Нападающим.

— О, вы молодец, мистер Беккет! — Киттен захлопала в ладоши. — Вы увлекаетесь спортом?

Мистер Беккет кивнул.

— Дома, в Дублине, я много играл в крикет, а также в теннис и гольф. Я даже пробовал участвовать в гонках на мотоциклах и кататься на роликовых коньках. — Он сконфуженно закашлялся, как будто сказал слишком много.

Джорджо несколько нахально оглядел его с головы до ног.

— Не думал, что у вас подходящее сложение для игры в регби.

Мое сердце замерло. Что, если мистера Беккета… Сэма ранят во время игры? Или раздавят во время потасовки? Я также встревоженно осмотрела его фигуру. Он такой некрепкий! Под костюмом кое-где даже проступали кости.

— Вот легкие у меня не очень, это верно, — сказал мистер Беккет, постучал себя по груди и задумчиво покачал головой. И закашлялся — как будто в доказательство своих слов.

— Это все ирландская погода. — Джорджо предложил ему одну из своих сигарет с золотым фильтром. — Здесь ваши легкие придут в

порядок. Когда мы были в Ирландии, уже перед отъездом, дождь шел каждый день. Ты помнишь, Лючия? Дождь. И люди, которые пытались нас застрелить. И вареный картофель с отвратительными черными глазками. Проклятое место! Ну его к чертям.

Я кивнула. Да, так все и было. Звуки оружейных выстрелов. Джорджо, мама и я в вагоне поезда, пытаемся скрыться от разразившейся потасовки. Мы с мамой бросились на пол, но Джорджо храбро остался сидеть на диване, сказав, что примет за нас все пули.

— Но, однако же, в сельской местности очень красиво. — Мистер Беккет глубоко затянулся. — Эти розово-зеленые закаты… я не видел таких ни в каких других краях.

Я попыталась припомнить хоть один ирландский закат, но Киттен так торопливо переменила тему, что я покраснела и мгновенно забыла об Ирландии.

— Лючия — изумительная гимнастка, не так ли, дорогая? — Она незаметно ткнула меня в спину, словно актрису, что забыла свою реплику и срочно нуждалась в подсказке. — В сущности, она и была гимнасткой до того, как сделалась танцовщицей. А вдобавок она умеет петь и иг-

рать на фортепиано, и к тому же рисовать! Ну скажи же, Лючия!

— Лючия обладает столь многочисленными талантами, что для всех нас остается загадкой, почему своим поприщем она выбрала именно танцы. — Джорджо взглянул на меня и улыбнулся, словно гордый родитель. Мне показалось, что он даже раздул грудь.

Мистер Беккет перевел взгляд на меня, и его глаза снова заблестели. Я покраснела еще больше и смущенно покачала головой.

— И еще всем известно, что она — муза мистера Джойса, правда, Джорджо? — Киттен повернулась к Джорджо и оживленно закивала, ожидая подтверждения. Но он заметил кого-то в баре и махал ему или ей рукой и ничего не ответил.

— Воображаю. Из вас выйдет прекрасная муза, — пробормотал мистер Беккет, не отрываясь от моего лица, будто я — необыкновенная, экзотическая бабочка, которую он только что неожиданно поймал и теперь не знает, что с ней делать.

— Однако пришло время ознакомить вас со всеми радостями Монмартра, мистер Беккет. А вы, пташки, разлетайтесь по домам. Скажи матери, что я буду поздно, Лючия. — Джорджо бросил окурок на пол и раздавил его каблуком своей

сияющей туфли.

— А нельзя ли нам пойти с вами? — В животе у меня похолодело, а во рту появился кислый привкус. Раньше Джорджо никогда не избавлялся от меня так бесцеремонно. Мне вдруг показалось, что тесная связь между нами, не ослабевавшая много лет, трещит, как кусок старой, обтрепавшейся по краям ткани, который пытаются растянуть. Неужели я слишком увлеклась своими танцами и пропустила перемены, произошедшие в Джорджо?

— Мать и отец этого не одобрят. — Он швырнул на барную стойку пачку пятифранковых купюр, так легко и небрежно, что мой желудок снова сжался. Как это было не похоже на те времена, когда мы искали случайно завалявшиеся монеты в карманах друг друга, тщательно пересчитывая наши «богатства» и полируя до блеска каждую находку! И старались не смотреть на нахмуренные лица официантов, которым мы не могли оставить на чай!

Но тут мистер Беккет наклонился ко мне и поцеловал сначала в одну щеку, а потом в другую. И когда он отстранился, на его губах играла такая мальчишеская триумфальная улыбка, что я мгновенно забыла о Джорджо.

— Боже, мистер Беккет. — Киттен вышла вперед и подставила ему лицо. — Вы теперь точно парижский джентльмен. Бьюсь об заклад, в Ирландии такого не делают.

Целуя Киттен, мистер Беккет не отрывал глаз от меня, и мое сердце забилось так громко, что я торопливо отвела взгляд, в страхе, что этот оглушительный стук как-то в нем отразится.

— Увидимся завтра, Лючия, — тихо произнес он, когда мы с Киттен надевали пальто и шляпы. — Может быть, вы расскажете мне больше о том танце, над которым сейчас работаете? «Я даровал ей тысячи имен, стихи о ней слагая в упоенье…»[6]

— О-о… — вспыхнула я. — Да… Ките. До завтра.

Пока мы с Киттен, рука об руку, шли к остановке трамвая, она не переставая говорила о том, как весь вечер смотрел на меня мистер Беккет.

— Почему ты не сказала, как ты замечательна и талантлива, дорогая? Право, ты была слишком скромна! — Она сокрушенно покачала головой.

— Тебе он показался привлекательным?

— Слишком худой и костлявый, на мой вкус, — засмеялась Киттен. — Знаешь, кого он мне

---

[6] Примечания: 6
Дж. Ките. «Ода соловью». Пер. Е. Витковского.

напомнил?

— Римское божество? Лорда Байрона? — Я даже слегка подпрыгнула, представив себе высокие мускулы мистера Беккета, его жилистое тело, его лицо, словно высеченное из мрамора, и зачесанные назад волосы, на которых еще сохранились следы гребенки.

— Он похож на твоего папу! Если бы он переменил очки, отпустил небольшую бородку и одевался более стильно, то его можно было бы принять за твоего родного брата. — Киттен хихикнула, но по ее лицу тут же пробежала тень. — Джорджо сегодня был какой-то странный.

— Да, — согласилась я, вспоминая необычайный блеск его туфель, толстую пачку банкнот, что он оставил у бара, дорогие сигареты и то, как пренебрежительно он от меня отделался. К счастью, в эту секунду на бульвар Монпарнас с грохотом и дребезжанием въехал трамвай, и это избавило меня от необходимости обсуждать странности в поведении Джорджо.

* * *

На следующее утро, когда я уже уходила на урок, в кухне появился Джорджо, зевая и отчаянно моргая. Под глазами у него залегли темные

круги.

— Уже убегаешь? — невнятно пробормотал он.

— Да, я опаздываю. Как вам вчера понравилось на Монмартре? — Я сунула в сумку балетные туфли и поспешила к двери. Сотни вопросов вертелись у меня на языке, но времени на разговоры совсем не было.

— Было хорошо. — Джорджо потянулся и зевнул еще раз. — Беккет оттаял после нескольких рюмок. После того как он чуток выпьет, у него открывается превосходное чувство юмора. А это как раз напомнило мне кое о чем, Лючия. — Он замолчал и стал шарить по карманам, ища сигареты. — У тебя завелся поклонник.

Я резко развернулась. Удары моего сердца были похожи на пистолетные выстрелы.

— Кто?

— Больше не могу вымолвить ни слова. — Джорджо воткнул в рот сигарету и снова сунул руку в карман, нащупывая зажигалку. — Черт возьми! Я оставил зажигалку в этом проклятом баре!

— Кто? — настойчиво повторила я.

— Поклонник. Все, что я могу сказать. — Нетвердой походкой он подошел ко мне и шутливо толкнул в плечо. — Лети, а то опоздаешь, Лючия. Кстати, возможно, ты могла бы на обратном пути

зайти на Монмартр и забрать мою зажигалку?

Но я уже сбегала по лестнице, на цыпочках перепрыгивая сразу через пять ступенек. Голова моя кружилась, и я была вне себя от волнения. Выскочив на улицу, в яркий, нестерпимо солнечный день, до краев заполненный обещанием всего лучшего на свете, я кружилась и вальсировала всю дорогу до танцевальной студии.

Сентябрь 1934 года

Кюснахт, Цюрих

— О, новое меховое пальто, мисс Джойс? — Доктор Юнг стоит за отполированным письменным столом и оглядывает меня сверху вниз своими глазами ящерицы.

— Баббо его купил. Я потеряла прежнее. — Мои глаза покалывает от слез. Как я могла вести себя так глупо! У баббо полно забот, кроме того, чтобы покупать мне новые пальто. Если его великий труд не будет завершен, это станет только моей виной… только моей виной… Я поднимаю воротник пальто и кутаю подбородок в его податливые складки.

— Вам нет нужды душить себя, мисс Джойс. Вряд ли здесь его унесет ветром. — Доктор про-

ходит через кабинет и закрывает окно, будто всерьез думает, что внезапный порыв ветра может сорвать с меня пальто.

— Его не уносило ветром! — с негодованием возражаю. — Я случайно оставила его в зоопарке. Я смотрела на медведей, вместе с той женщиной, которой вы платите, чтобы она шпионила за мной, и забыла его на скамейке. — Я замолкаю и смотрю в окно, на гладкое, словно зеркало, Цюрихское озеро. Слышатся пронзительные крики чаек и тихое пыхтение парома, подходящего к пристани.

— И как вы ладите с мадам Бейнс? — Доктор Юнг возвращается к столу и берет в руки первые главы моих мемуаров.

— Я знаю, что она — ваша шпионка. И отказываюсь рассказывать ей о своих снах. Но скажите же, что вы думаете о моей истории? Вам понравилось? — Я нервно играю с пуговицами пальто, засовывая их в петли и снова освобождая, одну за другой.

Доктор Юнг кивает.

— Я ожидал, что это будет больше похоже на работы вашего отца.

Я оставляю пуговицы, встаю и выпрямляю спину, стараясь выглядеть как можно выше.

— Должно быть, мне стоит принять это как комплимент — ведь мы все знаем, что вы думаете о книгах баббо. — Мой тон холоден как лед, потому что я помню, как уязвлен был баббо, когда доктор Юнг публично назвал «Улисс» холодным произведением, бесчувственным и скучным, как солитер. Да-да, именно это слово он употребил. — Значит, мои мемуары не напоминают вам солитер?

Он молча листает страницы, иногда кивая и шумно втягивая носом воздух.

— Где вы родились, мисс Джойс?

— Я вам уже говорила. В больнице для бедных в Италии. Баббо тоже там был. Вы не хотите ничего спросить о том, что я написала?

— Ваш отец наблюдал за родами? — Доктор приподнимает брови.

— Разумеется, нет! Он был очень болен и сам лежал в другой палате. Мама рассказывала, что тогда он едва не умер.

Доктор достает из кармана платок и промокает нос, однако безуспешно.

— Вы знали, что мать очень долго не кормила вас грудью или, возможно, вообще не кормила?

Я пожимаю плечами:

— И что с того?

— Но она кормила вашего брата. Почти до тех

пор, пока не родились вы. Ваш отец написал это в отчете, который я попросил его составить. Вы испытываете какие-нибудь чувства по этому поводу, мисс Джойс?

— Джорджо всегда получал все — так у нас было заведено. Мать боготворит его. А баббо боготворит меня. — Я снова пожимаю плечами. Почему доктор Юнг все время говорит о моем детстве? — Моя история, — напоминаю я. — У вас нет никаких вопросов?

— Меня очень привлекло упоминание о ваших ясновидческих способностях. — Он постукивает пальцем по рукописи. — Не могли бы вы рассказать мне об этом подробнее? Были ли другие случаи, когда вы могли предвидеть будущее? И можете ли вы видеть его сейчас?

Я молчу и думаю, отвечать ли мне на его вопросы или нет. Но потом меня вдруг поражает мысль, что у меня ничего не осталось. Только мои тайны. А он слишком хочет их узнать. Он чересчур жаден.

— Вы должны дождаться следующей части. Но не ждите, что ваша шпионка вам что-нибудь поведает. Я буду предельно осторожна, чтобы ничем не выдать своих тайн.

Я не признаюсь ему, что все обретает смысл,

лишь когда я пишу это на бумаге, заворачиваю мысли и воспоминания в слова, словно обматываю их пряжей. Я встаю и подхожу к окну, держа голову и плечи очень прямо. Чрезмерно ухоженный, вылизанный сад доктора Юнга выходит на озеро, где свободно плавают дикие утки и лебеди, оставляя на воде расходящиеся следы. Наверху в небе носятся чайки — то парят и кружат, то резко ныряют вниз.

— Я больше не хочу быть узницей, — говорю я и поворачиваюсь к доктору. — Я нужна баббо. От меня зависит будущее литературы.

Мне снова вспоминаются медведи в зоопарке. Как они кругами ковыляют по клетке, вялые, потерявшие всякую надежду.

— Вы делаете огромные успехи, мисс Джойс, но это только начало. Мадам Бейнс считает, что вы менее дезориентированы, чем мы думали вначале. И часто, по ее словам, вы мыслите вполне ясно и здраво. Да и чтобы написать все это… — он на секунду умолкает, берет мою рукопись и делает размашистый жест, — вы должны были находиться в здравом уме и ясной памяти.

— Когда я начинаю писать, вспоминаю все. Темнота отступает, растворяется, и я вижу прошлое так, будто это случилось вчера.

Я начинаю расхаживать по комнате. Как же мне надоело сидеть — в кабинетах врачей и больничных палатах, в машинах и на скамейках, на кроватях и смотровых столах! И как же мне хочется снова двигаться и танцевать! Почему никто не может этого понять?

— Пожалуйста, сядьте, — резко и напряженно произносит доктор Юнг.

— Мой отец говорил вам, как я ненавижу врачей?

Я продолжаю ходить по кабинету, огибая доктора, разглядывая его со всех сторон, под каждым углом. Если великий доктор Юнг может ходить по комнате и рассматривать и изучать меня, словно мертвую бабочку под стеклом микроскопа, почему я не могу сделать то же самое по отношению к нему?

— Да, говорил. Как складываются ваши взаимоотношения с доктором Негели?

— Он взял у меня столько крови… должно быть, во мне больше ничего не осталось. Он говорит, что у меня повышенные лейкоциты — слишком большое содержание белых кровяных телец. И проверяет меня на наличие… — Я не желаю произносить это слово. Ни при докторе Юнге. Ни при ком-либо другом.

— Наличие чего, мисс Джойс? — Голос доктора становится мягче, он откидывается назад в своем кресле, так что его живот выпирает из-под жилета, словно воздушный шарик. — Вы забываете о том, что я могу спросить об этом доктора Негели лично. Это очень просто. — Он чихает и снова вытирает нос.

— Я не собираюсь вам говорить! — Я падаю в кресло, плотно-плотно закутываюсь в пальто и горблюсь. Несомненно, сейчас опять начнутся все эти старые вопросы про меня и баббо и про спальни, в которых мы вместе спали. Но нет. Вместо этого доктор Юнг спрашивает меня, удобно ли мне в частном санатории доктора Брюннера.

— Там все как здесь. — Я обвожу кабинет рукой — белые стены, отделанные панелями красного дерева, рисунки в восточном стиле, изображения мандалы на каминной полке. — Очень буржуазно, — презрительно добавляю я.

— Вам здесь нехорошо? Неприятно?

— Да. Только когда я смотрю в окно… — Я не могу объяснить, как отталкивают меня эта роскошная мягкая мебель, купленная за большие деньги, как пугает толстый бархат портьер и натертый паркет пола — я чувствую себя чужой, незваной гостьей, как все это напоминает мне од-

ну парижскую квартиру, которую мне бы очень хотелось забыть.

— Мисс Джойс… — Доктор Юнг так громко сморкается, что я слышу отвратительное бурление у него в носу. — Вам двадцать семь лет, и вы никогда не жили в отрыве от своей семьи. Даже здесь, когда вы находитесь в санатории с мадам Бейнс, я не могу полностью отделить вас от отца. Несмотря на мои строгие инструкции, он отказывается покидать Швейцарию. — Он делает паузу и тщательно рассматривает содержимое носового платка, будто там может прятаться баббо. — Почему вы никогда не имели собственного жилья?

Я смотрю в окно.

— Раньше я любила представлять себя мисс Стеллой Стейн. Воображала, как она просыпается каждое утро, как надевает свое зеленое бархатное пальто и шляпу с оранжевыми перьями. И никто не диктует ей, что носить и в какое время приходить домой.

— Продолжайте, — говорит доктор, и его бездонные глаза словно удерживают меня в луче света.

— Мои подруги ходили в ночные клубы и заводили любовников. Я же ходила ужинать с

родителями. И однажды я спросила баббо, можно ли мне переехать. Сказала, что мама меня ненавидит.

Я закрываю глаза и вызываю в памяти этот день. Я еще слышу, как покашливает и сопит доктор, но уже через несколько секунд та сцена предстает передо мной, как наяву. Кабинет баббо, везде книги, газеты, журналы, книжки комиксов, художественные альбомы, энциклопедии, карты, словари… разбросаны по полу, стоят у стен, едва не падают с полок. Баббо, сгорбившийся за письменным столом. Полная тишина — слышен только скрип его ручки. И я вытягиваю шею и изгибаюсь, готовясь танцевать.

— Баббо?

— Да?

— Я хочу съехать отсюда. Хочу жить в своей квартире. Как мои друзья и подруги. — Я отвела назад плечо, сначала правое, потом левое. — Мне почти двадцать один!

— Я знаю, Лючия. Ты просила нас об этом много раз, и мы всегда отвечали тебе «нет». — Баббо положил ручку, и краем глаза я заметила, что он наблюдает за мной.

— Но почему нет? Я — единственная танцовщица, которая живет с родителями, кроме

Киттен. — Я откинулась назад и медленно выгнула спину, пока моя голова не оказалась между коленями.

— Петлями парят они, переплетаясь со светом… соединяясь и сливаясь, смыкая веки и стремясь в парении к свету. Как это звучит?

— Мама меня ненавидит, Джорджо вечно поет в своем хоре, а ты всегда пишешь. — Я уперлась ладонями в пол и почувствовала, как напряглась задняя поверхность бедер. Потом немного развела колени и взглянула на баббо снизу вверх. Он смотрел на меня, склонив голову к плечу, с непроницаемым выражением лица.

— Бойкий, быстрый, ловкий, гладкий, ладный, складный бегун-бегунок… понравится им это, Лючия? Понравится ли такое этим филистимлянам, что посмеиваются надо мной, копируют и уродуют мои работы? — Он вздохнул и вернулся к своим бумагам.

— Я хочу жить своей собственной жизнью. Хочу быть более независимой! — Я разогнулась и встала. Затем запрокинула голову, так что мои глаза видели только потолок, некогда белый, но теперь тускло-бежевый от табачного дыма.

Баббо остановил на мне взгляд своих воспаленных, в розоватых прожилках глаз.

— Как ты по-кошачьи грациозна в этой позе… кис-кис, кисуля, котишка-воришка…

— К тебе это не имеет никакого отношения, баббо. Я буду очень часто к тебе приходить, ты же знаешь, — сказала я, не отрывая глаз от потолка.

— В Ирландии хорошие девочки не живут одни, сами по себе. Они остаются под крылом у мамочки, пока не выйдут замуж. — Ручка снова заскрипела по бумаге.

— При чем здесь вообще Ирландия? Вечно Ирландия! Это Париж! И если в Ирландии так прекрасно, почему вы с мамой сбежали и поженились в Италии, а не в Дублине?

— С меня довольно твоей язвительности. Мне нужно продолжить работу. Сбегай и отправь для меня эти письма. Бери-беги быстрей-шустрей.

Я медленно опустила голову. Приятно было чувствовать гибкость и послушность своих членов, но разговор с баббо привел меня в состояние нешуточного раздражения. Нужно было попросить маму. Она не хочет, чтобы я путалась у нее под ногами. Мои танцы всегда ей мешают и кажутся некрасивыми и не очень приличными. А когда она замечает, как смотрит на меня баббо, то прищуривает глаза, и у нее делается очень неприятное, холодное лицо. Да, мама бы согласилась.

Баббо опять положил ручку и задумчиво взглянул на меня.

— Возможно, если бы кто-то жил с тобой… — Он говорил очень медленно, как будто мысль еще только формировалась в его голове.

— Кто мог бы жить со мной? Ты хочешь сказать, мы могли бы делить квартиру с Киттен или Стеллой Стейн? — Я старалась не выдать своего волнения.

— Нет, я хочу сказать совсем другое. Кто-то, кто был бы тебе как… мать.

— Мать? Мне не нужна мать. В моем возрасте я уже *сама* могу быть матерью!

— Я думаю о… — Он замолчал и еще раз неуверенно взглянул на меня, как будто решая, продолжать или нет, а затем быстро и твердо качнул головой. — Беги и отправь письма, Лючия. Будь так добра.

— Только если скажешь, о ком ты подумал.

— Я подумал — может, попросить об этом твою тетю Эйлин? — сказал он, внимательно наблюдая за моей реакцией.

— Я бы с радостью пожила с тетей Эйлин, но как же ее дети?

— Я бы платил ей за то, чтобы она жила с тобой. Несомненно, деньги ей нужны. — Баббо погладил

свою козлиную бородку и уткнулся в бумаги.

— Ее дети тоже могли бы переехать в Париж, — предложила я. — В конце концов, они мои двоюродные братья и сестры.

— О нет, — быстро возразил он. — Таких расходов я себе позволить не могу. Но мне хватит средств, чтобы поместить их в пансион в Ирландии. Стало быть, я спрошу ее, когда она приедет на следующей неделе. — Его тощая рука с огромным перстнем потянулась к письмам. — Лючия, прошу тебя, иди и отправь уже письма. И поторопись. Возвращайся скорее назад — мне нужно, чтобы ты для меня потанцевала.

Я открываю глаза и моргаю, ослепленная, ничего не понимающая. Слабый запах озерных водорослей напоминает мне, что я не в Париже и я не собираюсь танцевать для баббо. Я в кабинете доктора Юнга, за мной наблюдают, меня допрашивают, а потом я вернусь с медсестрой-шпионкой в санаторий с решетками на окнах.

— Так что же в итоге произошло? — Доктор кивает и одобрительно улыбается, словно я несмышленое дитя, которое чем-то его порадовало.

— Она согласилась, но семья баббо в Ирландии очень рассердилась и заставила ее вернуться,

чтобы она заботилась о собственных детях. Видите ли, они были еще совсем маленькими, к тому же ее муж только что застрелился. — Я говорю все тише и тише и вскоре замолкаю совсем.

Доктор Юнг хмурит лоб и подпирает ладонью подбородок.

— Ваш отец попросил свою сестру присматривать за вами, молодой дамой двадцати одного года, и оставить своих недавно осиротевших детей в пансионе? Я правильно вас понимаю, мисс Джойс?

Я киваю, и слова вдруг начинают литься из меня потоком, обильным и неуправляемым.

— Мой дядя застрелился, пока тетя Эйлин гостила у нас. Баббо получил телеграмму, но ничего ей не сказал… он повел ее смотреть достопримечательности. Когда она вернулась домой в Триест, дядю уже похоронили. Она не поверила, что он покончил жизнь самоубийством, и настояла на том, чтобы тело выкопали. — Мне кажется, что пластины моего черепа сдвигаются и скрежещут, соприкасаясь друг с другом. В горле у меня посвистывает. Зачем я вытаскиваю из себя это воспоминание?

— Это был единственный раз, когда вы попытались оставить семью?

Я сижу молча и неподвижно. Лишь мои пальцы выдергивают из нового пальто тонкие пучочки лисьего меха. Как легко это делать… скоро мое пальто облысеет, станет голым, как макушка старика.

— Ваши родители обращались с вами как с ребенком, потому что вы вели себя по-детски?

— Я была нужна баббо дома. Он зависел от меня. Вы не понимаете!

— Потому что он был почти слеп? Ему нужно было, чтобы вы выполняли для него разные поручения, так, мисс Джойс? Относить письма на почту, забирать книги из библиотеки? — Доктор Юнг встает, отталкивает кресло и приближается ко мне.

Я яростно мотаю головой:

— Я была его музой! Он нуждался во мне для вдохновения! Вы не понимаете!

— Откуда вам это известно? — Он нависает надо мной, раскачиваясь и шмыгая носом.

— Это все знали! Люди говорили об этом в барах на Монпарнасе. Он всегда наблюдал за мной, не сводил с меня глаз. Вот подождите, выйдет его книга. Вы найдете меня там на каждой странице!

В голове у меня стучит, выдернутые лисьи во-

лоски под шубой прилипают к влажной от пота коже. Что, если я не права? Что, если меня нет в книге? Что, если на самом деле он смотрел на меня не ради вдохновения, а из-за чего-то… отвратительного и развратного? Я пытаюсь встать. Мне нужен воздух, кислород. Доктор вдруг увеличился в размерах, раздулся, заполнил собой весь кабинет и оттеснил меня в угол. Он вот-вот раздавит меня, я не могу дышать.

— Я вызову медсестру, и она сопроводит вас обратно в санаторий. — Доктор аккуратно направляет меня к двери и добавляет: — Сегодня у меня ужинает доктор Негели. И я не забуду спросить его о результатах вашего анализа крови, мисс Джойс.

Доктор Негели. Ужинает у меня. Анализ крови. Его слова перекатываются у меня в голове, как камни, и внезапно меня охватывает порыв гнева. Легкие наполняются синим ледяным горным воздухом, а глаза заволакивает кровью.

Я резко разворачиваюсь на каблуках. От ярости мой голос звучит выше и громче:

— В таком случае я сообщу вам сама! Я не потерплю, чтобы вы сплетничали обо мне за своим швейцарским сыром!

Доктор Юнг слегка приобнимает меня, откры-

вает дверь и подталкивает меня наружу. Где-то беспрестанно лает собака, и ее лай рикошетом отдается внутри моего черепа.

— Неужели у меня не может быть секретов? Ничего личного? Ничего моего — только моего! — Я поворачиваюсь к доктору спиной. Мне стыдно, что я так неожиданно поддалась бешенству. Воспоминания о смирительной рубашке еще так свежи… они режут, словно нож. *Я больше никогда не окажусь в смирительной рубашке! Никогда…*

— Конечно, есть вероятность, что доктор Негели мне ничего не скажет, — успокаивающим тоном произносит доктор Юнг, но я-то знаю, что он лжет. Просто старается меня утихомирить.

— Я скажу вам сама!

— Прекрасная мысль. — Он гладит меня по руке, как будто треплет собаку по шее.

— Сифилис! — Я выплевываю ненавистное слово и делаю глубокий вдох. В просторном холле с огромными окнами, из которых открывается вид на холмы, доктор уменьшается, и я снова обретаю возможность дышать. — Он проверяет мою кровь на сифилис! Они все думают, что у меня сифилис!

— Ив этом случае вы должны продолжать писать мемуары. — Доктор Юнг похлопывает меня

по плечу. — И не потеряйте новое пальто, мисс Джойс. Наступает зима, а в это время года в горах очень холодно.

Глава 5

Декабрь 1928 года

Париж

В первый рабочий день мистера Беккета я пораньше ускользнула с урока, принеслась домой и уселась в прихожей в продуманно-небрежной позе. Я знала, что он прибудет минута в минуту. Не только потому, что было очевидно, как он восхищается моим отцом; было в нем нечто крайне педантичное. Я не смогла бы объяснить, почему так в этом уверена, но я бы руку дала на отсечение, что мистер Беккет ценит порядок и точность. И действительно, как только пробили часы, раздался звонок в дверь. На пороге стоял он, серьезный, яркоглазый, с толстой книгой под мышкой.

— Здравствуйте, Сэм, — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно.

— Добрый день, мисс Джойс… Лючия. — Он вошел в прихожую и остановился, глядя на меня.

— Вы купили это для баббо? — Я кивком показала на книгу.

— «Большие надежды». Там есть отрывок про реку Темзу, который я хотел бы зачитать вашему отцу. — Он умолк и через мое плечо посмотрел на дверь отцовского кабинета, как будто призывал ее отвориться, словно вход в пещеру Аладдина.

— О да, ему это понравится. Мама говорит, если он упомянет еще хоть одну реку, она сойдет с ума. Он знает их все — каждую реку в мире. И в тот момент, когда меньше всего этого ожидаешь, он вдруг начинает их перечислять. Одну за другой, без остановки.

— В самом деле? — Глаза мистера Беккета скользнули по мне, а затем он снова уставился на дверь.

— Нил… — прошептала я драматическим тоном. — …По… Амазонка… Янцзы… Темза… Эйвон… Сена… Не говоря уж о величайшей реке на свете — Лиффи.

— Ах да, Лиффи, — эхом отозвался мистер Беккет и быстро взглянул на часы.

— Когда мы встречались на прошлой неделе, я забыла рассказать вам о библиотеке мисс Бич. Она — та самая леди, что опубликовала «Улисса». Это лучшая библиотека и книжный магазин во всем Париже. «Шекспир и Компания», на рю де ль'Одеон.

Мистер Беккет переминался с ноги на ногу, словно в ботинках у него было полно иголок и булавок.

— Без нее мы бы пропали, — продолжила я. — Так как вам нравится Город огней, Сэм?

Мистер Беккет снова нервно взглянул через мое плечо.

— Я не хочу опоздать к началу рабочего дня. Вы думаете, мне постучать?

Из кабинета донесся хриплый незнакомый голос, и он недоуменно нахмурился.

Я засмеялась:

— Он учит испанский. На слух, по граммофону. Сегодня у него уже был урок русского с мистером Понизовским, а теперь вот испанский.

Мистер Беккет почти вытаращил глаза.

— На скольких же языках он говорит?

— Он постоянно изучает новые. В каждом отпуске мы куда-нибудь едем, чтобы он мог провести исследования для своей книги, и он всякий раз старается выучить еще один язык. Фламандский, уэльский, провансальский диалект… — Я закатила глаза и беспомощно пожала плечами, показывая, как это непросто — жить с гением.

Мистер Беккет откашлялся и в очередной раз посмотрел на часы. Я уже собиралась рассказать

ему историю о том, как мы с баббо вместе учили голландский, но тут появилась мама, сердито нахмуренная, с блестящими от мыла руками.

— Лючия, проводи мистера Беккета в кабинет. Сейчас же. Джим ждал его все эти пять минут. Мистер Беккет, проходите. — Она хлопнула в ладоши, будто разгоняя двух сцепившихся дворовых кошек. Полетели клочья мыльной пены.

— Он слушает урок испанского, — запротестовала я. — Кроме того, я как раз говорила Сэму о книжном магазине мисс Бич.

Но мистер Беккет уже прошел вперед по коридору и теперь стучал в дверь кабинета баббо. А мама сверлила меня яростным взглядом.

— В этом доме он — мистер Беккет, — твердо сказала она. — А теперь, бога ради, помоги мне со стиркой. Твоему отцу нужна свежая наволочка каждый день — так сильно у него гноятся глаза. А эти боли в животе меня просто убивают. Клянусь небом, завтра я, наверное, уже буду лежать в гробу. — Мама сердито вытерла руки о фартук и вернулась в кухню.

Часом позже она застала меня под дверью кабинета — я с наслаждением слушала звучный голос мистера Беккета, читавшего вслух.

— Что еще ты тут делаешь, девчонка? Бьюсь

об заклад, подслушиваешь! — Мама с отчаянием покачала головой.

— Я лишь жду, когда они закончат, чтобы предложить им напитки, — негодующе возразила я.

В конце концов послышался скрежет стульев по полу и мистер Беккет сказал, что ему пора уходить. Мое сердце пустилось в уже хорошо знакомый мне галоп. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, но мама принялась жарить почки, и запах жира забил мне легкие. Меня слегка затошнило.

— Приветствую вас снова, — удивленно, но и с удовольствием проговорил мистер Беккет, выйдя из кабинета. Выглядел он куда более расслабленным и довольным, чем по прибытии.

— Понравился ли баббо Чарльз Диккенс?

— Я полагаю, мои старания были оценены. — Мистер Беккет осторожно провел рукой по волосам и задержал ее на затылке.

— Как ваши комнаты? Может, вам чего-нибудь не хватает? — Я стояла так близко к нему, как только позволялось приличиями, и про себя кляла маму, которой вздумалось жарить почки именно теперь! Если бы не она, я могла бы чувствовать запах мистера Беккета.

— Там холодно. — Он поежился. — И запирают

слишком рано.

— Запирают?

— Да, они закрывают ворота на замок в одиннадцать часов. Мне редко удается попасть домой к этому времени, так что приходится перепрыгивать через ограду. — Он сконфуженно улыбнулся, и у него сделался совершенно мальчишеский вид. Однако в то же время он выглядел и настоящим мужчиной.

Мне ужасно захотелось дотронуться до него, но я сплела руки, чтобы избежать искушения, и спросила, не могу ли я помочь ему с прыжками.

— Поскольку я танцовщица, у меня отлично получаются прыжки, — провозгласила я, помня слова Киттен о том, что нужно быть менее скромной.

— В самом деле? — Он чуть наклонил голову вперед и пристально взглянул на меня исподлобья.

На минуту мне показалось, что я плаваю в его немигающих синих глазах, — странное, но отнюдь не неприятное ощущение. И меня внезапно пронзила мысль: хотя он довольно-таки малоразговорчив, его глаза сообщают мне гораздо больше, чем любые слова.

Я сделала небольшое шассе[7].

— Самое главное — это правильно приземлиться. Иначе можно потянуть колени и щиколотки. Вам нужно сделать довольно высокий прыжок, чтобы перескочить через эту ограду. Возможно, вам поможет гранд жете[8]. Хотите, я вам продемонстрирую?

Мистер Беккет прижался к стене, словно испугался, что я нечаянно ударю его ногой.

— А вы не можете возвращаться домой, пока ворота еще открыты? — Я почувствовала, что невольно становлюсь на мыски. Все эти разговоры о прыжках, теснота прихожей и невозможный запах жарящейся требухи, от которого некуда было спрятаться, возбудили во мне неодолимое желание двигаться.

— Я дурно сплю по ночам. Так что иного выбора у меня нет — только прыгать.

— Бессонница? — сочувственно поинтересовалась я и обвила одну ногу вокруг другой. — Или вы просто ночная птица — сова?

---

[7] Примечания: 7

Шассе — в балете прыжок с собиранием вытянутых ног в воздухе в V-позиции и одновременным продвижением в каком-либо на правлении.

[8] Примечания: 8

Гранд жете — в балете прыжок с одной ноги на другую, во время которого ноги раскрываются в шпагате.

— И то и другое. — Он двинулся к двери, и я инстинктивно протянула руки ему вслед. Но неожиданно он обернулся, так крепко сжимая «Большие надежды», что на тыльной стороне его рук проступили голубые вены. — Не хотели бы вы выпить у меня чаю? Через две недели?

— Это было бы замечательно, мистер Беккет. Сэм.

Приложив неимоверные усилия, я заставила себя ответить ровно и плавно, хотя моя кровь тут же вскипела и быстрее побежала по венам. А потом он ушел, и в прихожей застыла тишина, которую нарушало только тиканье часов. Я вскинула руки вверх, на бегу делая пируэты, поспешила к окну гостиной, а затем прижалась лбом к стеклу и увидела, как мистер Беккет вышел из подъезда и повернул на рю де Гренель. Мне вспомнились слова месье Берлина о том, что самые сильные эмоции нужно выражать через танец, я закружилась по гостиной, вздымая руки и ноги и замирая в эффектных позах.

— Никаких танцев в моей лучшей комнате! — возопила мама, но мне было все равно. В кои-то веки я решила послать все к черту. Сэм Беккет пригласил меня выпить с ним чаю, и никакие мамины слова или поступки не могли меня оста-

новить.

Мистер Беккет прибывал ровно в пять часов каждый день. И когда он уходил, совсем уже вечером, мне казалось, что в доме гасли все огни. Несколько минут я не могла прийти в себя от грусти, медленно привыкая к квартире, в которой нет его. Это было крайне странное, тягостное чувство. Но мысль о том, что он пригласил меня на чай, и уверенность, что наши судьбы неразрывно связаны, помогали мне поддерживать бодрость духа.

Несколькими днями позже, когда я как раз сидела в гостиной, переживая уже привычные печальные минуты после ухода мистера Беккета, в дверь снова позвонили. Думая, что это он — вернулся за книгой или забытым шарфом, — я бросилась открывать. Однако это был не мистер Беккет. На пороге стоял Эмиль Фернандес. Мое сердце сжалось от разочарования, но я уже давно не видела Эмиля, к тому же мне не хотелось задеть его чувства, и поэтому я ослепительно улыбнулась. Баббо всегда называл эту мою улыбку «витринной».

В прихожую вышла мама, с только что уложенными в прическу волосами и свежей блестящей помадой на губах.

— Добрый день, мистер Фернандес. Мы с вами уже с месяц как не видались. — Она стояла очень прямо, расправив плечи и приподняв подбородок.

— Прошу меня простить. Я был очень занят — работал над новой оперой, миссис Джойс. — Эмиль слегка поклонился. — Надеюсь, вы пребываете в добром здоровье?

— Нет. У меня страшные боли, а у мистера Джойса ужасно плохо с глазами. Не знаю даже, что с ним станется. Или со мной. — Мама театрально вздохнула. — С минуты на минуту должна прийти миссис Флейшман, чтобы перепечатать его записи, — он делает их мелком. Но у нас найдется время выпить чашечку чая, не так ли, Лючия?

Эмиль прошел вслед за нами в гостиную, и ему пришлось подождать, пока мы с мамой убирали карты, которые баббо разложил по всему дивану.

— Я не знаю, что у всех не так с глазами в этой семье, — пробормотала мама и бросила на меня осуждающий взгляд.

— Мы все очень боимся, что баббо может совсем ослепнуть к концу года. — Я сделала жест в сторону освобожденного от карт дивана.

Эмиль продолжал стоять, сжимая в обеих руках

шляпу и сильно моргая. От того, что он так явно нервничал, я тоже ощутила некоторое стеснение. Таким я его еще не видела.

— Пожалуйста, садитесь, — сказала я. — Мне хочется услышать все об этой новой опере, что вы сочиняете.

— Иди и приготовь нам чаю, Лючия. — Мама уже собиралась опуститься в кресло-качалку, как раздался еще один звонок в дверь. — А вот это уж точно миссис Флейшман. Подожди здесь, Лючия, вдруг и она захочет чаю.

Эмиль присел на краешек дивана и быстро облизнул губы. Его пальцы продолжали терзать поля шляпы.

Я ожидала, что сейчас он начнет рассказывать о новой опере, но Эмиль молчал, и тишина уже становилась неловкой.

— Мама не очень хорошо себя чувствует, — наконец выдавила я. — Возможно, ей придется лечь в больницу. Врачи думают, что ей, кажется, нужна операция.

— О, я очень сожалею. Ей, должно быть, сейчас нелегко, — отозвался Эмиль. — Но как *вы*, Лючия? Джорджо говорит, вы постоянно танцуете. Работаете над чем-то новым? — Произнося слово «танцуете», он чуть-чуть пошевелил пальцами,

и его руки отчего-то напомнили мне крылышки едва оперившихся птенцов.

— Да, — с облегчением сказала я. Слава богу, что эта затянувшаяся пауза прервалась. — Я пытаюсь поставить танец для моей труппы, где танцовщицы будут превращаться в радугу. Хочу обить черной клеенкой всю сцену и потолок. И может быть, использовать неоновые лампы, чтобы создать такой эффект, будто лучи солнца прорываются сквозь затянутое тучами небо, то есть через клеенку. — Я хотела спросить Эмиля, не напишет ли он для меня музыку, но заметила, что у него очень странное, какое-то застывшее выражение лица. — Вам не нравится то, что я задумала? — обиженно поинтересовалась я.

— Нет-нет, что вы. Но я хотел задать вам один вопрос. — Его пальцы пробежались по шляпе, по коленям и поднялись к полосатому галстуку. Он немного потеребил складки и довольно громко сглотнул.

— Не хотите ли перекусить? — предложила я.

У Эмиля был вид человека, который вот-вот потеряет сознание, словно он уже несколько дней ничего не ел. Он проговорил что-то в ответ, но я ничего не разобрала. Тогда, видя мое непонимающее выражение лица, Эмиль поднялся с дивана

и подошел к двери, где я стояла в ожидании, что мама прикажет мне приготовить чай для миссис Флейшман. Совершенно неожиданно он опустился на одно колено и сжал мои руки в своих.

— Лючия, я хочу, чтобы ты стала моей женой.

Я прислонилась к косяку и некрасиво приоткрыла рот. В одно мгновение все, что я знала об Эмиле, вихрем пронеслось у меня в голове: его огромный, наполненный солнцем дом с персидскими коврами, роялями и цветами из оранжереи, его бабушка, которая целыми днями сидела в бальной зале, увешанная бриллиантами, его знаменитый кузен-композитор со своей не менее знаменитой женой-актрисой.

— Лючия? Лючия? Что такое?

— Мне… мне оч-чень жаль, — заикаясь, пробубнила я. Перед глазами, затмив образы дома Эмиля и его известной семьи, возникло совсем другое видение. Мы работаем вместе. Я кружусь по бальной зале, его пальцы лежат на клавишах рояля. Мы вместе склоняемся над нотами; я отбиваю ритм ногой, а он размахивает в воздухе карандашом, словно это палочка дирижера. А баббо аплодирует нам из угла. Именно такое будущее я себе рисовала. Но эта мечта поблекла, утонула в синем океане глаз мистера Беккета…

ее заслонили его худые загорелые руки, светлые волосы, зачесанные назад, словно их сдул со лба порыв ирландского ветра. Мои глаза наполнились слезами. Я попыталась не думать о мистере Беккете, но это было безнадежно.

— Я не хотел тебя расстраивать. — Эмиль снова сглотнул и поймал мои ладони. — Я думал, что нравлюсь тебе… Джорджо сказал… Джорджо был уверен… — Он стыдливо замолчал. Мы слышали голос мамы в прихожей, и он все приближался и приближался — она вела миссис Флейшман к гостиной. Я закусила губу и быстро отерла глаза. Нужно успеть сказать все до их появления.

— Но ты же еврей, Эмиль! — выпалила я. — Пожалуйста, сядь на диван, как будто ничего не происходит. Быстрее! Пока не пришла мама.

Эмиль попятился обратно к дивану. На его лице были написаны изумление и боль.

— Я не знал, что для тебя это препятствие.

– *Ты* не можешь жениться на *мне* — я ведь не еврейка! Ради бога, да сядь же! Мама идет!

— Но моя семья *хочет*, чтобы я взял тебя в жены. Им все равно, что ты не еврейка.

— Я… просто не могу, Эмиль. — Я покачала головой и отодвинулась в сторону, освобождая проход маме и миссис Флейшман. — Мистер Фернандес

уже уходит. — Я не хотела быть такой грубой и жестокой, но слова, резкие и безжалостные, будто сами по себе выпрыгнули у меня изо рта.

Лицо Эмиля вытянулось, а в глазах мелькнуло настоящее страдание.

— До свидания, миссис Джойс. До свидания, Лючия. — Он взял шляпу и трость и напоследок еще раз умоляюще взглянул на меня.

Я уставилась в пол, стараясь уложить все случившееся в голове. Почему я ответила так решительно? Почему вела себя настолько бессердечно? Секундой позже до меня донесся звук затворившейся двери. Это означало, что Эмиль ушел, возможно, навсегда. Мама с любопытством посмотрела на меня.

— Быстровато он ушел. И даже не захотел чаю, Лючия? — Она повернулась к миссис Флейшман: — Почему бы вам сразу не пройти к Джиму? Сегодня много чего нужно напечатать, если вы, конечно, сумеете это разобрать. Он писал голубым мелком. Понятия не имею, как он отличает один конец от другого.

Миссис Флейшман тоже на меня посмотрела — довольно странно, будто заметила следы слез на моем лице.

— С вами все хорошо, Лючия? — с деланым

сочувствием спросила она.

Я взглянула на ее серое, цвета крыла голубки, бархатное платье с кружевной отделкой и крохотными перламутровыми пуговками, на несколько нитей крупных жемчужных бус, нежно переливавшихся на шее, на соболье манто, перекинутое через руку. Эту уверенность, манеру держать себя могло дать только богатство. Я молча покачала головой и вышла.

Первым о предложении Эмиля — и моем отказе — услышал Джордже За несколько дней до того, как мы должны были встретиться с мистером Беккетом за чаем, он неожиданно ввалился в мою спальню. Я сидела за туалетным столиком в ночной сорочке, расчесывала волосы и обдумывала па для танца, который про себя уже называла «Танец радуги». Днем Киттен протанцевала для меня короткий отрывок на куске черной клеенки, который я бесстыдной лестью выманила у жены торговца рыбой. Свет отражался от нее бесподобно, но меня беспокоило, что это будет отвлекать танцовщиц. И не осложнит ли это движения, которые я придумала? Как сделать так, чтобы танцовщицы точно не поскользнулись? Вокруг зеркала я приколола фотографии танцоров, которыми больше всех восхищалась:

Анна Павлова, Айседора Дункан, ее брат Раймонд и сестра Элизабет, Мадика, Вацлав Нижинский, Архентина. Там же висел портрет и моей новой героини — англичанки Маргарет Моррис. Я часто смотрела на них, чтобы придать себе уверенности. Именно в тот момент, когда я разглядывала снимки, и появился Джордже.

— Сегодня вечером я виделся с Эмилем. — Нетвердым шагом он двинулся ко мне, одной рукой ослабляя узел галстука. Его лицо было немного одутловатым и каким-то темным.

Я хотела спросить, как там Эмиль, но выражение Джордже не располагало к дружескому любопытству, поэтому я промолчала и продолжила расчесывать волосы.

— Он сказал, что попросил твоей руки, а ты ему отказала. Это правда, Лючия?

Я кивнула. Джорджо должен меня понять — нужно только сказать, что я не люблю Эмиля. В детстве мы часто придумывали истории любви о Наполеоне и Жозефине и сравнивали их с романтическим побегом мамы и баббо. Но Джорджо не дал мне ответить. Он качнулся ко мне.

— Ты с ума сошла? — Капельки слюны обрызгали мою голую руку. — Ты знаешь, как богата семья Фернандес? Как ты могла быть богата? Как

мы могли быть богаты? — У Джорджо заплетался язык, и вокруг него, словно ядовитое облако, стоял запах алкоголя и пота. — Так в чем дело?

Что не так? Причина не в Эмиле. Эмиль всегда всем нравится.

Я покачала головой, изумленная этой едва подавляемой яростью и разочарованием.

— Ты думаешь, что на тебя посыплются предложения? Так ведь? Может быть, гораздо более выгодные предложения? — Он презрительно фыркнул. — Ради бога, Лючия! Ты забыла о войне? Забыла, как мало мужчин осталось?

Я собралась ответить, но Джорджо снова не дал мне заговорить, осыпав новыми вопросами.

— А тебе известно, сколько красивых девушек выскочили бы замуж за Эмиля, щелкни он только пальцами? Богатых еврейских девушек, у которых не косят глаза! Он может взять в жены любую, какую пожелает. — Он с силой дернул узел галстука и наконец развязал его. — У тебя был шанс сбежать отсюда, принести в дом настоящие деньги. Его семья могла бы нам помочь самыми разными способами. Ты вообще когда-нибудь думала об этом? — Горячее дыхание Джорджо, его гнев обжигали мне шею. Но внезапно его голос смягчился. — Еще не поздно все

исправить. Я скажу ему, что это была ошибка и что ты передумала. Разве тебе не хочется иметь все, о чем ты когда-либо мечтала?

Я опять покачала головой, совершенно раздавленная. Мне хотелось спросить, как Эмиль, узнать, потеряла ли я навсегда его дружбу. Но злоба Джорджо так меня расстроила, что я вызвала в памяти лицо мистера Беккета и ухватилась за его образ, как утопающий цепляется за проплывающую мимо ветку.

— У тебя могут быть меховые пальто и машина с шофером. Подумай, как семья Фернандес могла бы помочь отцу! И всем нам! — Он замолчал, и я поняла, что он думает не только о деньгах Фернандесов, но и о том, как связи Эмиля в музыкальном мире могли бы способствовать его собственной карьере певца. Через минуту, показавшуюся мне часом, Джорджо заговорил снова. Вкрадчиво, медоточиво: — Может быть, еще не слишком поздно. Мы можем сказать Эмилю, что ты изменила решение.

— Я не могу выйти за Эмиля, — прошептала я.

— Но почему? — загремел Джорджо. Он начал расхаживать по спальне, со злостью впечатывая каблуки в пол. — Что. Не так. С Эмилем.

— С Эмилем все хорошо. Я просто не люблю

его. — Я так сильно провела щеткой по волосам, что оцарапала голову.

— Это неслыханно! Ты забыла, через что нам пришлось пройти? Все эти годы, когда мы никогда не ели досыта, жили в грязных вонючих комнатенках, меняли одну завшивленную постель на другую? — Джорджо остановился возле табурета, где я сидела, нагнулся и заглянул мне в глаза. Его взгляд стал мягче, добрее, он как будто взывал к близости и дружбе, что так крепко связывали нас в детстве.

Мои мысли вернулись в прошлое, к тем мрачным, унылым дням, когда мама брала белье в стирку, а баббо учил, а потом писал весь день и пил всю ночь. А мы с Джорджо сидели, час за часом слушали, как скребутся мыши за стеной, и играли в домино. Если я проигрывала, то в ярости швыряла костяшки об пол, а Джорджо терпеливо собирал их, раскладывал и в следующий раз позволял мне выиграть. Где же теперь тот Джорджо?

Он наклонился еще ниже. От него сильно пахло бренди, и что-то темное и нехорошее шевельнулось в глубинах моей памяти. Я вздрогнула и отстранилась. Но он опять придвинулся ближе.

— Помнишь старые дни в Цюрихе, Лючия?

Когда мать и отец отправились выпивать и оставили нас одних, как поросят в свинарнике? Помнишь, как ты чуть не упала с балкона, пока мы кричали им вслед?

От слов Джорджо картина предстала передо мной так ясно, что на секунду мне почудилось, будто мы и вправду снова в Цюрихе, в той старой квартирке. Я с силой замотала головой. Я не хотела думать о прошлом. Оно забыто. Закончено.

— Я спас тебе жизнь.

Я положила щетку и искоса взглянула на него. Зачем он напомнил мне об этом? Хитрая уловка, попытка сказать мне, что мы снова можем оказаться в том же ужасном положении? В нищете и грязи?

— Я думал, что не удержу тебя там, на балконе, Лючия.

Джорджо положил руку мне на колено. На минуту мне показалось, что, возможно, мне стоит быть с ним честной. Не обращать внимания на растущую брешь между нами и рассказать все о мистере Беккете. Но в его глазах вдруг засветились враждебность и холодное любопытство.

— А… это кто-то другой, верно? Вот почему ты отказала бедному старому Эмилю! Я вижу это по твоему лицу. Ты ждешь предложения от

другого! — Он выпрямился, торжествующий и самодовольный. — Так кто же это, Лючия? Для кого ты себя бережешь?

Я качнула головой. Ничего я ему не скажу. Я хочу, чтобы вернулся мой прежний Джордже А этот, новый, пьяный, ушел. Что-то в нем пугало меня.

— Могу только надеяться, что он богат, — произнес он горько, словно его в чем-то надули.

Я схватила щетку и сжала ее так крепко, что заболели костяшки пальцев.

— Почему все должно сводиться к деньгам, и только к деньгам? А как же любовь? Помнишь, как мы с тобой говорили о любви, о том, каково это — влюбиться? Что с тобой случилось, Джорджо?

Он направился к двери.

— Потому что на свете нет ничего, кроме денег. Наша бедность так постыдна, так унизительна. Это ощущение преследует меня, Лючия. — Джорджо обернулся, и я заметила, что в его затуманенных алкоголем глазах темнеет страх. — То, как отец просит денег… Он думает, что в этом нет ничего страшного — брать деньги у чужих людей и пускать их на ветер. Но мне кажется, что это такой позор…

Я едва не вскрикнула от жалости. Но Джорджо,

пошатываясь, снова подошел ко мне.

— Мы с тобой не гении. У нас нет и не будет богатых покровителей, как у отца. Ты не можешь притвориться, что любишь Эмиля? У аристократов это получается. Они женятся ради денег и продолжения рода. И в аду они видали эту любовь!

Я поразилась.

— Ты считаешь, что мне следует выйти замуж за Эмиля, не любя его? Только из-за его денег?

— И из-за… из-за его связей! — прошипел Джорджо. — Чтобы помочь всем нам. Ты в самом деле хочешь навсегда остаться девочкой на побегушках в этом доме? — Он отвернулся и нетвердым шагом побрел к двери.

— Я танцовщица! — с негодованием воскликнула я. Жестокие слова Джорджа и его презрение к моим занятиям повергли меня в шок. — Я буду знаменита! И я помогаю баббо, потому что он нехорошо себя чувствует и нуждается во мне. И это не означает, что я — девочка на побегушках! — Фотографии моих кумиров смотрели на меня, придавая смелости. — Мои танцы его вдохновляют, и ты это знаешь. Для меня это самое важное в жизни.

Джорджо сердито хмыкнул, и в уголке его рта

выступила слюна.

— А я думал обо всех этих бесконечных письмах, что ты за него пишешь, о постоянных «сходи», «принеси», «сделай»… Эмиль предложил тебе выход из положения, а ты оказалась так глупа, что отвергла его. Как ты могла поступить настолько эгоистично! — Раскачиваясь, он стоял в дверях. — Подумай об этом, Лючия.

И лишь тогда мне вспомнилось то, о чем Джорджо говорил раньше, — его намеки на то, что у меня есть тайный поклонник. Из меня будто выпустили воздух. Значит, моим тайным поклонником на самом деле был Эмиль? Или я все же смею надеяться, что это мистер Беккет?

— Мой тайный поклонник… — просипела я, но слова застревали в горле.

Сильно хлопнула дверь спальни, а из коридора донеслись раздраженные шаги Джорджо.

В ту ночь мне снилась Ирландия. Зеленая, влажная, словно приглаженная дождем. И мистер Беккет. Его рот походил на спелую сливу, а вздыбленные ветром волосы стояли над головой, как корона. Он звал меня из тумана, такого белого и густого, что я не видела ничего — только синее пламя его глаз. А затем рядом со мной в напоенном солью воздухе возникло его лицо — тела

я разглядеть не могла. Оно будто подплыло ко мне и застыло. Зависло в тугих складках тумана. Он звал меня к себе. Я слышала его дыхание — редкое и тяжелое, как будто он сражался с туманом, как будто туман проникал в его глаза, нос, рот, просачивался в горло, легкие, сердце, душил его. Я тоже выкрикивала его имя, снова, снова и снова. Я протянула к нему руки. Но было слишком поздно. Белая дымка утаскивала его за собой, обволакивая, как мантия, — клубящиеся одежды призрака. Его уносило все дальше и дальше в море. И я осталась одна. Я стояла на мокрой траве и продолжала звать его. Но отвечало мне лишь эхо.

Потом я обернулась и увидела, что туман рассеялся, кругом было зелено и чисто. Мистер Беккет стоял рядом, обнимая меня за талию. А далеко в море виднелась маленькая фигурка, цепляющаяся за фортепиано.

— Помаши Эмилю, — велел мистер Беккет, и я почувствовала, как его пальцы бродят по моей спине. — Помаши, Лючия! Нужно всегда махать тонущим.

И его тон был столь повелительным, что я повиновалась и помахала рукой. Но маленький человечек и его фортепиано уже исчезли. По-

верхность моря была блестящей и гладкой, как стекло.

Глава 6

Декабрь 1928 года

Париж

Мистер Беккет купил к чаю крошечные пирожные, лимонные, фисташковые и розовые, и подал их прямо в коробке. Он заварил «лао сун сяо чжун» и разлил его в чашки с выщербленными краями, поверх тоненьких кружочков лимона, которые отрезал перочинным ножом. Мы сидели в его маленькой гостиной на диване, пружины которого начинали стонать и жаловаться на жизнь, стоило нам только пошевелиться. Печка в углу время от времени выпускала облака дыма, отчего в комнате слабо, но отчетливо пахло гарью.

— Тут довольно голо. Почему бы вам не купить пару подушек или коврик? Или, может быть, картины? — Я еще раз оглядела гостиную. Серые стены с отстающей краской, простые полки, на которых мистер Беккет в алфавитном порядке расставил свои книги, запотевшие окна…

— А это отличная мысль. — Мистер Беккет

потрогал воротничок рубашки и слегка оттянул его.

— Разве ваша мать не может одолжить вам что-нибудь подобное? Хотя бы старое покрывало, чтобы накрыть диван. Посмотрите, ткань совсем протерлась. — Я показала на обивку, сквозь которую кое-где пробивались пучки конского волоса. Еще чуть-чуть — и ее разорвут пружины. — И картины. Нужны картины, чтобы немного оживить стены. Иначе все это помещение слишком похоже на монашескую келью.

Несколько секунд мистер Беккет молча и сосредоточенно рассматривал гостиную, как будто вдруг увидел ее в первый раз.

— Вы говорили, у ваших родителей большой дом в Ирландии. Неужели там нет картин, изображающих ирландские пейзажи? Вам не кажется, что это было бы так приятно — просыпаясь, видеть Ирландию? — Я мечтательно вздохнула. — Расскажите мне еще о вашем доме, и огромном саде, и обо всех этих собаках и курах. — Мне нравилось, когда мистер Беккет описывал дом своего детства. Меня почти до слез волновало, что это было обычно. Нормально. Я уже представляла себя там — как я сыплю зерно курам или срываю яблоки с веток. — Расскажите

о собаках. Какой они были породы?

— Мы, как правило, держали керри-блю-терьеров. — На мгновение лицо мистера Беккета стало грустным и задумчивым, но потом он словно очнулся и подвинул ко мне коробку, предлагая пирожные.

— Как их звали?

— Звали… э-э-э… Бамбл… и Бэджер… и еще Вулф… и… Мак. Моя мать предпочитает людям собак. — Он снял очки и рассеянно протер их краем свитера.

— И это ведь ваш отец построил дом, в котором вы родились? Они еще живут там? Вы всегда жили только в одном доме?

Мистер Беккет кивнул.

— Я хочу все-все об этом знать. Ну не молчите же! — Я аккуратно поставила чашку на перевернутый деревянный ящик, что служил мистеру Беккету кофейным столиком, и поудобнее устроилась на диване, не обращая внимания на скрипящие пружины.

— Я ведь уже все вам рассказал.

— Расскажите еще раз. Как вы гуляли с отцом в горах. И о вашей матери. Мне хочется знать о ней все. — Я едва не договорила: «Потому что в один прекрасный день она станет моей свекровью»,

но вовремя прикусила язык. Мистер Беккет чуть поморщился.

— Ей нравятся ослики. — Он помолчал, будто не знал, что еще можно добавить. — Ослики и собаки.

Он посмотрел на лежащие на коленях очки. Я вдруг догадалась, что, возможно, он приехал в Париж, чтобы убраться подальше от матери и Ирландии. В сущности, довольно похоже на баббо. На всякий случай я решила не задавать мистеру Беккету вопросов о его семье.

— Расскажите мне снова о саде. О лимонной вербене, что росла вокруг крыльца, нарциссах и розах. У нас никогда не было сада. — Я опять вздохнула, немного печально. — Каковы ваши самые ранние воспоминания, Сэм? Как вы лежите в плетеной колыбели в тени яблони?

— Нет, — коротко ответил он. — В утробе. Я помню, как я был в утробе матери. — Диван принялся издавать стоны — мистер Беккет никак не мог усесться и успокоиться. Он надел очки, снова взял коробку с пирожными и протянул мне.

— И на что это похоже? Находиться в утробе? — Я взяла бледно-зеленое пирожное и стала покусывать его по краям.

Мистеру Беккету было неловко, его неловкость

передавалась и мне. Очень хотелось, чтобы он наконец расслабился.

— Ужасно. Темно и душно.

— Правда? А что-нибудь еще там происходило? Вы могли слышать звуки снаружи? Или ощущать запахи? — Я, горя от любопытства, наклонилась к нему. Возможно, и он одарен какими-либо сверхъестественными способностями.

— Никаких запахов я не помню. Но я слышал голоса. Разговор родителей, позвякивание фарфора, стук ножей и вилок. — Он крепко сцепил руки на коленях.

— Необычайно! А что они говорили? Вы разобрали слова?

— Не очень четко. — Он разжал пальцы и потянулся за сигаретами. Вытащил из пачки одну и несколько раз постучал по ней, прежде чем сунуть в рот.

— Вы должны рассказать баббо, — сказала я. — Он будет в восторге.

— Я родился в Страстную пятницу, — добавил мистер Беккет. — В пятницу тринадцатого числа. — Он зажег спичку, поднес дрожащий огонек к сигарете и глубоко затянулся.

— В самом деле? Тогда баббо лучше об этом не знать. Он крайне суеверен, и его мать умерла

тринадцатого.

Я внимательно посмотрела на мистера Беккета, размышляя над услышанным. Все это неспроста. Рожденный в Страстную пятницу, в пятницу тринадцатого, сохранивший воспоминания о пребывании в утробе матери… И на его плечах лежало бремя памяти и больших ожиданий. Он тоже был особенным, не таким, как все, с рождения отмеченным особой печатью.

— Расскажите вы о себе, Лючия. — Мистер Беккет выдохнул облако дыма и сильно закашлялся. — Все эти ваши путешествия, как вы жили с отцом…

— Да, множество путешествий и множество разных домов, но ни у одного из них не было даже крыльца.

Я улыбнулась, как актриса на афише, и откинула голову назад, как бы отбрасывая прошлое. Я совершенно не намеревалась омрачать атмосферу нашей встречи обсуждением *моего* детства. Однако мистер Беккет настаивал. Он пожелал узнать, какие города более всего вдохновляли моего отца и где я ходила в школу.

— О, то там, то здесь. Я сменила восемь разных школ. Или девять? Или десять? Уже и не вспомнить. Три в Триесте, две в Цюрихе, одна

в Локарно, еще две в Париже. В среднем почти одна школа в год. — Я надкусила пирожное. Я все еще помнила эти первые дни в новых школах и новых городах, руку Джорджо, сжимавшую мою руку, ошеломляющую пестроту новых лиц, говорящих на незнакомых языках, сосущий страх где-то в желудке.

— Должно быть, вам пришлось очень нелегко, — ласково произнес мистер Беккет. Он глядел на меня с такой нежностью, что на минуту мне захотелось рассказать ему все, снять груз с души, выпустить на волю все эти воспоминания, что я смотала в крепкие клубки и запрятала поглубже. Но вместо этого я просто доела пирожное, стряхнула крошку с колен и не сказала ничего.

— Какой язык вам нравится больше всего? — Мистер Беккет встал и подбросил в печку угля, наполнив комнату густым облаком дыма.

— Когда мы в кругу семьи, вчетвером, мы говорим по-итальянски. Когда приходят ирландские друзья баббо, мы переходим на английский. А мы с Джорджо пользуемся немецким, если не хотим, чтобы нас поняли друзья баббо. И естественно, мы говорим на французском, когда выходим в город. Это же Париж. Но больше всего я люблю итальянский. Баббо называет его языком люб-

ви. — Я погромче произнесла слово «любви», чтобы мистер Беккет расслышал его, шуруя в печке.

Мистер Беккет вернулся к дивану. Его лицо порозовело — не то от жара, пока он возился с печкой, не то от мыслей о любви… понять было сложно.

— Вы настоящий полиглот. Я завидую вам. Я пытался выучить немецкий, язык философии. Ваш отец бегло разговаривает на немецком? — Мистер Беккет осторожно уселся, стараясь избежать выпирающих пружин и пучков конского волоса, и вытер пот со лба.

— Да, — ответила я. Однако мне порядком надоело разговаривать о баббо, поэтому я решила сменить тему. — Сегодня День святой Лючии. Известно ли вам это? — Я взяла из коробки нежно-розовое пирожное и надкусила его так изящно, как только могла.

— День святой Лючии? — Мистер Беккет быстро скрестил ноги и тут же вернул их в прежнее положение. Он напомнил мне сверчка или кузнечика — сплошные ломаные линии и углы.

— Какая, в сущности, ирония. Святая Лючия считается покровительницей слепых, а баббо почти слеп, Джорджо теперь тоже вынужден но-

сить очки, а у меня… у меня тоже дефект зрения.

Я резко замолчала и отвернулась. Зачем я это сказала? Зачем нарочно привлекла внимание к своему косоглазию? Теперь у меня нет выбора, только продолжать. И с этой самой минуты, глядя на меня, он будет видеть только несимметричные зрачки.

— В самом деле?

Я почувствовала, как он впился в меня взглядом.

— Вы не замечали? Страбизм — так это называется в медицине. Баббо говорит, можно сделать операцию и все исправить. — Я подставила лицо свету, лившемуся в окно, и показала на свой левый глаз. — У меня он от матери. Но у нее это совсем в слабой форме, так что никто и не замечает.

Мистер Беккет поставил чашку, осторожно пристроил сигарету на край пепельницы и из-под нахмуренных бровей посмотрел на меня, склонив голову набок, как птица.

— Нет, я ничего не замечал, но теперь, когда вы привлекли к этому мое внимание…

— Каково ваше мнение, Сэм? Стоит ли мне сделать операцию? Баббо перенес их множество, и далеко не все принесли ему пользу. Кроме того,

это так дорого.

— Я думаю, что вы… — Он помолчал и снова взял чашку с чаем. Я услышала, как она звякнула о блюдце. — Очень красивая, — наконец закончил он.

Я была так поражена, что уронила на пол пирожное, которое держала в руке, и принялась искать его, забившись чуть не под диван, чтобы скрыть смущение и восторг. По всей видимости, мистер Беккет тоже не собирался говорить это вот так, напрямую, поскольку он тоже ужасно сконфузился, покраснел и пролил половину чая на блюдце.

Я почувствовала, как мои щеки становятся алыми, а сердце подкатывает к горлу. Хорошо, что пирожное куда-то закатилось — у меня появился повод опуститься на колени и спрятать лицо. Красивая! Мистер Беккет считает, что я красивая! У меня вдруг закружилась голова. Все мысли смешались, как будто кто-то засунул в нее ложку и хорошенько взболтал мозг. Сунув руку под диван, я отвела завесу паутины и обнаружила, что именно здесь мистер Беккет хранит свои работы. Вместо пропавшего пирожного я нащупала под выступающими пружинами пачки толстых конвертов. Слово «красивая» все еще звенело у меня

в ушах, но пыль отвлекала, забивалась в нос, мне хотелось чихнуть. Я услышала, как мистер Беккет кашляет и спрашивает, все ли со мной хорошо, а потом умоляет не беспокоиться об этом несчастном пирожном. Я встала, оправила платье и стряхнула с рук пыль.

— Я думаю, что оно все же где-то там, — сказала я и немного неловко рассмеялась. — Я не хотела трогать ваши… ваши бумаги.

— Да оставьте его мышам. — Он в который раз сунул мне коробку, но глаза его при этом были опущены. Я заметила, что краска постепенно сползает с его скул… какие у него густые брови, словно распростертые птичьи крылья, и нос с горбинкой, похожий на клюв совы. И стройное тело, нескладное, скованное смущением. Как же я желала, чтобы он просто обнял меня и привлек к себе! Я сглотнула слюну и снова отряхнула платье, будто хотела сбросить с себя и свое желание, и его стеснение, и нашу общую робость. Боже, ну почему я не могла вести себя как современная молодая парижанка! Быть привлекательной, раскованной, дерзкой, как мои знакомые танцовщицы, как Стелла! Я проклинала своих родителей и их ирландскую мораль, которой они сковали меня по рукам и ногам. А потом мне вдруг при-

шло в голову, что мистер Беккет страдает от тех же самых оков, и мое сердце пронзило острое сочувствие.

Я покачала головой, отказываясь от пирожных, которые он все еще протягивал мне.

— Вы вернетесь в Ирландию на Рождество, Сэм?

— Лишь на очень короткое время. — Он водрузил коробку на горку книг и добавил: — А потом я, возможно, отправлюсь к моим дяде и тете в Германию.

— Не уезжайте надолго, пожалуйста. В январе мама ложится в больницу. Доктора подозревают у нее рак. Мы все вне себя от беспокойства, и баббо будет особенно нужна ваша помощь. — Мое пальто и перчатки лежали на письменном столе мистера Беккета. Я взяла их и постаралась отодвинуть в сторону тревожные мысли о маме. — Сегодня вечером баббо ведет нас ужинать в честь Дня святой Лючии.

— О! — К мистеру Беккету вернулась уверенность, и он спокойно, как всегда, немигающим взглядом наблюдал, как я натягиваю перчатки.

— Солдаты выкололи ей глаза, но после того, как она приняла мученическую кончину, произошло чудо — у нее снова появились глаза.

Совершенно нетронутые. — Я подумала, не сказать ли ему, что святая Лючия была пророчицей, что она могла видеть будущее во сне и что я тоже иногда вижу будущее в своих снах. Нет, пока еще не время, решила я.

— Ах да, теперь я припоминаю. Она отказалась повиноваться своему мужу. — Мистер Беккет подошел к двери, открыл ее и придержал для меня.

По коридору плыл запах жареного лука, и слышно было, как журчит вода в соседней ванной комнате, которую он делил с соседом, и кто-то дергает за цепочку унитаза. Я понизила голос.

— И ее отдали в бордель, где лишили девственности. Все это довольно отвратительно. — Мистер Беккет на мгновение отвел глаза. Какой же он чувствительный, подумала я. Но конечно же — он ведь из Ирландии, где о таких вещах никогда не говорят. — А еще баббо назвал меня в честь Лючии ди Ламмермур из оперы Доницетти, — быстро проговорила я, меняя тему.

— Что же случилось с ней? — Мистер Беккет проводил меня по коридору до огромных деревянных дверей, выходивших на рю д'Ульм. В коридоре было холоднее, и сквозь запах лука пробивался влажный дух плесени.

— Она сошла с ума и покончила с собой. — Я

надела пальто, готовясь выйти на улицу. — Ее предал собственный брат. А затем ее возлюбленный также покончил с собой, чтобы они могли воссоединиться в раю. Очень печально, но музыка восхитительна. Это одна из моих самых любимых опер.

— В таком случае мне нужно ее послушать. — Мистер Беккет кивнул консьержу, который сидел, завернутый в одеяло, и читал газету. Затем он толкнул тяжелую дверь, и я ощутила на лице ледяное дыхание зимы.

— Вы непременно должны пойти с нами. Я узнаю, когда ее будут давать в Гранд-опера.

Я вытянула шею и расцеловала его в обе щеки. И вдохнула его запах, и ощутила тепло кожи… и позволила им задержаться на моих губах. И все это время у меня в голове звучал его голос: «Я думаю, что вы очень красивая». Снова, снова и снова.

По пути домой я не слышала ничего: ни грохота трамваев, ни резких гудков автомобилей, ни звуков оркестров, настраивающих инструменты перед выступлением в мюзик-холлах, ни криков газетчиков… ничего, кроме его слов, прекрасных слов… Мой тайный поклонник…

Неделю спустя случилось нечто изумительное.

Я была в студии месье Борлина, с ее странными окнами-иллюминаторами с видом на базилику Сакре-Кёр и неровными полами, которые скрипели под ногами. Урок уже кончился, но месье Борлин знал, что моя мать не любит, когда я танцую дома, и поэтому, если дальше у него уроков не было, разрешал мне оставаться в студии и заниматься сколько угодно.

Сегодня я работала над «Танцем радуги», пытаясь придумать, как мне синхронизировать некоторые более сложные последовательности из нескольких элементов. Накануне вечером я описала танец баббо, и он очень оживился и заставил меня продемонстрировать наиболее дерзкие отрывки. Он то и дело вскрикивал от восторга и хвалил их новизну и энергию, пока не появилась мама и не велела мне надеть нормальную одежду и вести себя как подобает леди. Но сейчас, когда я склонилась к станку, мне вспомнились слова баббо о парении и переплетении со светом. Бедненький февральский свет струился из иллюминатора и дрожащей полосой падал на паркетный пол. Я скользнула к нему, выбросила руки вверх и согнула тело в идеальную дугу.

— А, мисс Джойс. Рад, что застал вас. Я боялся, что вы могли уже уйти.

Месье Борлин стоял в дверях, поглаживая свой жилет на груди рукой в перчатке, и наблюдал за мной через монокль.

Я выпрямилась и вытянула руки по швам. Что-то в выражении его лица неприятно задело меня. Кроме того, наш учитель был не из тех, кто ведет пустые светские беседы.

— Садитесь. — Он достал из нагрудного кармана фестончатый веер и показал на позолоченное плетеное кресло рядом с фортепиано.

— Но это же ваше кресло, месье. — Я неуверенно двинулась вперед. Никто не смел сидеть в нем, кроме самого месье Борлина.

— Мне и так придется просидеть целый вечер в театре Елисейских Полей.

Я пристроилась на краешек кресла, пытаясь угадать, что же он хочет мне сообщить. Какая новость может быть настолько ужасной, что мне нужно сесть, чтобы выслушать ее? Я вдруг решила, что он хочет выгнать меня. Месье Борлин был печально известен тем, что безжалостно вышвыривал вон учениц, которым недоставало таланта или дисциплины. Я почувствовала, как окаменели мышцы.

— Я взял на себя смелость записать вас на Международный фестиваль танца, который будет

в апреле. Понимаю, что извещаю вас об этом несколько поздновато, но уверен, вы готовы к испытанию.

— Что? — непонимающе нахмурилась я. Меня? Может, я неправильно расслышала?

— Позвольте мне быть с вами откровенным. Вы — моя самая талантливая ученица. Современный танец — это алфавит, с помощью которого можно выразить невыразимое. И вы понимаете это лучше, чем кто-либо, мисс Джойс. — Он раскрыл веер и принялся обмахивать лицо, пока я раздумывала над тем, что сказал месье Борлин.

— Что мне нужно будет сделать?

— Подготовить два сольных танца, которые вы придумаете сами. К тому же вам необходимо придумать для них костюмы и постановку. Вы обладаете способностью побеждать, мисс Джойс. — Он захлопнул веер и стал рисовать им в воздухе причудливые фигуры. — Танцовщицы — это пионеры нового рассвета искусства. Я вижу это в вас. Вы двигаетесь так раскованно и выразительно и в то же время полностью контролируете свое тело. Как вам это удается?

— Я начинала с гимнастики, — неуклюже объяснила я. Жаль, что мне нечего больше сказать на эту тему, нет более красочной и достойной

истории.

— Да, это заметно. Если уж на то пошло, вы больше акробатка, нежели балерина. Но речь не об этом. Танец — это когда вы как будто рассказываете о чем-то с помощью тела, и вы инстинктивно это понимаете. Я чувствую в вас, мисс Джойс, сильнейшие эмоции, ничем не прикрытые, превращенные в нечто в высшей степени незаурядное. Возможно, даже исключительное. Это дар, мисс Джойс, настоящий дар. — Месье Борлин засунул веер обратно в карман и сощурил прикрытый моноклем глаз.

— Спасибо, месье. — Мне хотелось петь от радости и торжества, но голос не слушался меня. Я говорила медленно и запинаясь, словно была во власти каких-то странных чар. Мной овладело желание пересечь студию огромными прыжками, в танце вылететь на улицу и кружиться до самой Сакре-Кёр, чтобы весь Париж видел мои ликующие пируэты и па. Или закричать от счастья, чтобы мой победный вопль достиг луны и звезд: «Я талантлива! Месье Берлин сказал, что я талантлива!»

— Всего через три месяца вам предстоит соревноваться с самыми лучшими танцовщицами со всего мира. Состав жюри пока еще не утвержден

окончательно, но будьте уверены — в него войдут самые известные и выдающиеся танцоры. — Он немного пофыркал носом и развернулся, собираясь уходить. — Заприте дверь, когда закончите, мисс Джойс, и положите ключ в обычное место.

Как только он вышел, я проделала самый высокий гранд жете, какой только могла. Я повторяла прыжок снова и снова. Да, я знала, что мне нужно начинать работать над хореографией конкурсных танцев, но моя голова была слишком легкой, а сердце переполнено восторгом, и все, чего мне хотелось, — это танцевать, танцевать и танцевать. Я прошлась колесом по всей студии — три, четыре, пять раз. Туда и обратно. Туника вдруг показалась мне слишком тяжелой, слишком сковывающей. В ней было невыносимо жарко. Холщовые балетные туфли тоже жали ноги. Мне было тесно. Одним махом я сбросила и туфли, и тунику, оставшись в одних только особых трусиках, которые я надевала на занятия, и маечке. Прохладный воздух студии целовал мои голые руки и ноги. Печка уже погасла, но меня мучил жар, и в одно безумное мгновение я едва не сняла с себя вообще всю одежду, чтобы танцевать обнаженной.

Я сделала несколько обратных сальто. И когда

мои ноги в очередной раз оказались над головой, до меня донеслось легкое покашливание. Я неуклюже приземлилась, споткнулась и схватилась за станок. По шее медленно начала расплываться краска стыда, и я пожалела, что не осталась в тунике. Конечно же месье Борлин забыл свой веер. Или, может, потерял монокль. Однако это был вовсе не месье Борлин, а мистер Беккет.

— Я подожду снаружи, — хрипло произнес он, как будто его горло было забито мелкими камушками. — Ваш отец сказал, что вы должны быть здесь. А я как раз проходил мимо.

Я взглянула на свои огромные, неизящные трусы для танцев и внутренне скорчилась от стыда. Но мистер Беккет успел незаметно удалиться; я слышала, как скрипит паркет в коридоре.

— Пожалуйста, не волнуйтесь! — крикнула я, надевая тунику и хватая со станка платье. — Обычно я не танцую в белье, но мне было очень жарко, и к тому же я узнала восхитительную новость.

— Вот как? — Мистер Беккет прочистил горло.

— Мой учитель танцев записал меня в число участников самого крупного конкурса современного танца в Европе. Я очень нервничаю, известие меня взбудоражило, я счастлива до

небес и в то же время ужасно боюсь.

— Мои поздравления, — проговорил он через дверь.

— Он считает, что у меня настоящий талант. — Повторяя слова месье Борлина, я услышала, как дрожит мой голос. Неужели он и в самом деле это сказал?

— Мистер Джойс говорил мне то же самое. И я… мне захотелось посмотреть самому.

— Я полностью одета. Можете войти. — Я оправила подол платья и убрала волосы с лица. — Хотите увидеть отрывок из моего «Танца радуги»? Он еще не готов, но когда я работаю над ним, то думаю о баббо.

— Если позволите. — Мистер Беккет осторожно вышел из-за двери.

Я кивнула и прикинула, не снять ли мне платье, чтобы танцевать в тунике, как полагается, но потом в моих ушах словно загремел голос мамы, и я решила оставить все как есть.

— Вообразите, что играет музыка и что я одна из семи танцовщиц. И представьте, что на мне некий радужный костюм.

Я встала в первую позицию, отвела назад правую ногу и сделала несколько первых па. Я скользила по студии, откидываясь назад, накло-

няясь вперед, кружась на одной ноге. Я парила в воздухе, словно птица, подчиняясь неведомому ветру. Эфемерная дуга цвета, дрожащая, растворяющаяся. Вспышка света, заключенного в темницу. Разгоняемая бурей радуга, мои полосы цвета трепетали и таяли. Я сжималась в комок и крутилась. Иглы дождя, острые, пронзающие небо. Я раздвинула пальцы, выпуская нежные лучи теплого солнечного света. Я — это спутанный моток сияющих цветов. Золотокожая волшебница, ткущая полотно ветра. Располосованная солнцем властительница мироздания.

— Пока я дошла только до этой стадии. — Я замолчала, ожидая вердикта мистера Беккета, и внезапно почувствовала тревогу и неуверенность в себе. Что на меня нашло? Не иначе, как похвала месье Борлина ударила мне в голову!

— Невероятно, — пораженно выдохнул он. — Я и понятия не имел… Мистер Джойс говорил, что вы прекрасно танцуете, но это… — Он покачал головой, словно вдруг растерял все слова.

Я тоже умолкла, не зная, что сказать. Но неожиданно мои губы раскрылись будто бы сами по себе, и я произнесла нечто столь дерзкое, откровенно кокетливое и мне несвойственное, словно молодая нахальная парижанка овладела моими

голосовыми связками.

— Я бы хотела научить вас танцевать, Сэм.

Наступила многозначительная пауза. Я уставилась в пол, ожидая, что сейчас мистер Беккет покраснеет и вежливо откажется. Но он этого не сделал. К моему крайнему изумлению, он произнес:

— Я бы тоже этого хотел. Очень. — Он пристально посмотрел на меня своим странным взглядом — мне всегда казалось, что его глаза видят то, что происходит внутри меня: мое трепещущее сердце, застывший в легких воздух, горячую кровь, мчащуюся по венам.

Я попыталась изменить интонацию, чтобы он не понял, в какой восторг привел меня его ответ.

— Мы начнем с чарльстона. Все в Париже танцуют чарльстон.

— Очень хорошо. Значит, чарльстон. — Он улыбнулся как-то чудно, половинкой рта, и сделал жест в сторону окна. Стрелы дождя разбивались о стекло. — Я должен идти сейчас. Я направлялся на Монмартр.

— Я не смогу учить вас, пока не пройдет конкурс. Сможете ли вы подождать?

— Думаю, да.

Он произнес это немного испуганно, но отчего,

я разобрать не сумела.

Выйдя из студии, мы пошли в разные стороны. В конце улицы я обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на него. Он всходил по ступенькам к Сакре-Кёр, и ветер развевал его волосы, так что они стояли над головой, как небольшой неровный нимб. Мои мысли немедленно вернулись к танцам, словам месье Борлина, фестивалю и чарльстону с мистером Беккетом. Как же у меня все это получится?

Глава 7

Январь 1929 года

Париж

Когда после Рождества мистер Беккет вернулся из Ирландии, мы с Джорджо уже съехали с квартиры на Робьяк-сквер и жили у миссис Хелен Флейшман. Ее муж находился в отъезде, мама была в больнице, и миссис Флейшман предложила присмотреть за нами, добавив, что она «будет нам как мать». Баббо принял это с такой готовностью, что я не на шутку удивилась, и все, что я приготовилась сказать о том, что Джорджо уже двадцать три года, а мне двадцать один, застряло у меня в горле. Я надеялась, что Джорджо начнет возражать и в конце концов убедит баббо, что мы достаточно взрослые, чтобы самостоятельно прожить несколько недель на Робьяк-сквер, но он изумил меня не меньше. Вместо громких протестов лишь пробормотал что-то о щедрости миссис Флейшман.

— Почему ты не настоял на том, чтобы мы остались на Робьяк-сквер? — спросила я его

позже. — Я думала, тебе надоело, что баббо обращается с нами как с детьми. И ты знаешь, что я терпеть не могу миссис Флейшман.

— С какой стати мне оставаться там без мамы? У миссис Флейшман полный дом прислуги. — Джорджо ударил кончиком трости по дверному косяку и вышел вон.

И вот наша квартира на Робьяк-сквер была закрыта, а мы с Джорджо уложили вещи в чемоданы и отправились в апартаменты миссис Флейшман на рю Юисман. Просторные и роскошные, они были совсем не похожи на нашу уютную квартирку. Канареечно-желтые портьеры обрамляли высокие окна. Паркетные полы устилали восточные ковры приглушенных изумрудных и охряных тонов. Стены с одной стороны были увешаны картинами в золоченых рамах, а с другой — полками с книгами в дорогих кожаных переплетах. Тусклый зимний свет лежал ровными полосами на натертой до блеска антикварной мебели, на коллекции фарфора очень тонкой работы и бронзовых статуэтках, расставленных так, чтобы наиболее выгодно подчеркнуть их красоту. В каждой комнате пахло воском для обуви и одеколоном миссис Флейшман. Горничные бесшумно скользили по дому, незаметно

убирая из букета увядший цветок, закрывая окна и открывая окна, подбрасывая полено в камин. Даже горничные здесь были само совершенство: чистые привлекательные лица, волосы, стянутые в тугой пучок, накрахмаленная черно-белая форма, блестящие черные тапочки на маленьких ножках.

Баббо наотрез отказался оставить маму одну в больнице. Он перебрался туда вместе со своими книгами и бумагами. Мистер Беккет большую часть времени метался между больницей, Робьяк-сквер и библиотекой мисс Бич, отыскивая куда-то задевавшиеся книги или рукописи или относя обратно к мисс Бич энциклопедии и словари, в которых баббо уже не нуждался. Я умирала от желания увидеть его, но миссис Флейшман «занимала» нас каждый вечер — мы шли в театр или на званый ужин или посещали очередное светское мероприятие. Это казалось мне ужасно скучным, но Джорджо был в восторге.

Дни же были заняты танцами. Я посвящала им все возможное время, готовясь к фестивалю. Месье Борлин заставлял меня исполнять перед ним мои сольные номера каждый день, и я была твердо намерена попасть в финал. Баббо уже пригласил мистера Беккета пойти с ним. И осо-

знание того, что я буду танцевать перед мистером Беккетом, придавало моим занятиям новый импульс. Делая растяжку или выполняя сложное па, я представляла себе восхищенный взгляд мистера Беккета и его длинные худые руки, и как он аплодирует мне с такой силой, что потом будет не в состоянии писать несколько дней. Баббо предупредил меня, что мама, возможно, не сможет присутствовать на моем выступлении из-за состояния здоровья после операции, и, хотя поначалу это меня огорчило, я не могла не припомнить все представления, на которых она бывала, ее прищуренные глаза, разглядывающие не сцену, но зал — кто еще из знаменитостей здесь наличествует, ее руки, всегда сложенные на коленях. Нет, это выступление станет совсем другим! Там будет мистер Беккет!

Во время занятий одним воскресным утром я вдруг почувствовала неясное беспокойство. Словно тень надвинулась на мою радость, на мое новое настроение. Я стояла, держась рукой за спинку стула, и работала над плие[9], приседая как можно глубже, чтобы ощутить, как напряга-

[9] Примечания: 9

Плие — сгибание одной либо обеих ног, приседание на двух либо одной ноге. Является одним из основных элементов хореографии.

ется каждый мускул бедер, натягивается каждое сухожилие. Я сняла ладонь со стула и подняла руки над головой, считая вдохи, и замерла в этом положении — голова откинута, руки в третьей позиции. Я не слышала ничего, кроме собственного дыхания, ровного и размеренного. Все под контролем. Все тело спокойно, но настроено на танец, подчинено мне. Стоя в этой позе, я вообразила, что на меня смотрят месье Борлин и мистер Беккет.

В это мгновение я и услышала смех, сдавленный, приглушенный. Он доносился из соседней комнаты. Спальни Джорджо. Я задержала дыхание и прислушалась. Смех прекратился. Я выдохнула и в недоумении сморщила нос. Мне что, уже кажутся звуки? Может быть, Джорджо ушел и горничные, прибирая комнату и заправляя постель, засмеялись над какой-нибудь шуткой. Я взглянула на часы. Половина восьмого. Не похоже на Джорджо — он никогда не встает так рано. Совсем-совсем не похоже. Тем более что он, миссис Флейшман и пара ее друзей вчера провели почти всю ночь, шатаясь по джазовым клубам на Монмартре.

Я снова взялась за спинку стула, вытянула ногу и подняла ее перед собой как можно выше, согнув

в колене. Затем я отпустила стул, освобождая руки, и произвела вращение назад — мой собственный вариант жиро ан аттитюд. И снова начала считать вдохи и выдохи. Теперь их темп убыстрился, и я чувствовала слабое трепетание всех мышц. А потом снова послышался смех. На сей раз достаточно отчетливый. Смех Джорджо и кокетливое хихиканье. Кто-то второй был в комнате Джорджо. Служанка? Женщина, которую он подобрал на Монмартре? Но конечно, он не привел бы шлюху в квартиру миссис Флейшман?

Я на цыпочках прокралась по коридору к спальне Джорджо и постучала. Он тут же открыл, вернее, чуть приоткрыл дверь, прячась за ней, и я не могла увидеть, что происходит внутри. Он что… он… голый? Джорджо вопросительно приподнял бровь.

— Джорджо? У тебя все хорошо?

— Я несколько занят. Я одеваюсь. — Он попытался закрыть дверь, но меня внезапно охватил порыв неожиданной и непонятно чем вызванной ненависти, словно сотни фейерверков ярости взорвались у меня в голове. Я знала, что он *лжет*, и в эту секунду он был мне отвратителен.

— Я тебе не верю! — выкрикнула я и вставила ступню в щель между дверью и косяком, чтобы

он не смог захлопнуть ее.

— Ох, Лючия, веди себя как взрослая, бога ради! Я выйду через минуту. — Он надавил дверью на мою ногу, обутую лишь в тонкую балетную туфлю.

— Что ты там делаешь? — Краем глаза я заметила черно-белое пятно за спиной, горничную с низко опущенной головой, спешившую по коридору. Но даже это не отрезвило мой гнев. Эмоции захлестнули меня с головой.

— Я одеваюсь! — крикнул Джорджо в ответ, и его лицо тоже потемнело от ярости. — А теперь убирайся вон!

Я отодвинула ногу, и он захлопнул дверь прямо у меня перед лицом. Как зачарованная, я продолжала стоять на том же месте, не в силах пошевелиться, не в силах отвести глаз от дверной ручки. А затем дверь снова отворилась, и передо мной предстала миссис Хелен Флейшман, в фиолетовом кашемировом халате и со змеиной улыбкой на лице. Она жестом пригласила меня зайти.

— Садись, Лючия. — Она показала на стул.

Не в силах вымолвить ни слова от злости, я одеревенело двинулась к стулу, замечая разбросанную по полу одежду, раскрытую постель,

солоноватый запах, стоявший в воздухе. Джорджо тоже надел халат и сидел на кровати, буравя меня злобным взглядом.

— Мне жаль, что мы не сказали тебе сразу. — Миссис Флейшман деликатно кашлянула и принялась играть поясом халата. — Но твоя мать сейчас в больнице, и…

Во мне вспыхнула новая искра ярости. Белая пелена стояла перед глазами, ослепляла. В легких хрипело — каждый вдох давался мне с трудом. Сколько все это продолжается? Обман и предательство — за моей спиной, за спиной баббо, за спиной мамы! Миссис Роскошные Портки Флейшман, которая притворялась, что «присматривает» за нами, а сама в это время соблазняла Джорджо!

— Вы замужем! По возрасту вы годитесь нам в матери! — Я ткнула в ее сторону пальцем с нескрываемым презрением. — У вас есть муж! У вас есть ребенок! У вас есть деньги! У вас есть все! Зачем вам понадобилось забирать еще и Джорджо?

— С моим браком все кончено, Лючия. Теперь это всего лишь формальность — я хочу сказать, скоро последует развод. И я не гожусь вам в матери. Пока еще. — Она немного смущенно рассмеялась.

— Маме и баббо это не понравится. Они не одобрят такое поведение, и ты это знаешь, Джорджо. — Я секунду помолчала и повернулась к Джорджо, который успел зажечь сигарету и теперь курил быстрыми глубокими затяжками. А потом снова впилась глазами в миссис Флейшман. — Вы не нужны баббо. Кругом сотни женщин, которые только и мечтают о том, чтобы перепечатывать его рукописи и читать ему. Вы ему не нужны.

— Может быть, ты и права, Лючия, но мы с Джорджо не сделали ничего плохого. Не так ли, Джорджо? — Хелен посмотрела на Джорджо.

Он выпустил тонкую струйку дыма и хмыкнул.

— Вы замужем и у вас есть ребенок! И вы слишком старая! Вы стараетесь отнять Джорджо, потому что вам не удалось заполучить баббо. Только потому, что у вас много денег, вы считаете, что можете делать все, что вам заблагорассудится!

— Лючия! — Джорджо пронзил меня взглядом. — Черт тебя возьми, не будь так груба! Что на тебя нашло?

Я не обратила на него внимания.

— Я знаю, почему вы начали работать с моим отцом. Я видела, как вы хлопаете ресницами и стараетесь коснуться его руки, когда берете у

него бумаги. Я все видела! И мне известно, что вы намеревались сделать. Пробраться в нашу семью, как червяк в яблоко. Вы хотели отхватить себе кусочек «великого Джойса». Но меня вы не одурачили! — Мой голос поднимался все выше, все пронзительней, я почти кричала. Словно вместо меня говорил кто-то другой, кто-то, кого переполняла горечь и дикая злоба. — А теперь вы подкупаете Джорджо своими грязными американскими деньгами! Только потому, что не смогли так же купить отца!

— На самом деле все было как раз совсем наоборот, — резко бросила миссис Флейшман. — Но я не думаю, что нам стоит это обсуждать. Джорджо и я, мы оба просто хотим, чтобы все успокоилось, призвать на помощь твой здравый смысл, так чтобы мы могли мирно сосуществовать вместе, до тех пор, пока ваши отец и мать не вернутся из больницы. Так почему бы не отнестись ко всему этому по-взрослому? — Она стояла возле Джорджо, как будто прикрывая его, как будто была его властительницей. А он, сгорбившись, сидел на краю кровати и судорожно курил сигарету с золотым фильтром.

— Можешь начать с извинений перед Хелен. — Джорджо говорил теперь гораздо спокойнее, но

на его лице застыла холодная маска гнева.

— Мне жаль, что ты почувствовала себя преданной. — Пальцы миссис Флейшман с холеными ногтями рассеянно прошлись по шнуру, что опоясывал ее халат, и потеребили жемчужное ожерелье на шее. — Как только ваши родители вернутся из больницы, ты снова переедешь домой, на Робьяк-сквер. Но сначала нужно подождать, пока вашей матери сделают операцию. До тех пор нам все же придется как-то жить вместе.

Я разъяренно взглянула на Джорджо.

— И кто же собирается рассказать им о вас двоих?

— Я расскажу. Когда буду готов. К тебе это не имеет ровно никакого отношения.

Я, спотыкаясь, дошла до двери и что было силы захлопнула ее за собой. Оказавшись в своей комнате, я упала на кровать и горько зарыдала в подушку. Потому что я знала, что Джорджо ушел. Ушло то, что так крепко связывало нас вместе. Этой неразрывной нити больше нет. И виновата во всем, конечно, миссис Флейшман. Это она заставила Джорджо лгать мне, обманывать маму и баббо. Здесь не пахло пчелиным воском и духами, как у Джорджо. Но зато воздух в моей спальне вдруг показался мне слишком разреженным… бе-

лым и черным, как деготь, одновременно. Когда поток слез утих, меня словно ударило в грудь: что, если я не права? Может, вовсе не миссис Флейшман совратила Джорджо, а все было наоборот? Он ее соблазнил? Я задрожала от волнения. Неужели я неправильно все поняла? Возможно ли, что это он хладнокровно использовал ее, чтобы получить то, что желает? Невольно мне вспомнилось все, что Джорджо говорил в прошлом месяце, когда я отказала Эмилю. Он обвинил меня в том, что я сошла с ума, что я эгоистка. Так ли это? Виновата ли я? Нет! Я так яростно замотала головой, что у меня чуть не выскочили глаза. Во всем виновата миссис Флейшман, твердо сказала я себе. Все, о чем я подумала, просто немыслимо. Немыслимо!

Октябрь 1934 года

Кюснахт, Цюрих

— Меня не интересует ваш брат. — Доктор Юнг машет рукой, словно отгоняя муху. — Вся проблема заключается в вашем отце.

— Баббо вовсе никакая не проблема. Он — единственный, кто понимает меня, единственный, кто оставался со мной в течение этого… этого crise

de nerfs[10]. — Я стараюсь отодвинуть свое кресло подальше, но оно слишком тяжелое. Доктор Юнг сидит в кресле рядом, так близко, что я чувствую его кислое дыхание.

— А почему, мисс Джойс? Почему? — Он наклоняется еще ближе, я делаю еще одну попытку отодвинуться и, когда мне это не удается, вжимаюсь в кресло как можно глубже, пытаюсь слиться с обивкой, исчезнуть в ней.

— Потому что только он один теперь меня любит.

Доктор Юнг сердито поднимается с кресла и начинает расхаживать по кабинету, вздыхая и хмурясь.

— Нам нужен перенос. Вашему отцу необходимо покинуть Цюрих, покинуть вас. До тех пор, пока вы не сможете перенести, передать свои чувства к отцу мне, я не в состоянии вам помочь. И то, что он сидит в Цюрихе и издалека наблюдает за вами, делу совсем не помогает.

– *Он уехал*, — говорю я, поглаживая мех пальто. Хоть бы доктор перестал кричать на меня и выклевывать, выдергивать из меня мои секреты!

— Нет, не уехал! — Доктор Юнг подходит к сто-

---

[10] Примечания: 10
Нервный припадок *(фр.).*

лу, берет мою рукопись и издевательски трясет ею. — *Это* бесполезно, если ваш отец не перестанет вмешиваться в лечение.

Я вздрагиваю. Я провела много часов, много дней, описывая историю своей жизни, а теперь великий доктор Юнг говорит, что все это бесполезно?

— Значит, мадам Бейнс снова шпионила за мной, не так ли?

— Она не шпионка. — Доктор Юнг тяжело вздыхает и опускает свои толстые ляжки в крутящееся кресло. — Она помогает вам. И мне. Все видели вашего отца в Цюрихе. Он слишком хорошо известен, мисс Джойс. — Он старательно записывает что-то в свою тетрадь, закрывает ее и опять встает.

Я смотрю в окно, на серебристо-серое зимнее небо и холмы. Как же все так вышло? Как получилось, что Джорджо в Нью-Йорке и собирается вскоре выступать на радио? Что у него есть личный шофер, жена и сын? Как вышло, что я, гораздо более талантливая, чем он, всегда работавшая на износ, сижу здесь, вынося оскорбления толстого швейцарца с часами-луковицей… шпионство… без друзей и без надежды… запертая в клетке. Как это случилось, боже?

Доктор Юнг следит за направлением моего взгляда.

— Вам нравятся холмы, мисс Джойс? Что они вам напоминают? Отца?

Я хмурюсь.

— Отца? Это единственное, о чем вы способны думать?

— Я должен настоять на том, чтобы он оставил Цюрих. Теперь у меня просто нет выбора. — Он медленно поворачивается в кресле, не сводя с меня глаз.

Я пожимаю плечами.

— Можете делать все, что вам заблагорассудится. Мне уже все равно.

— Мисс Джойс. — Доктор медлит, угрожающе барабаня пальцами по толстой обложке тетради. — Я думаю, что все это — способ привлечь внимание отца. Притворяясь, что вам нужна психиатрическая помощь, вы таким образом и получаете это внимание.

Я молчу и раздумываю над его словами. Он хочет сказать, что я лишь притворяюсь, что чувствую все это? Что пустота в голове, страх и безнадежность, которые так часто охватывают меня теперь, — это лицедейство? Только чтобы обратить на себя внимание баббо?

— То самое внимание, которое он вам уделял, когда вы спали в одной спальне, возможно? — мягко спрашивает он.

Не в силах произнести ни звука, я смотрю на него, и мои пальцы леденеют на меху.

— Я вижу, что ошарашил вас, мисс Джойс. Что ж, если вы хотите поговорить о своем брате, полагаю, вреда от этого не будет. Почему вас так огорчил его роман с миссис Флейшман? — Доктор Юнг тычет в рукопись толстым пальцем.

Я с силой закрываю глаза, чтобы отогнать его глупые теории, несколько раз моргаю, затем снова опускаю веки и представляю себе Джордже Его образ медленно, вкрадчиво вплывает в мою память, как человек, возвращающийся из долгого путешествия по океану. Тощее долговязое тело — соломинка, да и только, длинные ноги, зачесанные назад волосы и очки, от которых глаза становятся похожи на совиные. Живой портрет отца, как все говорили. Я глажу мех пальто, сильно прижимая к нему ладонь.

— Потому что нечто между нами изменилось. Мы были неразделимы, лучшие друзья. Двадцать лет мы делали все вместе, присматривали друг за другом в новых школах, заботились друг о друге, играли вдвоем, когда оставались без друзей. Даже

баббо говорил, что любовь, что нас связывает, — это необычная любовь. — Я делаю паузу и смотрю на доктора Юнга.

— Продолжайте, мисс Джойс.

— Я думала, что подвела его, когда отказалась выйти замуж за Эмиля. Думала, что он пытается спасти нашу семью, вытянуть нас всех из финансовой ямы, став любовником миссис Флейшман и получив таким образом доступ к ее деньгам и связям.

— Предполагалось, что вы сделаете то же самое, выйдя замуж за Эмиля Фернандеса?

— Да. — Я грустно киваю. Добрый милый Эмиль… всегда бодрый, всегда с улыбкой на устах. Почему я не стала его женой? Почему я поняла все так неправильно?

Доктор Юнг встает и снова начинает шагать по кабинету, размахивая при этом своими огромными руками.

— Мне никогда не удается сделать зарядку или хотя бы размяться, так что я рад, когда могу немного подвигаться. Прошу прощения, если вас это отвлекает, мисс Джойс. Но вернемся к Джорджо. Ревновал ли он вас к мистеру Беккету? Могла ли миссис Флейшман быть его своеобразной местью вам?

Я опять быстро закрываю глаза, призывая воспоминания, которые еще на прошлой неделе были так свежи, так остры… прозрачны, как стекло.

— В то время ему еще ничего не было известно. Только Киттен знала все обо мне и мистере Беккете.

Доктор Юнг огибает меня. Сейчас его руки засунуты глубоко в карманы.

— Все дело было в деньгах, — продолжаю я. — Я заметила — ив Париже, и в Цюрихе, и в Триесте, — что богатые люди совсем другие. Они иначе движутся, держатся прямее, более грациозны. Миссис Флейшман так по-особенному держала голову… ни я, ни мама так не умели. И Джорджо это тоже видел.

— Ваши проблемы не имеют никакого отношения к деньгам! — невежливо обрывает меня доктор. — Прекратите нести чушь и винить в своих бедах совершенно посторонние вещи! Недостаток средств ведь не остановил вашего отца? Он никогда бы себе этого не позволил.

Я морщусь. Уже не в первый раз доктор Юнг становится агрессивным и грубит мне.

— Богатые даже разговаривают по-другому. Громче, увереннее. И у них более звучные голоса.

И более певучие интонации. Вы не обращали на это внимания, доктор?

Но он не смотрит на меня. Он смотрит на пол, на мои ступни и щиколотки.

— На вас надета еще какая-нибудь одежда под пальто, мисс Джойс?

— Разумеется! — Я встаю, выпрямляюсь во весь рост и гордо поднимаю подбородок. Кем он себя возомнил? Я не собираюсь признаваться ему, что под мехом у меня ничего нет. Я абсолютно голая, не считая французских трусиков. Я чувствую, как меховой подол пальто трется о мои обнаженные ноги. Как это приятно! Как… свободно! Неужели это единственная свобода, которая мне осталась? Передо мной возникает расплывчатое лицо мамы. Как бы она разозлилась — и как бы ей было стыдно, — если бы она увидела меня сейчас! Неподобающе одета. Потаскушка!

— Прошу извинить меня, мисс Джойс. — Доктор направляется к двери, открывает ее. — Я вернусь через минуту.

В то же мгновение, как он уходит, я устремляюсь к его письменному столу. Там лежит его переплетенная в кожу толстая тетрадь для записей, она шепчет мне что-то, зовет меня, умоляет открыть. Он может возвратиться в любую се-

кунду. И если он меня застукает, бог знает, что он тогда со мной сделает. Отправит обратно в сумасшедший дом? Велит надеть смирительную рубашку? Привяжет меня к мадам Бейнс?

Я все же открываю тетрадь, поначалу смело; мои глаза перебегают от страниц к двери. Я готова в любую минуту отскочить от стола и прыгнуть в свое кресло. Я быстро переворачиваю листки, пока не дохожу до последней страницы. На ней всего одно слово. Единственное слово, написанное его отрывистым почерком, с таким нажимом, что кончик ручки едва не прорвал бумагу. Большие корявые буквы, прямо в самом центре. Но что оно означает?

Я слышу его шаги в коридоре, почти неразличимые, — он ступает по вытертым временем каменным плитам. Он у двери. Я вижу, как поворачивается ручка, быстро захлопываю тетрадь и несусь к своему креслу.

Я разобрала это слово, хотя времени у меня было меньше секунды, но в нем нет никакого смысла. Мне нужно больше времени. Необходимо увидеть его снова. Но доктор уже идет к столу, и его глаза горят. Он берет тетрадь, запирает ее в ящик своего письменного стола красного дерева и кладет ключ в карман.

Слово, что я прочитала… вроде бы это было латинское insecta или что-то очень похожее. Он думает, что я — насекомое? Что я бесхребетная? Что у меня не хватило смелости, чтобы съехать от родителей? Так или не так? Я сижу на краешке кресла, пораженная, ничего не понимающая. Насекомое? Теперь я не больше чем насекомое?

Глава 8

Февраль 1929 года

Париж

— Они ссорятся из-за денег, — прошептала я, почти вплотную придвинувшись к мистеру Беккету в полутемном коридоре. Из открытой двери кабинета доносились сердитые голоса Джорджо и баббо, и нам было прекрасно все слышно.

— Мне следует уйти? — Мистер Беккет сделал шаг назад, к парадной двери.

— Баббо считает, что, поскольку он гений, за все должны платить другие люди. Но денег всегда не хватает. Ему вечно их недостает. Я предложила не ужинать в ресторане каждый вечер, но мама и слышать об этом не желает, хотя я готова сама ходить за покупками и варить еду. И я уверена, что мы могли бы тратить меньше на одежду. Леди, которая за все это платит, живет как пуританка. — Я тайком взглянула на свои новые туфельки с рядами перламутровых пуговок и изогнутыми каблуками.

— У всех великих художников есть покровите-

ли, — едва слышно возразил мистер Беккет.

Голос Джорджо повысился почти до крика:

— Тогда почему ты отдал четыре коллекционных экземпляра «Улисса» докторам матери? Четыре! В кожаных переплетах! Как они могут стать коллекционными, если ты раздаешь их направо и налево?

— Эти доктора очень хорошо присматривали за твоей матерью, — сухо бросил баббо.

— И им не менее хорошо за это платили. Американская больница стоит в два раза дороже, чем местная.

Баббо устало вздохнул. Мистер Беккет снова быстро взглянул в сторону парадной двери, но я спокойно положила руку на его локоть.

— Они уже почти закончили. Дайте им еще минуту, и я отведу вас в кабинет.

— Или оставил бы их здесь, чтобы они принадлежали семье, — ты мог бы поступить и так, — резко проговорил Джордже.

— А, твое наследство… Так вот в чем все дело, Джордже?

— Разумеется, нет, — огрызнулся Джордже — Я просто думаю о тебе и маме. Тебе следует быть менее щедрым и просить за свои книги больше. Ты знаешь, сколько сейчас берет Пикассо за свои

маленькие картинки? Ты не хуже его, но тебе платят сущие гроши. И посмотри, как ты работаешь — с утра до ночи, не покладая рук. И за что?

— Так скажи мне, Джорджо, почем же месье Пикассо продает свои картины? — В голосе баббо послышалось неприкрытое любопытство.

— На прошлой неделе он продал небольшой портрет своей нынешней любовницы Гертруде Стайн за пятьсот долларов.

Из-под ресниц я посмотрела на мистера Беккета. Положение было крайне неловким; воздух так сгустился, что, казалось, его можно резать ножом. Я подумала, не стоит ли в самом деле позволить ему уйти. Но что-то удерживало меня. Словно бы я хотела, чтобы он увидел нас, знаменитую семью Джойс, такими, какие мы есть. Без прикрас. И жадного Джорджо, который сражался за то единственное, что теперь его волновало.

Джорджо продолжил, и его голос дрожал от негодования.

— И с тех пор он хвастается, что написал этот портрет всего за четыре часа. Четыре часа! Ты работаешь в десять раз больше за крошечную часть таких денег. Ты такой же великий мастер, как Пикассо, — нет, более великий! Все твердят, что ты гений. Так почему ты не получаешь до-

стойных твоего таланта денег? Твои слова навеки останутся в умах миллионов. Они изменят чьи-то жизни. А картины Пикассо будут висеть на стенах, и ими будут любоваться всякие… всякие Гертруды Стайн! — Он выплюнул это имя, как муху, залетевшую в рот.

— У меня нет ни малейшего желания говорить о мисс Стайн, но хорошо. Положим, я принимаю твой довод насчет стоимости моей работы. И как же назначить достойную цену?

— Я полагаю, нам следует начать с тех глав книги, над которой ты работаешь, которые публикует «Блэк сан пресс». Сколько они тебе предложили?

— Тысячу долларов. Совсем немного, по мнению Пикассо, воображаю.

— Это восемь часов работы Пикассо. Восемь часов! А как долго ты бился над этими словами, отец? — Джорджо опять повысил голос. Он звенел от еле сдерживаемого гнева.

— Это труд моей жизни, Джорджо. Вся она — там. Больше у меня ничего нет.

— Согласен. Ты должен настоять на том, чтобы они удвоили или даже утроили плату. И никогда не принимай первое же сделанное тебе предложение! Никогда!

— Но они были ко мне так добры. Я говорил,

что специально для меня они велели изготовить гигантскую лампочку, чтобы я мог видеть текст? И еще усилили мощность, чтобы я не напрягал глаза во время редактуры. Когда твои книги отвергались огромным множеством издательств, поневоле начинаешь ценить такие небольшие проявления внимания.

— Все это осталось в прошлом, отец. Когда твой талант еще не был признан всеми. Сейчас ты должен брать пример с Пикассо. Он явно не колеблется требовать то, что по праву его. И ты должен требовать то, что по праву является твоим. Дай мне ручку, и я напишу в «Блэк сан пресс» и попрошу у них две тысячи долларов. А когда они попытаются торговаться, — а они попытаются, можешь не сомневаться, — мы не поддадимся и не уступим ни цента. Ты понимаешь, отец?

— Думаю, мне все же следует уйти.

Мистер Беккет уже пятился по коридору.

— О нет, Сэм, баббо сейчас будет готов. Давайте я провожу вас. — Я схватила его за руку, тонкую костлявую руку, и повела к кабинету, выкрикивая на ходу: — Баббо! Пришел мистер Беккет!

— Входите, мистер Беккет. — Из-за двери высунулась голова баббо. Его глазные пластыри были приклеены к лицу под очками. — Джорджо

сейчас пишет для меня письмо. Выходите же из этого коридора тьмы на свет. Лючия, будь так добра, задерни портьеры.

В тишине я слышала, как скрипит перо Джорджо и как мистер Беккет деликатно откашливается.

— Тьма, — задумчиво пробормотал баббо. — Тьма. Тюрьма. Томя. Тремя.

Мистер Беккет снова откашлялся, уже чуть громче.

— Лючия, ты закончила томить мистера Беккета во тьме, как в тюрьме?

— О, простите. — Я быстро отпустила руку мистера Беккета и почувствовала себя ужасно неуклюжей. Быстро задернув портьеры, я оставила посередине маленькую щелочку, чтобы луч света падал на книгу, которую мистер Беккет будет читать баббо сегодня вечером.

— Я полагаю… — Баббо сделал паузу и поправил пластырь. — Пора оставить «мистер» и звать нашего друга просто Беккет. Ты согласна, Лючия?

Я повернулась к ним, и меня подхватил головокружительный поток радости.

— О да, баббо. Мистер Беккет уже почти член нашей семьи.

— Итак, с этого дня в этом доме вас будут звать

Беккет. — Баббо встал из-за стола и протянул мистеру Беккету руку.

— Это большая честь для меня, сэр. — Мистер Беккет улыбнулся, его глаза сияли. Он протянул руку в ответ, и последовало крепкое рукопожатие.

Я проделала маленький пируэт, стараясь не задеть башни книг, книги и карты, разбросанные по полу.

Баббо снова сел, кивая головой и поигрывая галстуком-бабочкой, который сидел на его шее, словно настоящая бабочка, приколотая к бумаге.

— Закрой за собой дверь, Лючия… От склона берега ко сгибу бухты. Что скажете, Беккет? Как вам это?

Я затворила дверь и улыбнулась. Баббо всегда обращался к людям только «мистер» или «миссис», и никак иначе. Исключая членов семьи, конечно. Даже своих самых преданных почитателей, или «льстецов», он называл «мистер Такой-то» или «мисс Такая-то». А теперь мистер Беккет будет просто Беккетом. Может, это еще одно предзнаменование? Очередной знак судьбы, что мы суждены друг другу? Взгляд в будущее, где я буду зваться миссис Беккет?

Глава 9

Апрель 1929 года

Париж

Весь март и апрель я только и делала, что танцевала и шила. Я была вся в мозолях. Ноги болели оттого, что я целыми днями занималась, а руки покраснели и были изранены, потому что ночами я работала над костюмом. Оставалось всего две недели до Международного фестиваля танца, который должен был проходить в Баль-Бюлье на Монпарнасе, и я уже трепетала от предвкушения.

Я очень долго продумывала свое выступление. Баббо хотел, чтобы я исполнила танец реки Лиффи. Мне было известно, что Лиффи занимает важное место в книге, над которой он работал, но по какой-то причине я не хотела, чтобы она стала главной темой танца. В конце концов я остановилась на танце русалки, успокоив баббо тем, что эта русалка выплыла из глубин его любимого Дублинского залива.

Я скроила костюм из муара, который нужно

было расшить голубыми, зелеными и серебряными блестками. Он превращал меня, Лючию, дочь Джеймса Джойса, в Лючию — танцующую рыбу и извивающуюся русалку. У меня будет чешуя, плавники и жабры, и еще длинные пряди волос, похожие на водоросли, доходящие мне до самой талии. Плавники я сделала из голубиных перьев, что собрала в Люксембургском саду, и покрасила их в блестящий цвет морской волны. На голову я решила надеть маленькую обтягивающую шапочку из чешуи, к которой можно будет пришить волосы русалки и заодно прикрыть ею свои собственные.

Когда иголка особенно больно вонзалась в палец или я случайно резала руку ниткой, я закрывала глаза и представляла себя на сцене, лучезарную и сверкающую… я ныряла, прыгала, вертелась и кружилась. Воображала, как месье Борлин будет размахивать веером и выкрикивать: «Это моя самая талантливая ученица!» И баббо… его ладони уже болят от аплодисментов, а голос охрип от нескончаемых «Браво!».

Мама все еще оправлялась после операции, и большую часть вечеров мы проводили в тишине, которую нарушал лишь скрип ручки баббо и отдаленные переливы голоса Джордже Он тоже

репетировал, готовясь к своему дебюту, первому сольному выступлению, который был назначен неделей раньше моего. Мама и баббо горели таким воодушевлением, так волновались, чтобы ничто не повлияло на голосовые связки Джорджо, что меня оставили в покое: я танцевала и шила сколько мне было угодно. Если бы только мама узнала о миссис Флейшман, иногда думала я. Но разумеется, я не собиралась раскрывать тайну Джорджо.

Однажды воскресным утром я сидела в гостиной и украшала блестками свою шапочку русалки, бережно продергивая нить сквозь жесткую сияющую ткань, когда появился Беккет. Он собирался погулять с баббо в Булонском лесу.

— Не пойдете ли вы с нами? — Он сел рядом. Его длинное гибкое тело словно сливалось с диваном.

Мама в прихожей чистила пальто баббо, а сам он искал свою трость и перчатки.

— Я не могу, Сэм. — Я воткнула иглу в ткань. — У меня еще так много шитья, и кроме того, нужно репетировать. Я не занималась все утро.

— О… — Беккет посмотрел на меня. Нет, не посмотрел, а прямо-таки уставился и не отводил глаза дольше, чем позволяли приличия. Мое

сердце скакнуло, а кровь забурлила.

— В Булонском лесу сейчас так красиво — нарциссы, крокусы, цветущие ивы. Не так красиво, как в Ирландии, конечно, но баббо наверняка приободрится и будет в хорошем настроении. Мы в последнее время мало куда выходили. — Я аккуратно вытянула нитку, ощущая на себе обжигающий взгляд Беккета. — Как ваши дела, Сэм? Есть что-нибудь новенькое?

— По большей части ничего, — осторожно ответил он. — Расскажите мне о вашем танце. Мистер Джойс сказал, что вы не захотели изображать реку Лиффи.

— Я видела ее всего однажды, и она была такой грязной… вся в тумане, тоже каком-то сером. Я просто не могу такое станцевать. Даже ради баббо. Он сильно разочарован?

— Во всяком случае, воспринял он это стоически. О чем же ваш танец?

— Это секрет, известный только баббо. Но могу открыть вам кое-что: одна моя нога будет совершенно обнажена. — Я подняла голову и смело встретилась с ним глазами. — Больше сказать ничего не могу. Это будет сюрприз.

— Обнажена? — повторил он.

— Только нога. Чтобы другая выглядела как

хвост. — Я хотела еще раз сказать, что это секрет и ему следует дождаться «великой ночи», но Беккет вдруг протянул руку и тыльной стороной ладони провел по моей щеке и подбородку. От удивления я издала странный мяукающий звук, но, когда я повернулась к нему, он уже убрал руку, так поспешно, что я подумала — уж не показалось ли мне все это. В тот же момент в дверях возник баббо, с тростью в руке, и спросил Беккета, готов ли он идти.

— Да, сэр! — отозвался Беккет и вскочил.

Он направился к выходу и там обернулся. И я поняла, что мне ничего не почудилось. Его глаза были похожи на глаза нищего ребенка — в них застыло что-то похожее на жажду и одиночество. Он улыбнулся одной стороной рта, как обычно, и произнес:

— Увидимся через неделю, на концерте Джорджо.

Я кивнула и постаралась вновь сосредоточиться на шитье. Но как только захлопнулась парадная дверь, я швырнула его на пол и начала кружиться по гостиной, раскинув руки. О, это прикосновение! Чуть грубоватые кончики его пальцев на моей щеке… Снова это электрическое притяжение, возникшее между нами. А скоро я

буду учить его танцевать, держать в объятиях, чувствовать, как его тело прижимается к моему, раскачивается с ним в такт. Я обхватила себя руками и пронеслась мимо окна. Дикий, необузданный восторг овладел мной, совсем как на моем последнем выступлении. Меня поразила мысль: моя любовь к Беккету была в чем-то сродни танцу: это перехватывающее дыхание ощущение собственной непобедимости, чувство, что время и пространство пропадают, растворяются…

— Лючия! Что это ты делаешь? Ты знаешь, что тебе запрещено танцевать в моей лучшей комнате! — В дверном проходе, сложив на груди руки, стояла мама. — Джорджо нужна тишина и покой, чтобы упражняться, поэтому немедленно прекрати свои танцы! И почему, скажи на милость, в твоей спальне полно засохших кусочков картофеля?

— О, мама, — задыхаясь, выговорила я. — Я только что испытала мгновение абсолютного счастья.

— Некоторые в этом доме еще поправляются после операции. Так что на сегодня довольно с меня «абсолютного счастья». А сейчас убери из спальни весь этот картофель и принимайся за шитье.

— Это… для глаза. — Я рухнула на диван и провела пальцами по щеке и подбородку — точно так же, как это сделал Беккет. — Киттен сказала, что надо прикладывать к косящему глазу холодный ломтик картофеля. Это старое народное средство.

— Вот еще ерунда собачья! — Мама вошла в гостиную, подняла с пола мое шитье и сунула мне в руки. — А сейчас лучше и думать забудь про свой глаз. Как мы можем заплатить за твою операцию, когда выпрашиваем деньги на операцию для твоего отца?

— Мама, ты когда-нибудь чувствовала чистую, незамутненную радость? — спросила я и снова погладила щеку.

— Иисус милосердный! Знаешь, все эти твои танцы на сцене делают тебя тщеславной и эгоистичной, Лючия.

— И все же? — настаивала я. — Должна же была у тебя в жизни быть хоть минута настоящего счастья? Восторга? Может быть, когда вы познакомились с баббо? — Я схватила подушку и прижала ее к себе.

— Ты ничего не знаешь о настоящей жизни! — К моему удивлению, глаза мамы горели от ярости. Она вырвала мою подушку и начала с силой взбивать ее. — И о мужчинах тоже! Ты понятия не

имеешь, через что мне пришлось пройти, чтобы удержать эту семью вместе! И у тебя еще хватает наглости говорить со мной о счастье!

Я сжалась в комок, глубоко уязвленная, онемевшая.

— Я видела, как ты увиваешься вокруг мистера Беккета. И тебе лучше забыть о… — Она сделала передышку и будто выплюнула следующие слова: — О радости, счастье и восторгах. — Она хлопнула по подушке с такой силой, что та выпустила густое облако пыли. — Мужчины — это животные, и у них есть свои аппетиты. Помни об этом, когда будешь болтать об «абсолютном счастье».

— Почему ты всегда такая… ужасная! — воскликнула я, и мои глаза заволокло слезами.

— Я трудилась что было сил, пытаясь воспитать тебя хорошо. И посмотри на себя теперь! Расхаживаешь полуголой перед своим отцом — и на сцене тоже. В Ирландии только потаскушки прыгают по сцене без корсетов и показывают ноги. — Она еще раз ударила по подушке, вымещая на ней свое раздражение, и добавила: — И еще эта ерунда с видениями вдобавок! В Ирландии видения бывают только у сумасшедших монашек. Так что уж реши, кто ты — монахиня или шлюха? Или,

может, Жанна д'Арк?

— Баббо все понимает. А у тебя просто нет никаких талантов, никакой способности творить. Ты — обыкновенная горничная! Я вообще не понимаю, почему он на тебе женился! — Я подскочила, будто меня укололи, и швырнула в нее подушкой. Как она может так меня ненавидеть? Я потерла глаза костяшками пальцев, и по щеке скатилась одна-единственная слеза.

— О, я могла бы стать танцовщицей, не сомневайся! Если бы меня не били чуть не каждый день, и не забрали из школы, и не отдали служить — менять грязное белье! — Она нагнулась за подушкой и вскрикнула.

— Мама! Как ты? Все хорошо? — Я бросилась к ней.

Она тихо опустилась на край дивана.

— Да, да, Лючия. Все хорошо. Это только боль после операции. — Она обхватила живот, а я подумала, не стоит ли мне попросить прощения. Я еще никогда с ней так не разговаривала.

— Прости меня, мама. — Произнося это, я смотрела на свои руки, и у меня в ушах вдруг зазвенели ее слова. Потаскушка. Шлюха. Вот кем она меня считает. Она ненавидит меня. Мои танцы — то, что я любила больше всего на свете, — казались

ей позором, достойным порицания. Я ждала, что она тоже извинится. Должна же и мать извиниться за то, что сказала такое дочери?

Стало очень тихо. А потом мама поднялась с дивана и вышла, шаркая ногами, сообщив, что собирается прилечь.

Я попыталась вспомнить, как пальцы Беккета касались моего лица. Заново пережить то мгновение, когда наши глаза встретились, мгновение абсолютного счастья. Но слишком поздно. Мама все разрушила.

Мне не хотелось, чтобы злые слова мамы гнили у меня внутри, пока я занимаюсь, поэтому я постаралась все забыть. Я объяснила произошедшее тем, что она все еще до конца не оправилась после операции и время от времени ее мучили боли. А когда это переставало меня убеждать, я повторяла себе, что ей, должно быть, ужасно горько — ведь она потеряла свою женскую суть, тот орган, где зарождается дитя. В конце концов, думала я, она ревнует и завидует. Но толку от этого было мало. Ее слова крутились в моей голове и отравляли меня, словно я съела что-то тухлое, сбивали ритм танца, нарушали грацию движений, над которой я так усердно работала. И преследовали меня не столько ее ругательства,

сколько загадочные слова о том, через что ей пришлось пройти, чтобы удержать эту семью вместе. Что она имела в виду?

Я видела, что она все еще сердится на меня, по тому, как она презрительно фыркала, стоило мне упомянуть танцы. А если с моего языка слетало имя «Беккет», она хмурилась и отворачивалась. Но ничего не говорила, потому что — я знала это — не хотела, чтобы хоть что-то потревожило или расстроило Джордже Воздух в квартире на Робьяк-сквер прямо-таки потрескивал от напряжения из-за скорого дебюта Джорджо в «Стюдио сантифик де ла вуа», где он занимался вокалом с прославленным профессором Кунелли.

Когда наступил вечер выступления, нервы Джорджо были издерганы вконец. Мама и я ходили вокруг него на цыпочках, пока он стоял перед зеркалом и выводил рулады.

Пока он пел, баббо (который сам был почти профессиональным тенором и иногда еще воображал себя им после пары стаканчиков) не скрывал ни недовольства, ни одобрения. Если Джорджо брал неверную ноту, баббо испускал слишком громкий вздох. Если Джорджо при этом мог его видеть, он театрально покачивал головой. Танцуя, я думала об этом и поняла, что

баббо редко напрямую запрещал Джорджо что бы то ни было. Вместо этого он вздыхал, делал траурное лицо или так искусно подбирал слова, что его желания становились яснее ясного и возражению не подлежали. Иной раз он просто сидел молча, неподвижно — в случае если чего-то не одобрял, — и это тяжелое, каменное молчание говорило больше, чем сотни книг. С моими танцами, конечно, все было по-другому. Глядя на меня, он поглаживал бородку или крутил кончик уса, кивая в такт, отбивая ногой ритм, иногда мычал что-то или быстро царапал в тетради несколько слов.

И теперь, каждый раз, слыша вздох баббо, Джорджо словно деревенел. И от этого его голос скрипел, как старое кресло-качалка. Наконец мама вошла к баббо и велела ему пойти и сменить костюм, надеть свой цветастый жилет и пиджак с шелковой фиолетовой подкладкой.

— А ты, Лючия, наденешь то новое платье, что я тебе купила. Мистер Беккет будет здесь с минуты на минуту.

Мама взяла баббо под локоть и вывела его из гостиной. Джорджо в изнеможении упал на диван, накрыл лицо подушкой и довольно долго не двигался.

— Что, если я буду не в голосе? Что, если у меня будет спазм? Что, если на меня нападет нервный кашель? О господи! Зачем я все это делаю? Зачем? — Джорджо убрал подушку и с отчаянием посмотрел на меня. Затем развернулся, сел и взлохматил волосы, забыв, что мама уже уложила их бриолином для выступления. Он был так напуган, несчастен и уязвим, что мое сердце сжалось от жалости. Он снова стал моим прежним Джорджо, тем Джорджо, которого еще не охватила страсть к деньгам и к миссис Флейшман.

— Все у тебя будет хорошо. — Я села рядом, сжала его испачканную бриолином руку в своей ладони и погладила большим пальцем мраморно-белые костяшки. В его дыхании снова отчетливо чувствовался алкоголь, и это очень меня обеспокоило. Месье Борлин предупреждал нас никогда не пить перед выступлением, даже чтобы успокоить нервы. Но потом я вспомнила о баббо, который всегда прекрасно пел, опустошив несколько бутылок вина.

— Нет! Отец совершенно вывел меня из равновесия. Помоги мне, Лючия. Ты уже так много раз выступала на публике, не то что я. — Он хлюпнул носом, моргнул, и на одну ужасную секунду мне показалось, что он собирается разрыдаться.

— Сделай несколько глубоких вздохов — как можно больше — перед тем, как выйдешь на сцену, и представь, что ты поешь только для меня. Или для мамы.

— Ты так делаешь?

— Да. Так месье Борлин учил нас справляться с нервами. А еще он говорил: вообразите, что вся аудитория — голая.

— Фу! — передернулся Джорджо. — Это уже слишком. Вообразить маму и папу голыми!

Мы расхохотались, и на минуту словно вновь настали старые времена, когда мы были лучшими, самыми близкими друзьями. До того, как его украла миссис Флейшман. Интересно, будет ли она там сегодня? Нет, разумеется, нет. Джорджо не захочет, чтобы их тайный роман раскрылся именно сегодня, в столь важный для него день. Может быть, она сядет где-нибудь в незаметном месте, в заднем ряду, и потом тихонько ускользнет, пока ее никто не заметил. Подумав о ней, я вспомнила, что придет Беккет. И восхитительная дрожь предвкушения пробежала у меня по спине.

— Правда в том, что я не такой певец, каким хочет видеть меня баббо. — Джорджо высвободил свою руку из моей и неуклюже встал.

— Все будет хорошо, — повторила я.

Он покачал головой.

— Ты — прекрасная танцовщица, а я — второсортный певец. Это любому глупцу видно. — Он прижал пальцы к губам, словно не хотел сказать больше.

И я снова ощутила, как от него пахнет алкоголем.

— Просто помни мои советы, — сказала я. — Обещаешь?

К тому времени, как мы все расселись на жестких деревянных стульях в студии профессора Кунелли, я была так взвинчена, что едва могла оставаться в одном положении. Я старалась думать об очень эффектных движениях ног, которые должны были завершить танец русалки, и даже потихоньку проделала их под стулом. Но даже это не могло меня отвлечь. Беккет уловил мою нервозность и успокаивающе сжал мой локоть.

— Не волнуйтесь, у него великолепный голос, — пробормотал он.

— Ради любви Иисуса, Господа нашего, сядь же ты спокойно, Лючия, — прошипела мама. — Я не могу сосредоточиться, и твой стул скрипит, когда ты ерзаешь. Конечно, он же всего-навсего поет. Скорее ты отвлечешь его своими скаканьями на

стуле, чем что-то еще. — Она сердито посмотрела на меня, поправила шляпу и, как всегда, осмотрела зал — проверить, кто еще присутствует. Я тоже взглянула — интересно, здесь ли миссис Флейшман в собольем манто. Но нет, ее не было. Вероятно, Джорджо попросил ее не приходить — либо чтобы не нервничать лишний раз, либо чтобы сохранить достоинство, на случай, если его ждет сокрушительное фиаско.

Когда Джорджо вышел на сцену, я была готова взорваться от беспокойства, будучи уверена, что за кулисами он напился так, что впал в ступор. Он объявил, что исполнит две песни Генделя, я, не осознавая этого, схватила Беккета за руку. Когда я поняла, что сделала, то немедленно покраснела, но в любом случае было уже слишком поздно, так что я сжала его руку сильнее и взмолилась про себя, чтобы Джорджо спел безукоризненно. Я знала, что моя рука влажная и неприятно липкая, но мне было все равно.

Джорджо прочистил горло, кивнул пианисту и раскрыл рот. Вместо первой ноты он издал фальшивую маленькую трель и остановился. Мои ногти впились в мягкую ладонь Беккета. Джорджо снова прочистил горло, кивнул пианисту и открыл рот. Но вместо песни с его губ сорвался

странный звук, наподобие тирольского йодля, и он закашлялся. Баббо и мама сидели прямо и неподвижно, будто вырезанные из дерева фигуры. Я стиснула руку Беккета, наверное, до боли и стала судорожно молиться за Джорджо. На сцене появился профессор Кунелли со стаканом воды. Джорджо осушил его до дна, передал стакан профессору и в очередной раз прочистил горло. Он взглянул в зал, и, к своему удивлению, я увидела, как на его губах мелькнула тень улыбки. Он снова посмотрел на аудиторию, кивнул пианисту — и полилась чудесная мелодия. Чистые, сильные ноты заполняли зал, так что воздух в студии вибрировал. Никаких сбоев, никакого нервного кашля — лишь прекрасный, безупречный вокал.

Когда он закончил и умолкли аплодисменты, Беккет показал мне ладонь, всю в маленьких алых полумесяцах.

— Это мои ногти? — в ужасе спросила я.

Он засмеялся и протянул ладонь отцу. Я услышала слово «стигматы», и оба они захихикали, словно пара школьников.

Теперь, испытывая несказанное облегчение от того, что дебют Джорджо прошел замечательно, я пододвинула свой стул ближе к Беккету. Он был слишком занят обменом шутками с баббо

и не обратил на это внимания, так что я застыла, наслаждаясь исходящим от него теплом, его твердым, мускулистым бедром, которое соприкасалось с моим. В самой физической близости к нему было нечто успокаивающее. В этот вроде бы неподходящий момент у меня в голове всплыли слова папы Киттен. Только замужние женщины по-настоящему свободны. Имел ли он в виду, что лишь любовь служит строительными лесами для жизни вообще? Написал бы баббо свои шедевры, если бы рядом не было мамы? Да, но если отец Киттен хотел выразить именно это, почему он не сказал: «Только женатые люди по-настоящему свободны?»

Пришел Джорджо, и все сложные размышления вылетели у меня из головы. Баббо хлопал его по спине, мама обнимала, все поздравляли и целовали, но чуть позже мама все же спросила его, чему он улыбнулся тогда, выпив стакан воды?

— Лючия подсказала мне, что нужно представить людей в зале голыми. — Он ухмыльнулся и полез за сигаретами. — Так я и сделал. И если это не помогает, то не знаю, что вообще может успокоить разбушевавшиеся нервы.

— Где мы сегодня ужинаем, Джим? — спросила мама, пробираясь к выходу из студии профессора

Кунелли на бульвар.

— В «Фуке». — Баббо обернулся и взмахнул тростью, словно самурайским мечом, в направлении Елисейских Полей. — В продолжение наслаждения песнопением.

— Как насчет «заключения», мистер Джойс? — подначил Беккет.

Баббо обернулся к нему и ухватил его за плечо своей рукой-клешней.

— Беккет, вы настолько хорошо меня понимаете, что я уже начинаю думать, не задействована ли здесь какая-то черная магия.

— Что же это за магия может быть, сэр? — поинтересовался Беккет с поддельным любопытством.

— Должно полагать, elle[11] согрешила. — И баббо так заразительно расхохотался, что я не смогла к нему не присоединиться, хотя понятия не имела, о чем они с Беккетом говорили.

— Во имя Господне, прекратите нести всякую ерунду! — Мама взяла баббо под руку и улыбнулась, хотя и возмущенно возвела глаза к небесам.

В черной воде Сены отражались огни барж и

---

[11] Примечания: 11
Она *(фр.)*.

рыбацких лодок, дрожа и переливаясь в вечернем воздухе. Бледные клочья тумана зависли над рекой. На дальнем берегу устроилась на покой стайка уток, засунув пушистые головки под крылья. Я вспомнила о своем танце русалки — как я должна была биться и хлестать хвостом. Возможно, это выглядело бы слишком резко. Скорее мне следует двигаться медленно, как туман. Парить и плыть.

— Завораживающее зрелище, не правда ли? — спросил Беккет за моим плечом. Он смотрел туда же, куда и я.

Да, решила я. Вот таким и будет мой танец. Завораживающим.

Киттен вихрем ворвалась в студию. Она задыхалась и смеялась одновременно, размахивая каким-то листком бумаги. До конкурса в Баль-Бюлье оставалось несколько дней, и я танцевала и днем и ночью.

— Назначен окончательный состав жюри, Лючия!

Я словно примерзла к полу и онемела.

— Шарль де Сен-Сир и Эмиль Вюйермоз!

И тот и другой были уважаемыми музыкальными критиками, с чьим мнением считались все в мире музыки и танца, и я почувствовала, как по

моему телу пробежала дрожь волнения.

— Но погоди, я зачитаю тебе остальные имена. — Киттен сделала драматическую паузу и продолжила. Самые именитые артисты Парижа. — Удай Шанкар, Мари Куммер, Дженнил Анник, музыкант Тристан Клингзор. Но есть еще кое-кто. — Она встала в красивую позу, изображая статую, и закатила глаза.

— Кто?

— Мадика! Главный судья — Мадика!

Мои ноги подогнулись, словно ленты. Я осела на пол. Сердце грохотало — от нервного перевозбуждения, предвкушения и ужаса.

— Мадика… — шепотом повторила я. Я видела ее, как наяву, она смотрела на меня со стены моей спальни. По одну сторону от нее висел портрет Анны Павловой, по другую — Айседоры Дункан. — Она — вот та, какой бы я хотела стать. Не могу поверить, что она увидит меня. Ты знаешь, она начинала с классического балета, а затем бросила его ради современного танца?

— Да, да, про Мадику мне известно все, — нетерпеливо перебила меня Киттен. — Это твой шанс, Лючия.

Я со страхом покачала головой:

— Я недостаточно хороша, Киттен. Что, если у

меня ничего не выйдет? Что, если ей не понравится мой танец? Или костюм? Или все сразу?

— Конечно, понравится, дорогая. — Киттен стиснула мою руку. — Ты — лучшая. Просто танцуй для нее, для Мадики. Забудь о зале и о зрителях, забудь обо всем. Танцуй для нее.

— Сэм придет, и куча друзей баббо тоже. И Стелла Стейн. Я не хочу никого подвести. — Меня начинала скручивать тревога. — О, Киттен, я даже не представляла, что в жюри войдут столь прославленные люди! — Я закрыла лицо руками. Моя радость вдруг превратилась в дикую панику.

Киттен опустилась на пол рядом и обняла меня за плечи.

— Ты одна из лучших танцовщиц-любительниц в Париже. У тебя все получится. Помнишь, что писали о тебе в той газете? И что ты говорила отцу в прошлом году? Что твое имя будет на первой странице, перед его именем? И это правда, потому что ты прекрасная танцовщица и прекрасный хореограф. Скажи-ка, тебе станет легче, если я сейчас посмотрю на твой «секретный» танец? Никто не узнает. Какая музыка?

— Хорошо. Я чувствую себя лучше, когда танцую. Музыка вон там.

Киттен двинулась к граммофону. Я, изогнувшись, улеглась на полу. Четыре долгих глубоких вдоха и выдоха. Кислород струится по моему телу, словно морская вода. Дыхание и члены сливаются в одно целое. Как только полилась мелодия «Песни о блуждающем огоньке», я снова превратилась в серебристую королеву сине-зеленого подводного царства, в летучий дух океанов, властительницу соленого бирюзового моря.

Пятью минутами позже Киттен громко хлопала в ладоши и кричала:

— Еще, еще!

Баль-Бюлье оказался просторным залом с высокими потолками. Яркие огни рамп ложились полосами прямо на мое тело, когда я, приняв нужную позу, улеглась на полу. Из-за тяжелого бархатного занавеса до моего слуха доносились смех и разговоры. Я уже исполнила два танца. И каждый раз входила в число победителей. Делая реверансы перед зрителями, я слышала, как баббо выкрикивал что-то ободряющее, заглушая всех остальных, и видела, как месье Борлин одобрительно помахивал мне перчатками из ложи, где он сидел со своим любовником, месье Маре. Но я не чувствовала привычного упоения от успеха, потому что знала, что самое главное испытание

еще впереди.

Итак, нас осталось всего шесть, и мы должны были танцевать в финале, самом строго судимом раунде из всех. Этот танец я репетировала сотни раз, часами. Мой танец русалки. Его видели только месье Борлин и Киттен. Конечно же Киттен хвалила меня изо всех сил. Но месье Борлин лишь покусывал кончик веера и говорил:

— Очень честолюбиво, мисс Джойс. Очень смело и дерзко.

И его слова заставляли меня задуматься, не зашла ли я слишком далеко.

Лежа на сцене, я представила себя русалкой. Я полюбовалась своим хвостом, ощутила его упругость, почувствовала, как его колеблют волны. Я вообразила океан — как он омывает и гладит мою чешую, соль, пропитавшую волосы, шелест и хруст раковинок под ладонями. И сделала вдох — так медленно и ровно, как только могла. Я больше не думала о зрителях, о судьях, танцовщицах-соперницах. Я уже не Лючия — дочь, сестра, девочка на побегушках. Я — русалка, восставшая из волн неспокойного моря.

Оркестр заиграл вступление. Занавес мягко поднялся. Я неторопливо развернулась, поднялась, а затем последовала серия прыжков и вращений.

Моя голова была запрокинута, руки гребками разрезали пространство. Огни ослепляли меня, и, бросив взгляд в зал, я не увидела ничего, кроме тьмы. Черный океан ждал меня. Музыка вела за собой, наполняла все вокруг. Я кружилась по сцене, высоко подняв подбородок, выгнув спину, растопырив плавники-пальцы. Я — летучая рыба, я ныряю и играю в воде, а затем выпрыгиваю на поверхность и верчусь в воздухе. Я русалка, я погружаюсь в темные глубины и появляюсь снова, покачиваясь на волнах. Я наполовину морская птица, наполовину угорь, мои руки трепещут, тело извивается, голова опущена.

Когда оркестр подошел к финалу, я упала на пол, приняв ту же позу, с которой начала танец. И пришла в себя. Мои нервы были натянуты до предела. Понравилось ли выступление зрителям? Оценили ли судьи элементы гимнастики в танце? Замысловатые движения ног? Сложный, меняющийся ритм? Я дождалась последней ноты, и, как только она смолкла, зал наполнился громовыми аплодисментами, топотом и криками, и все мои волнения сразу же улетучились. Я лежала на сцене, в ушах отдавался стук сердца, а аплодисменты все не прекращались. Целых две минуты (баббо засек время по часам) зал неистов-

ствовал, все хлопали, кричали и топали ногами. Плавники из голубиных перьев впивались мне в кожу, но я не обращала внимания на боль — такую эйфорию я не испытывала никогда. Когда Киттен позвала меня из-за кулис, я еле прошла через сцену и упала в ее объятия.

— Дорогая, ты заряжаешь электричеством! — в восторге воскликнула она и повторила: — Чистое электричество, вот что это было.

В гримерной комнате за кулисами все так и искрилось от напряжения. Шесть девушек прошли в финал: норвежка, гречанка, три француженки и я. Мы смущенно улыбались друг другу и то поправляли свои костюмы, то передвигали щетки и баночки, стоявшие на столиках, стараясь чем-нибудь себя занять. Норвежская танцовщица устроила целое представление, выполняя растяжку, а гречанка покусывала кончик своей косы. Все молчали. Было слышно, как зрители кричат судьям, чтобы те поторапливались. Шум и топот становились все громче. Гречанка уже не покусывала, а грызла косу. Я предложила ей карамельку, но она показала на живот и покачала головой. Снова заиграл оркестр, будто начиналось новое выступление. Мы с тревогой поглядывали друг на друга. Что происходит?

Почему жюри так медлит?

Наконец раздалось вступление к произведению Бетховена. Зал затих, а мы заволновались еще больше. Хоть бы они решили все скорее! Чем дольше мы ждали, тем больше мне хотелось победить. Никогда еще меня так не снедало тщеславие, и это ярое, неприкрытое желание оказаться лучше всех пугало меня. Больше всего я жаждала получить похвалу Мадики. Но мне нужно было что-то еще. Что же? Признание? Слава? И в это мгновение, когда я, вне себя, уже кусала ногти, мне вдруг открылся ответ. Я хотела победить, чтобы танцевать всегда. Чтобы баббо никогда — никогда! — не заговаривал со мной о профессии переплетчицы. Чтобы мистер Беккет знал, что мое место — на сцене. Чтобы мама никогда не называла меня потаскушкой и шлюхой.

Зазвучали фанфары. Все мы быстро поправили волосы, отерли пот со лбов и разгладили складки костюмов. Гречанка зажала уши и сказала, что она не может, просто не в состоянии выйти из гримерной. Я взяла ее за руку и отвела за кулисы, где нам велено было ждать, пока судьи не огласят свой вердикт.

Они сидели в заднем ряду и выглядели довольно угрожающе. Я смогла различить лишь Мадику.

Ее волосы были зачесаны и забраны вверх, а в ушах болтались большие золотые кольца. Даже наклон ее шеи был грациозен так, что не хватило бы слов, чтобы это описать.

Главный судья встал. Было так тихо, что я слышала, как гречанка снова грызет свою косичку. Он пошелестел бумагами на столе, как-то особенно важно откашлялся и начал говорить. Я собралась, будто мне предстояло пройти по очень тонкому льду.

— Было почти невозможно принять решение, мадам и месье. Но мы все же пришли к единому мнению. — Он сделал паузу и оглядел зал. — Третье место получает Агата Гианнулис из Афин.

Мое сердце подпрыгнуло. Значит ли это, что я первая? Мне хлопали дольше, чем Агате. Я вытащила косу у нее изо рта и обняла. Зал приглушенно зааплодировал.

— Второе место… — Судья замолчал и заглянул в бумагу, словно забыл, чье имя должен объявить. Я выдохнула весь воздух, но снова вздохнуть не могла. Толпа снова заволновалась. Некоторые стали махать программками в сторону жюри. — Второе место, — повторил судья, — получает Лючия Джойс из Парижа.

Мое сердце упало. Второе место означало

— никакой похвалы от Мадики. Второе место означало, что я все же недостаточно хороша. Я подвела месье Борлина. И баббо. А как же мистер Беккет? Разочарование навалилось на меня, как могильная плита. Мой учитель был прав. Я слишком замахнулась. Хореография оказалась слишком сложна для любительницы вроде меня. Агата прыгала от счастья и пыталась обнять меня за шею. Я слышала, как судья назвал победительницу, но не разобрала ее имени. Одна из французских танцовщиц вышла вперед, и ее пышные волосы чуть не попали мне в глаза, когда она проходила мимо.

Когда она делала обязательный реверанс, судья снова назвал ее имя. Мадемуазель Жанин Солан. Сейчас раздастся гром аплодисментов, на сцену посыплются цветы и программки, отрешенно подумала я. Но ничего подобного не случилось. Жанин уже собиралась сделать второй реверанс, но что-то ее остановило. Она с недоумением обернулась к жюри. Я напрягла слух… кажется, произносят мое имя. Но кто? С неменьшим недоумением я повернулась к Агате. Она улыбнулась и показала на зал. Я вытянула шею, вглядываясь в темноту. Все зрители, как один, поднялись на ноги. Они вопили и свистели. И выкрикивали

мое имя. Что еще они говорят?

— Lucia! L'Irlandaise! Un peu de justice, Messieurs![12] — разобрала я.

Агата вытолкнула меня на сцену. Не понимая, что происходит, я опять оказалась под яркими огнями рампы, изумленная, ошарашенная и пьяная от наслаждения. Жанин удалилась за кулисы. Судьи стояли за своим длинным столом, пожимая плечами и жестикулируя.

Мой хвост русалки не давал мне сделать настоящий реверанс, поэтому я просто низко поклонилась. На меня пролился настоящий дождь из тюльпанов и нарциссов. Я видела баббо, он размахивал тростью, и месье Борлина, который, рискуя вывалиться из ложи, наклонился вперед, посылая мне воздушные поцелуи. И я хотела, чтобы это мгновение длилось целую вечность.

Лишь позже я прочитала в газетах отзыв жюри о моем выступлении: «Единственная конкурсантка с задатками профессиональной танцовщицы… Нежная и в то же время дикая… Замечательная артистка!»

В гримерной было жарко и душно. Скомканные костюмы валялись на полу, со стульев свисали

---

[12] Примечания: 12
Лючия! Ирландка! Немного справедливости, месье! *(фр.)*

шарфы и парики. Запах пота, разгоряченных тел, кожаных балетных туфель и ног усилился — мы все переодевались. Танцовщицы оттирали грим с лиц, расчесывали волосы, искали свои платья, как вдруг к комнате наступила абсолютная тишина. Я подняла голову и увидела Мадику, которая пробиралась через разбросанные наряды. Все смотрели только на нее. Она прошла мимо Жанин Солан, победительницы Международного фестиваля танца, и остановилась возле моего столика. Мадика была одета в черное с головы до ног, не считая нескольких длинных нитей жемчужных бус, скрепленных кисточкой из сотен совсем маленьких жемчужинок, которая болталась у нее возле талии.

— Какой триумф, мисс Джойс. Вы должны были победить, конечно. Мнение аудитории это вполне доказало. — Она говорила по-английски с ужасным акцентом, но голос понижать не собиралась. Ее это совсем не стесняло. — Сейчас мода на танцы в духе негров, а мы виновны в том, что падки на моду, не так ли?

— С-с-спасибо, — пролепетала я. Присутствие рядом моего кумира, моего идола — это было уже слишком.

— Возможно, у вас чуть больше акробатики,

чем требуется. Во всем остальном технически безупречно. Вы тоже перебежчица из школы классического балета, как и я, наверное? — Ее темные глаза оценивающе оглядели мои ступни, ноги, руки и грудь.

— Нет, мадам. Я начала танцевать на курсе Жак-Далькроза в консерватории, а затем занималась с Раймондом Дунканом… — Я постепенно замолкла, видя, как тускнеют глаза Мадики.

— О, этот, — презрительно бросила она. — Его сестра Айседора была по-настоящему гениальна, конечно. А он… кое-что сделал для продвижения ритмического танца, я полагаю. Где еще вы танцевали?

— Сейчас я занимаюсь с месье Борлином и Элизабет Дункан, мадам. И еще я взяла несколько мастер-классов у Маргарет Моррис. — Я подумала, не стоит ли ей рассказать о моей труппе, но Мадика снова заговорила:

— У вас природный талант. Возможно, даже гений. Вы непременно должны участвовать в этом фестивале в следующем году. — Она чуть поколебалась, теребя ожерелье. — Я сама буду с вами заниматься. Признаюсь, меня удивило, что у вас нет классической школы. Предполагается, что это очень полезно. Дайте мне левую ногу.

К моему изумлению, она опустилась на колени, вывернула мою левую ступню и осмотрела подъем. Затем встала и энергично кивнула.

— Иногда модернисты недооценивают значимость классического балета, а ведь мы так многим ему обязаны. Сама я бегу от традиции, но отдаю ей должное — ничто лучше не поможет построить крепкую физическую основу танцора. Не беспокойтесь. Если будете заниматься со мной, вы победите на следующем соревновании. Дайте мне знать о вашем решении.

Она сунула мне в руку визитную карточку и вышла, оставив меня с открытым от удивления ртом.

Баббо был вне себя от волнения — и ярости. Он потащил нас на праздничный ужин в «Клозери де Лила», напротив Баль-Бюлье. Мама на ужине не присутствовала. За час до начала фестиваля она пожаловалась на сильную боль в животе и легла в постель. Баббо сказал, что она «постепенно приходит в себя после недавнего приступа сильнейшей паники». Он намекал, естественно, на дебют Джорджо, который вызвал столько треволнений в квартире на Робьяк-сквер, что мама действительно совершенно выбилась из сил. Поначалу мне было немного обидно, но

потом, поразмыслив, я решила, что, возможно, отсутствие мамы — и ее осуждающего взгляда — только улучшило мое выступление.

Итак, нас было восемь, и мы сидели за столом, заставленным тарелками с раковинами из-под устриц и чисто обглоданными куриными косточками. Мы пили шампанское бокал за бокалом, баббо ругал судей и несколько раз повторил слова зала — когда они аплодировали и вызывали меня на поклон. Каждый раз, произнося «Nous reclamons l'lrlaidaise!»[13], он громко смеялся. Поскольку мамы не было и некому было следить ястребиным взглядом за бутылками, он пил больше обычного, глотая шампанское, словно воду.

Слова Мадики преследовали меня от гримерной до самого ресторана, где я пересказала их Беккету. Он, как и баббо, был очень горд мной и невероятно доволен. Но что-то в том, что сказала моя героиня, слегка меня раздражало. То, как она мгновенно осмотрела мою ступню, беспокоило. Послевкусие после всех ее похвал оказалось слегка кисловатым и по непонятной причине бросало легкую тень на ночь моего триумфа.

— Вы должны были победить, — в десятый раз

---

[13] Примечания: 13
Мы требуем ирландку! *(фр.)*

повторил Беккет. — Вы были великолепны! Все в зале так считали.

— Спасибо, Сэм. — Я в который раз засияла и почувствовала, что от улыбок у меня уже болит подбородок.

— Это было потрясающе. Ни на что не похоже. Так что же, теперь вы будете заниматься с этой безумной женщиной?

— Ее зовут Мадика. И она мой кумир. — Я шутливо шлепнула Беккета по руке. — Разумеется, я буду с ней заниматься. Она потрясающая танцовщица.

— Вам придется покинуть Париж?

Моя улыбка увяла. Мне не приходило в голову, что, может быть, мне придется уехать из Парижа, чтобы заниматься с Мадикой. Как я могла оставить его сейчас? Как я могла оставить Беккета?

— Я хочу сказать, она же венгерка, не так ли? — Беккет потянулся за своим бокалом, и его рука соприкоснулась с моей. Словно удар электричества пронзил мой локоть, и я невольно отдернула его. Беккет скосил на меня глаза, и я подумала, сколько же шампанского он уже выпил. Он редко бывал так разговорчив.

— Да, она родом из Венгрии, но работает здесь. Париж — мировой центр современного танца.

Мы изобретаем… выковываем целую новую философию движения и ритма. И я хочу быть частью этого. — Мои слова прозвучали так пылко и страстно, словно я была одним из «апостолов» баббо. — Разве это не так? — громко обратилась я к Киттен, которая сидела в другом конце стола и была занята разговором со Стеллой.

— Мы, ирландки, можем что угодно! — воскликнула Стелла и взмахнула над головой своим боа из перьев.

— Vive l'Irlandaise![14] — Киттен подмигнула мне и подняла бокал.

— La plus belle Irlandaise[15]. — Беккет тоже взглянул на меня поверх бокала.

Я подвинулась ближе к нему, остро чувствуя его ногу рядом с моей, его бедро рядом с моим, его руку рядом с моей. В этот вечер он не разговаривал почти ни с кем, лишь со мной и баббо. И почти не сводил с меня глаз. Но вскоре баббо начал тянуть меня за рукав и показывать на часы.

— Твоя мать, д-достопочтенная и в-в-величественная миссис Джойс, одна дома, ждет нас и твоих новостей, — хмельным языком едва вы-

---

[14] Примечания: 14
Слава ирландке! *(фр.)*

[15] Примечания: 15
Очень красивой ирландке *(фр.)*.

говорил он.

Он встал и отодвинул стул, и Беккет тут же последовал его примеру.

— Ей следовало прийти, — раздраженно бросила я.

— Она еще не вполне здорова, — протянул баббо и тихо рыгнул.

Нет, я не буду грубой и не буду ни на кого обижаться, решила я. Это моя ночь. Я повернулась к Беккету, и долгую секунду наши взгляды не могли оторваться друг от друга.

Когда баббо направился к двери, на ходу без разбора пихая монеты в раскрытые ладони официантов, Беккет взял меня за руку. От шампанского у меня кружилась голова, и я почти упала к нему в объятия. Нам мешали стулья и острые углы столов, мимо проходили официанты и посетители, я слышала, как кто-то просил еще вина, вопил, чтобы ему принесли счет, «до свидания» и «au revoir», скрежет стульев по полу, звон пустых бутылок и — совсем издалека — траурные звуки аккордеона.

Беккет обхватил мое лицо ладонями и потянулся к губам. Но в то же мгновение отпрянул, закашлялся, сильно заморгал и сделал странный жест.

— Да, баббо ждет, — успокаивающе сказала я. — Но он ничего не увидит. Он болтает с официантами, и кроме того, он и так наполовину слеп. — Я сама протянула к нему руку и уже хотела обнять, но его слова вдруг разбили этот хрустальный сосуд счастья, которым мы, казалось, были окружены.

— Там, за вами, — хрипло произнес он, указывая куда-то мне за плечо. — Тот мужчина — вы ему нужны.

Я повернулась к столику, за которым еще оставались гости баббо, наслаждаясь ужином, обильно сдобренным вином. И там, наблюдая за мной, стоял Эмиль Фернандес.

— Прости меня, Лючия. Я только хотел принести свои поздравления. — Эмиль быстро пробежал языком по верхней губе. — Я еще никогда не видел столь изящного танца.

Он приподнял шляпу, резко развернулся и пошел к двери. Я смотрела, как он лавирует между столиками, незаметно проскальзывает мимо баббо и исчезает в ночи.

— Прошу меня извинить, — сказал Беккет и смущенно уставился на свои туфли. — Вы хотели побыть с ним наедине?

— Это всего лишь старый приятель. — Я взяла

со стола перчатки и стала их натягивать. К моему чувству счастья теперь примешалась неприятная доля вины. Бедный Эмиль! Каким печальным он выглядел! Я подумала, не стоит ли мне обнять Беккета или упасть ему на грудь. Но неповторимый, единственный в мире момент прошел. Баббо, стоя у двери, махал тростью, а я все еще видела грустное лицо несчастного Эмиля.

Когда мы вышли на улицу, Беккет нежно дотронулся до моей руки и сказал:

— Я с нетерпением жду наших уроков танцев. Спокойной ночи, танцующая русалка.

И я снова поняла, что совершенно потеряла голову.

На следующее утро я проснулась поздно, с гудящей от выпитого накануне шампанского головой. Почти сразу же мне вспомнился гром аплодисментов, крики бушующей толпы, и я улыбнулась и, как кошка, потянулась под одеялом. А потом… потом был разговор с Беккетом в ресторане, его рука в моей, его восхищенный взгляд, который обнимал все мое тело, попытка поцеловать меня и его прощальные слова — нежные и очень интимные. Я вспомнила и нашу беседу с Мадикой, ее предложение заниматься со мной и подготовить меня к следующему Международному

фестивалю танца. А затем ее вопрос — обучалась ли я классическому балету. И будто маленькая тучка появилась в ярком летнем небе.

Но через несколько минут это темное облачко развеялось. Мое будущее предстало передо мной яснее ясного. Ну конечно! Почему я не понимала этого раньше? Ее слова означали, что я сейчас — словно здание с неустойчивым фундаментом. Возможно, не совсем так, но очевидно, что подразумевала она именно это. Мой «фундамент», моя основа были не на месте. А без настоящей крепкой основы из меня ничего не получится. Я буду как дерево без корней, которое может в любую секунду унести ветер.

Когда перед моим внутренним взором возник образ дерева без корней, я вспомнила, что приснилось мне ночью. Каштан под черным, бушующим небом. Его яростно раскачивающиеся ветки. Скрюченные, выпирающие из земли корни, оплетающие одинокую безымянную могилу. Я насторожилась. Стоит ли считать это дурным предзнаменованием? Знаком, что мне требуются более глубокие корни? Тогда я не придала этому видению большого значения. Это был даже не сон, а маленький кусочек сна. Неясный, прерывистый, без присущей моим вещим грезам

выпуклости и ярких цветов. Но теперь я осознала, что этот обрывок сна все же хотел мне что-то сказать. Возможно, что, не имея корней, я могу умереть? Так ли это? Была ли эта жутковатая привидевшаяся мне картинка знамением, что мой дух может погибнуть, если якорем моим танцам не станет классический балет?

Я выпрыгнула из постели, набросила на себя тунику для танцев, наскоро провела щеткой по волосам и побежала к двери. Я пролетела пять лестничных маршей, вынеслась на Робьяк-сквер и побежала вниз по рю де Гренель. Мимо консьержей, на коленях оттирающих ступеньки, мимо мясников и булочников, расправляющих навесы над своими лавочками, мимо толстого торговца рыбой, выкладывающего из деревянных ящиков скользких угрей, мимо официантов в белых передниках, расставляющих стулья на тротуарах, мимо маленького пыльного магазинчика, где я купила свои первые балетные туфли. Я неслась, не останавливаясь, всю дорогу до Сены. Велосипедисты сердито сигналили мне, машины гудели и тормозили, жандарм в шлеме засвистел в свой свисток, вспугнутая мной стая голубей поднялась в воздух. Но я все бежала. Вдоль набережной Сены, мимо торговцев книгами, устанавливающих

свои лотки, мимо тележек с цветами, издававшими густой запах гиацинтов, мимо продавцов птиц с их заточенными в клетки попугаями, которые хлопали крыльями и пронзительно вскрикивали.

Я не замедлила шаг, пока не оказалась на рю де Севр. Там я остановилась, оправила платье и отерла пот со лба. Мне было прекрасно известно, где находится ее академия, и, хотя время уроков еще не наступило, я достаточно хорошо знала мадам Егорову и была уверена, что она уже там. Готовится к занятиям, прибирает студию, вытирает платком зеркала. Я толкнула дверь, поднялась по ступенькам — студия располагалась на самом верху. Вот она! Лучшее место во Франции, где можно стать балериной! Мадам Егорова стояла перед зеркалом и собирала волосы в узел.

— Что ты собираешься сделать? — переспросила Киттен, не скрывая изумления.

— Заниматься классическим балетом, — повторила я и пододвинула к ней чашку с чаем.

— Значит, ты не будешь заниматься с Мадикой?

— Нет. Сначала мне необходимо овладеть основами. Именно Мадика и заставила меня это понять. — Все было так ясно, и я не могла уразу-

меть, почему Киттен так глупит.

— Но это же самое делает Зельда Фицджеральд. Должно быть, ты слышала, что о ней говорят? И ты не думаешь, что уже слишком… стара для этого? — Киттен уронила в чашку кубик сахара и стала его размешивать, наблюдая за мной из-под ресниц.

— Конечно, я не слишком старая! Я намного моложе, чем миссис Фицджеральд. Мадам Егорова танцевала в «Русском балете», с Нижинским, при Дягилеве — она знает, что делает.

— Да, мне это известно, — немного резко бросила Киттен. — Она-то знает, что делает, но знаешь ли ты? Все твердят, что у тебя талант к танцу, но к ритмическому, современному танцу. А это совсем другое. — Киттен покачала головой и сжала губы, словно вела себя как совершенная дурочка.

Я объяснила ей, что сейчас похожа на прекрасное здание без твердого фундамента. Без основы. И показала в окно, на Эйфелеву башню, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду.

— Господи! — Киттен вскинула голову. — Ты хоть представляешь себе, сколько тебе придется работать? Она будет выжимать тебя до седьмого пота. Ты представляешь эти часы и часы занятий?

Меня поразило какое-то недоброе отношение Киттен. Она продолжала размешивать чай, с силой царапая по дну чашки ложечкой, как будто пыталась найти там подтверждение своей точке зрения.

— А что говорят твои родители?

— О, им все равно. Сейчас они заняты совсем другими проблемами. У баббо выходит сборник эссе, а мама готовит для него большое путешествие. Или, как раба, прислуживает Джордже Думаю, они довольны, что я стану меньше путаться у них под ногами. И в любом случае уже слишком поздно. Я сказала Мадике, что в этом году заниматься с ней не буду. И она полагает, что это хорошая мысль. Она предложила снова взять меня после года обучения классическому балету.

— У тебя что, был момент прозрения? Момент Кассандры? Поэтому ты так тверда и уверена, что ступаешь на правильный путь?

— Нет, — ответила я, играя ожерельем. Мне не хотелось рассказывать Киттен о том странном сне с деревом и могилой, особенно теперь, когда она была так враждебно настроена. Она, скорее всего, истолкует все совсем наоборот и скажет, что гроб означает смерть для меня, если я займусь балетом.

— Что ж… мне думается, что это ошибка. Прости, но так я считаю. — Киттен вынула ложечку из чая и аккуратно положила ее на блюдце. Воцарилась тишина. Через несколько минут Киттен продолжила: — Но я — твоя подруга, и поэтому поддержу тебя во всем, что бы ты ни задумала. А как же наша труппа? Ты будешь продолжать танцевать с нами?

— Хотела бы я, чтобы это было так, но не могу ничего обещать. Мадам Егорова крайне доходчиво объяснила, чего она от меня ожидает. — К концу фразы мой голос почти утих — мне вспомнилась встреча с мадам, ее темные блестящие глаза, похожие на отполированную гальку, волосы, собранные в такой тугой пучок, что, казалось, было видно, как натянулась кожа у нее на голове. Она потребовала «не менее шести часов занятий в день, каждый день, здесь, в моей студии». Я не дрогнула. Я танцевала уже шесть лет, часто по многу часов в день. Сверкая глазами, мадам говорила о том, что я должна «подчинить себе свое тело» и быть готовой к тому, чтобы «заставить его превзойти свои физические возможности». Не менее пяти раз она упомянула слово «дисциплина». Ничего из этого я решила Киттен не пересказывать.

— Ты видела там Зельду Фицджеральд? — с любопытством спросила Киттен. — Ты с ней познакомилась?

Миссис Фицджеральд была известна своим американским «шиком» и бурным браком с американским писателем. В ее жизни всегда находилось что-то, о чем можно было посплетничать, и Киттен, будучи сама американкой, всегда знала последние новости.

— Мадам говорила, что с ней занимается миссис Фицджеральд. — Я задумалась, припоминая, что я знаю о Фицджеральдах. — Кажется, один раз они ужинали с моими родителями. А, да… мистер Фицджеральд пытался выброситься из окна. Я думаю, они оба немного сумасшедшие. Это правда? Они слегка ку-ку? Я не читала ни одной из его книг — совсем нет времени на чтение! Я слишком занята танцами. Как бы там ни было, она гораздо старше меня, но мадам не думает, что это проблема. — Я сделала большой глоток чая, приготовившись к новому кругу вопросов и осуждающих реплик Киттен.

— Как я слышала, она танцует по восемь часов в день и совершенно на этом помешалась. Ма рассказывала, что она была прекрасной балериной в детстве, еще в Алабаме. — Киттен многозначи-

тельно взглянула на меня. — А ты когда-нибудь занималась балетом?

— Ты же знаешь, что нет, — ответила я. — И ты сказала, что поддержишь меня в любом моем начинании.

— Я просто думаю, что ты больше гимнастка, акробатка. Прости, дорогая. — Киттен потянулась ко мне и обняла. — Я уверена, у тебя прекрасно получится все, что бы ты ни задумала. Я не такая храбрая, как ты, во мне нет этого духа приключений. — Она подавила вздох и продолжила: — Кстати, о приключениях… Как продвигается твой роман?

— О, Киттен. — Я сжала ее руки. — Ведь это Беккет придал мне сил все изменить.

— Он считает, что тебе необходимо сделаться балериной? — Брови Киттен поползли вверх, до самой челки.

— Нет, глупышка! Меня вдохновляет моя любовь к нему и его любовь ко мне. Я чувствую себя так, будто могу свернуть горы. Знать, что он у меня есть… что кому-то я на самом деле небезразлична… Я не могу этого объяснить. Тебе непременно нужно влюбиться, Киттен. — Какая жалость, что я не могу объяснить ей это более внятно, рассказать, как сияющая вдали воз-

можность полного освобождения толкает меня вперед, подстегивает, придает мне смелости и уверенности.

— Тебе так повезло. — Киттен грустно посмотрела в окно гостиной. — Твой папа — знаменитый во всем мире писатель, тебя любит высокий, привлекательный мужчина, а теперь еще и Мадика хочет сделать из тебя известную танцовщицу.

— Все не так уж и прекрасно. — Я помолчала и глотнула чаю. — Джорджо связался с замужней женщиной, которая по возрасту годится ему в матери. Никто об этом не знает. Но я решила, что тебе следует сказать. Мне так жаль, Киттен.

— Я чувствовала, что не интересую его. Девушки всегда такое чувствуют. — Она пожала мне руку. — Но вы по-прежнему близки, как раньше?

— Нет. — Я прикусила губу. — Он, кажется, так и не простил мне, что я не вышла замуж за Эмиля. И мне не нравится эта женщина, с которой у него интрижка. — Я понизила голос. — Она пыталась флиртовать с баббо, когда работала на него. Прямо здесь, под носом у мамы.

— Твой папа никогда бы на это не пошел! Он жить не может без твоей мамы! Но скажи мне, какая она, новая возлюбленная Джорджо?

— Старая. У нее лицо как печеное яблоко. Но она

очень и очень богата. Ее отец нажил состояние, торгуя кастрюлями и сковородками в Америке, и теперь она тратит его на Джорджо. Мама умрет, если узнает. — Я подавленно покачала головой. — Она ненавидит разведенных женщин и всегда была без ума от Джорджо.

— Что ж, обо мне можешь не беспокоиться. У меня есть пара поклонников, которые только и ждут, как бы отвести меня куда-нибудь поужинать. — Киттен встала, разгладила юбку и добавила: — Гораздо больше меня тревожишь ты. Я не хочу, чтобы ты этими танцами уложила себя в могилу во цвете лет, как выразилась бы моя мама.

— Я все решила. — Я встала на кончики пальцев и сделала пируэт, раскинув руки. — Мне нужна настоящая, правильная основа.

Глава 10

Июнь 1929 года

Париж

В автобусе было накурено так, что не вздохнуть. Все смеялись и говорили разом. Каждый, кто не затягивался сигаретой, был занят беседой. Солнце светило в окна и добавляло всем радостного, приподнятого настроения.

— Мадам Егорова будет в ярости, что я не явилась на урок, — прошипела я на ухо маме, которая сидела рядом со мной, разглядывала свои ногти и жаловалась на нестерпимую духоту. — Меня здесь быть не должно. Я должна танцевать. — Я замолчала и прислушалась к разговорам позади. Беккет молчал. В уши лез только назойливый голос мистера Макгриви, который болтал без остановки.

— Лючия, хватит, мы уже об этом говорили. Это большой день для Джима, и он хочет, чтобы его семья была с ним. Один день без занятий тебя не убьет, так я считаю. — Мама отвернулась к окну.

— У танцовщиц не бывает выходных. Ну как

ты этого не понимаешь? — От бессилия я даже заскрипела зубами. — Куда именно мы едем? Я смогу позаниматься там?

— Как ты знаешь, это идея мисс Бич. Так что прекрати обвинять во всем меня. Твой отец сказал, она нашла место, где мы сможем пообедать, возле Версаля, и называется оно не то отель «Блум», не то отель «Леопольд»[16]. Один Бог знает, сколько она его искала. Так что скажи спасибо, что это всего лишь в Версале, а не в Тимбукту.

Да, старая добрая мисс Бич! Где бы мы были без мисс Бич? Без ее книжного магазина и бесплатной библиотеки — и бесконечного кредита, что она предоставила баббо… и ее преданности ему. Это действительно была ее мысль — отпраздновать выход «Улисса» во Франции в тот самый день, в который происходит действие романа. Она же разыскала и автобус и разослала приглашения. И проследила за тем, чтобы все французские переводчики «Улисса» присутствовали на торжестве, а также и все «льстецы» баббо. Она назвала это «Déjeuner Ulysse»[17]. К моему раздражению, в

---

[16] Примечания: 16

Леопольд Блум — имя главного героя романа Джеймса Джойса «Улисс».

[17] Примечания: 17

«Обед Улисс» *(фр.).*

список гостей попала и миссис Флейшман, чьи громогласные разглагольствования разносились на весь автомобиль. Она изо всех сил старалась снискать расположение прочих поклонников баббо.

Когда мама отвернулась, я воспользовалась возможностью и взглянула на Беккета. Я была так занята уроками, что мы едва виделись после фестиваля танца. Когда у меня все же было немного свободного времени, я все время думала о нашем уроке чарльстона — выбирала музыку, вырабатывала особые «учительские» интонации и пыталась придумать, как выставить маму и баббо из дому хотя бы до обеда.

Он сидел на своем месте, красивый и немногословный, как всегда, курил и кивал, слушая трескотню мистера Макгриви. Сделает ли он попытку поцеловать меня сегодня? Следует ли мне найти способ остаться с ним наедине? Подальше от всевидящих глаз мамы и баббо, от любопытных взглядов «льстецов», от нежностей Джорджо и миссис Флейшман? Если уж я пропустила урок у мадам Егоровой, стоило извлечь из этого хоть какую-то пользу — немного подтолкнуть вперед наш роман с Беккетом.

В отеле «Леопольд» нас ждал длинный стол в

ресторане, специально оставленный для нас. Я намеревалась сесть рядом с Беккетом и поэтому подождала, пока сядет он. А затем я полезла едва ли не по головам, чтобы успеть занять соседнее место. Я пихнула локтем мистера Макгриви и так сильно толкнула мисс Бич, что соломенная шляпа сползла ей на нос. И тем не менее я опоздала. Хелен Флейшман скользнула вперед и поставила свою усеянную золотыми бусинами сумочку на свободный стул рядом с ним. Она явно искала кого-то, высокомерно задрав подбородок, как умеют делать только богатые. Я заметила, как она поймала взгляд Джорджо, слегка помахала рукой — сверкнули бриллиантовые кольца — и подозвала его к себе.

Весь обед я просидела между двумя «льстецами». Они перебрасывались репликами через меня, обращая на меня внимание лишь в том случае, когда разговор заходил о названии книги, над которой работает баббо. Естественно, они пытались вызнать у меня ее название. Или хотя бы намек.

— Я не знаю! — завопила наконец я.

Несколько человек оторвались от супа и странно на меня посмотрели. Мама глазами просто пригвоздила меня к стулу. Я схватила ложку и

сделала глубокий вдох. Я пожертвовала занятием с мадам Егоровой, чтобы просидеть бог весть сколько в автобусе рядом с мамой, чтобы за обедом меня игнорировали двое пожилых противных мужчин и чтобы меня опередила Хелен Флейшман. Каждый раз, глядя на место, на котором должна была сидеть, я видела, как она надувает губки и строит нежные гримасы Джорджо или истерически хохочет над чем-то, что сказал Беккет. И это меня удивляло, поскольку Беккет, как я уже упоминала, обычно бывал довольно молчалив. Даже баббо как-то назвал его «человеком, который не проронит лишнего слова». Но сегодня он, очевидно, отпускал шутку за шуткой, судя по нескончаемому мерзкому хихиканью миссис Флейшман. Мне нужно было подобраться к нему поближе. Спасти его от этой особы и ее хитрых уловок, пока его не ослепил блеск ее бриллиантов.

После обеда мы все выстроились, чтобы нас сфотографировали. В центре, разумеется, находился баббо, за ним стояла мисс Бич. Я решила встать за мамой, но тут прямо передо мной втиснулась миссис Флейшман и облокотилась на высокого «льстеца», совсем закрыв меня от фотографа. Внезапно меня охватила такая ярость, что я подняла

руку и выдернула прядь волос, выбившуюся у нее из пучка. Я была так шокирована собственной злостью и безрассудством, что это, вероятно, отразилось на моем лице, так что, когда миссис Флейшман обернулась, она даже не подумала, что это могла сделать я.

— Ты видела, Лючия? — удивленно сказала она. — Кто-то только что дернул меня за волосы!

— Какой кошмар, — согласилась я и многозначительно взглянула на знаменитого поэта, что стоял слева от меня.

Фотограф начал кричать, чтобы все замерли и посмотрели в объектив. Я с беспокойством поискала Беккета, но его нигде не было.

В конце концов мы снова направились к автобусу, чтобы вернуться в Париж. Беккета все еще не было.

— Баббо, — сказала я и потянула его за рукав. — Беккета нет. Мы не можем уехать без него.

Он прищурился и посмотрел на «льстецов», выстроившихся в очередь у автобуса. Первой была конечно же миссис Флейшман, выставив в ослепительной улыбке свои розовые десны и фарфорово-белые зубы. За ней переминался с ноги на ногу Джорджо, выпуская из губ кольца сигаретного дыма.

— Мистера Макгриви тоже нет, — заметил баббо. — Иди и вытащи их из бара. Скажи, что если они не явятся сейчас же, то будут позорно покинуты.

— Из бара? — глупо переспросила я.

— Ты найдешь их в баре. — Понимающая улыбка тронула его губы. — Они ирландцы, Лючия. И любят промочить горло.

В баре отеля никого не оказалось. Официант предложил мне попробовать поискать пропавших в кафе за углом, «вон в том, со скатертями в красно-белую клетку». Он показал мне, куда идти, и я поспешила туда, думая, а не это ли тот самый шанс остаться с Беккетом вдвоем и… От предвкушения мое сердце забилось быстрее.

В самом кафе было пусто. Однако в дальнем конце помещения владелец, в грязном белом фартуке, разливал бренди в округлые бокалы. Я услышала Беккета и мистера Макгриви прежде, чем увидела их. Они пели ирландскую песню, громко и довольно фальшиво. Я завернула за угол кафе (которое имело странную форму, в виде буквы L) — и оба предстали прямо передо мной, уронив головы на стол и продолжая мычать свою песню в скатерть. По мне пробежала дрожь разочарования.

Беккет прекратил петь и поднял голову.

— Когда мы будем танцевать, чудесная Лючия? Лючия… Чудесная Лючия!

— Garcon! Où sont les cognacs?[18] — воскликнул мистер Макгриви.

— Автобус уезжает, — обиженно произнесла я.

Я еще никогда не видела Беккета пьяным и не знала, что мне делать. Конечно, случалось, что баббо, шатаясь, вваливался в дом уже под утро. Я просыпалась от грохота перевернутых столов и стульев, на которые он натыкался и падал. Его трость с металлическим кончиком громыхала по деревянному полу. И он распевал ирландские баллады — всегда ирландские баллады. Потом появлялась мама и с большим трудом запихивала его в спальню.

— Вы идете? — Я встала у стола, скрестив на груди руки, как мама, когда баббо напивался.

— Нет, пока ты не поцелуешь меня, чудесная Лючия. Нет, пока ты не покажешь мне, как танцевать чарльстон. Ты обещала. — Голова Беккета склонилась к столу, но он быстро поднял ее, когда владелец кафе принес еще два бокала бренди.

— Вы считаете, это разумно — выпить еще

---

[18] Примечания: 18
Официант! Где коньяк? *(фр.)*

бренди?

Я решила, что сейчас не лучшее время для развития романтических отношений. Его глаза остекленели и не могли сфокусироваться, тело обмякло, как у тряпичной куклы. Может, мама все-таки права в том, что все мужчины-ирландцы — пьяницы? Нет, мне не хотелось в это верить. Только не Беккет. Сегодняшний день просто случайность. Это мистер Макгриви его соблазнил. А Беккет не умеет пить, у него некрепкая голова. Он к этому не привык.

Мистер Макгриви залпом проглотил свой бренди и мурлыкал какую-то мелодию, без всякого мотива. Беккет тоже поднес бокал ко рту и опрокинул внутрь содержимое.

— Давай же, Лючия, всего один поцелуй… Один маленький поцелуй!

Он встал и качнулся ко мне. Испугавшись, что сейчас он упадет на каменный пол и разобьет голову, я развела руки и позволила ему упасть на себя, радуясь, что обладаю силой танцовщицы и могу его удержать. У него было жилистое и мускулистое тело, но вялое и ватное. Его голова покоилась у меня на груди. Он оперся о меня, и я почувствовала, как в мой живот вдавливаются выпирающие кости его бедер. Как долго я ждала

этой минуты! Но вместо радостного волнения я не ощущала вообще ничего. Я была озабочена лишь тем, чтобы не дать Беккету свалиться. Я как раз пыталась устроить его на стуле, что было чертовски трудно, когда вдруг раздался стук каблуков и голос мамы над моим ухом.

— Иисус милосердный! Это что ж тут такое творится? — Она удивленно огляделась. — Так, джентльмены. Время отправляться. — Она шлепнула мистера Макгриви по щеке, подхватила Беккета под мышки и потащила его от кафе к автобусу. — Вечно одно и то же, чертовы ирландцы. Пусть это станет для тебя уроком, Лючия. Почему мужчин так тянет к выпивке? А ирландцев — так больше всех.

Я видела лица людей, наблюдавших из автобуса, как мы с мамой, гримасничая, волокли Беккета по траве. Мистер Макгриви, спотыкаясь, брел за нами, пытался вытереть лоб платком и пел. Баббо и Джорджо показывали на них и хохотали, но я заметила в их глазах отвращение и гнев. Мисс Бич выглядела особенно кисло.

Мама усадила Беккета рядом с собой. Он уткнулся в оконное стекло и забубнил что-то об уроке танцев, который я ему обещала. То и дело его голос повышался, и я слышала слово «чарльстон»

и свое имя. Мама тесно сплела руки на груди и только сверлила пространство перед собой яростным взглядом. Через двадцать минут езды Беккет прекратил бормотать, открыл глаза и завопил водителю, чтобы тот остановился.

— Теперь-то что не так, боже ты мой? — спросила мама.

— Зов природы, миссис Джойс. Эй! Остановитесь!

Мама встала, покачиваясь, прошла по проходу к водителю и сказала ему несколько слов. Он кивнул и минутой позже свернул в маленькую деревеньку и остановился. Беккет сделал попытку подняться, но снова рухнул на сиденье.

Мама с отчаянием покачала головой и подняла его вверх, ухватив за запястья. Каким-то чудом она провела его по проходу и без церемоний выпихнула из автобуса:

— Счастливого пути!

Она произнесла это так громко, что некоторые из «льстецов» подтолкнули друг друга локтями и ухмыльнулись.

Когда она возвращалась на свое место, водитель завел мотор и выехал на дорогу. Я подумала, что он ищет, где бы ему развернуться, но он все ехал и ехал вперед, и я поняла, что мы возвраща-

емся в Париж. Автобус набрал скорость.

— Стойте! — закричала я. — Мы забыли мистера Беккета. Нужно вернуться и подобрать его.

Хотя пьяный Беккет и разочаровал меня, я видела достаточно пьяных людей и понимала, что это временно. И, кроме того, это был *мой* Беккет, *моя судьба,* и он станет прежним, как только из него выйдет алкоголь.

— Ох, Лючия, да тише ты. Он позорит себя своим поведением, и лучше ему делать это, когда никто его не видит. И во всяком случае, никто не желает, чтобы он тут сидел. Клянусь всем на свете, я думала, что его вот-вот вырвет на мое новое платье. — Мама старательно разгладила складки.

— Но… но… он же не знает, где находится. У него, вероятно, нет денег. Мы не можем взять и просто так его оставить! Что, если с ним что-нибудь случится!

— Ох, прекрати ныть, девочка. — Мама поудобнее устроилась на сиденье. Потом понизила голос и добавила: — Что за стыд! Так волноваться за него, когда он всего-то выпил лишку!

Я открыла рот, да так и замерла. Все упреки в отсутствии милосердия застряли у меня в горле. Из него не вылетело ни звука. Я слышала, как друзья

баббо смеялись и отпускали шутки насчет Беккета. Сильвия Бич уверяла отца, как ему повезло заполучить такую супругу, как мама. «Льстецы» делали ставки — как скоро Беккет доберется до Парижа. Водитель автобуса что-то насвистывал. Но все это не имело значения. Слова мамы стояли у меня в ушах. Что-то в них заставляло меня чувствовать себя грязной и убогой. Внутри у меня все переворачивалось, в животе было горячо, и его будто кололи ножами. Неужели я сделала что-то не так?

— Не беспокойся ты о нем. — Теперь голос мамы был ласковым и успокаивающим. — Он будет на месте завтра, вот увидишь. Но тебе стоит перестать по нему вздыхать, вот что я хотела до тебя донести. — Она сжала мою руку.

Я взглянула на нее, пораженная этим незнакомым мне проявлением нежности. А потом она сказала нечто, чего мне никогда не доводилось слышать от нее раньше. Даже сейчас, много лет спустя, я иногда думаю, что тогда мне все почудилось.

— Ты сейчас выросла и стала такой красавицей, Лючия.

И это меня тревожит — ты так похожа на своего отца. — Она несколько раз сокрушенно при-

щелкнула языком и продолжала: — Никогда не беспокойся о мистере Беккете. Он взрослый мужчина и сам может о себе позаботиться.

И она, конечно, оказалась права. На следующий день, ровно в пять, Беккет прибыл к нам, чтобы читать баббо. Я ждала его у парадной двери — мне не терпелось узнать, все ли с ним в порядке. Он немедленно принес свои извинения и робко спросил, рады ли ему еще на Робьяк-сквер. Я заметила, что он держится по-другому. Его плечи ссутулились, голова поникла, словно он не в силах был вынести свое бесчестье.

Я улыбнулась:

— Я рада, что вы вернулись и у вас все хорошо, мистер Беккет… Сэм.

— О, это заняло совсем немного времени. Я протрезвел и пошел обратно пешком. В Ирландии я не пил так много. — Он посмотрел на свои туфли и пожевал нижнюю губу. — Находясь в компании людей, я нервничаю. В толпе я вообще сам не свой. Я лишь хотел немного выпить, чтобы успокоиться. И непременно должен извиниться перед вашей матерью. — На его скулах расцвели два красных пятнышка, и я осознала, что, признавшись мне в том, что его тревожит, он немного приоткрыл мне душу. Никогда еще он не говорил

так откровенно о своих чувствах и ощущениях.

— Мама думает, что все ирландцы — пьяницы. Вы сами видели, каким ястребиным взглядом она следит за баббо. — Я показала на кухню и старательно-небрежно произнесла: — Она там.

Беккет отправился искать маму, а я вспомнила, как вчера он просил меня поцеловать его. Выпитое развязало ему язык, и он умолял меня о поцелуе, умолял потанцевать с ним. А сейчас, наконец, он рассказал мне о своих самых глубоко скрытых страхах. И в тот момент я не просто слышала Беккета — я его чувствовала. Я поднялась на мысочки и сделала фуэте. Моя шелковая юбка закрутилась вокруг моих ног, руки едва виднелись в полутемном коридоре. Он любит меня, прошептала я «счастливому» греческому флагу. Он любит меня!

Несколько дней спустя я выходила из студии мадам Егоровой и наткнулась прямо на миссис Фицджеральд. Она вспыхнула и распахнула глаза.

— Дочь того самого Джойса? — протянула она и окинула меня взглядом с головы до ног. — Вы дочь Джеймса Джойса? Я Зельда Фицджеральд. Я слышала, что вы тоже здесь занимаетесь.

— Только что начала. — Я глубоко вздохнула.

Воздух одуряюще пах цветущими липами. Липкие желтые соцветия усеяли весь Париж. И в студии мадам Егоровой было очень душно.

— Ваши родители ужинали с нами в прошлом году. — Миссис Фицджеральд изогнула шею и заглянула мне через плечо. На секунду мне показалось, что она разговаривает не со мной, а с кем-то еще. — Они вам рассказывали?

Я кивнула.

— Скотт — мой муж — предложил выпрыгнуть из окна в честь вашего отца. Он его боготворит, можете мне поверить. Великий Джеймс Джойс! — Миссис Фицджеральд принялась рыться в сумке. — Каково это — быть дочерью гения?

— Неплохо — большей частью… — Я замолчала. Беспокойная возня миссис Фицджеральд действовала мне на нервы.

— Ну да, но вы всего лишь его дочь, верно? Лично я ненавижу быть женой гения, хотя Скотт пока еще только восходящая звезда. И разумеется, я сама собираюсь стать гениальной балериной.

Из ее сумочки посыпались вещи. Серебряный патрон с губной помадой покатился к сливной решетке; я бросилась к нему, чтобы поднять, но миссис Фицджеральд остановила меня, сказав, что этот цвет ей все равно никогда не нравился.

— Вы обязательно должны зайти к нам когда-нибудь. Возможно, мы даже позанимаемся вместе? Мы уезжаем в Канн в следующем месяце, но скоро вернемся. Мадам Егорова, разумеется, вне себя! — Миссис Фицджеральд пронзительно и чуть визгливо расхохоталась. — Приходите! Договорились?

Она стремительно развернулась и умчалась прочь. Ее шарф из золотистого шифона развевался позади нее, как серпантин.

Мне хотелось задать ей столько вопросов, но лишь позже я осознала, какой скованной делало меня ее присутствие и до чего ее нервозность и чрезмерная энергичность выбивали меня из колеи. По дороге к дому я размышляла над ее вопросом. Быть дочерью гения, думала я, — это все равно что быть молодым побегом, который пробился сквозь землю слишком близко от огромного старого платана. Молодые слабые корни побега борются, пытаются добраться до воды, но корни платана глубже, мощнее, их томит более сильная жажда. Побег вырастает высоким и тонким, он тянется к свету, но густая крона платана забирает почти все солнце себе. Потом приходит осень, платан сбрасывает листья, и они хоронят под собой молодой побег.

Я не могла перестать думать о моей аналогии. Меня жгла необходимость с кем-то все это обсудить, но я знала, что Джорджо не поймет. С того момента, когда мы ненадолго снова почувствовали себя близкими друзьями, как в детстве — в вечер его дебюта, — больше ничего похожего не происходило. Миссис Флейшман снова завладела им. А он вернулся к своему новому «я» — холодному и материалистичному. Мне нужен был кто-то, знакомый с семьей Джойс и ее проблемами.

Когда Беккет в тот день пришел читать баббо, я ждала его в прихожей. Он удивился — я держалась за дверную ручку и открыла ему прежде, чем он успел позвонить. Я схватила его за руку и передала свой разговор с миссис Фицджеральд.

— Фицджеральд — хорошая ирландская фамилия, — заметил он.

— Вы бы слышали все истории, что о них рассказывают, — торопливо проговорила я. — Они постоянно устраивают вечеринки, и она прекрасно одевается, и Киттен говорит, что в Нью-Йорке она творила совершенно безумные вещи и постоянно попадала в газеты. А теперь мы вместе занимаемся у мадам.

— Я видел миссис Фицджеральд в книжном магазине у мисс Бич, — заметил Беккет.

— Так вот, дело в том, что она спросила меня, каково это — быть дочерью гения. И мне в голову пришла довольно удачная аналогия: я — молодой побег в тени баббо — старого мощного платана.

— Но разве не все дети похожи на юные побеги, в то время как все родители — большие сильные деревья? — По лицу Беккета промелькнула тень. — Разве не поэтому мы и пытаемся их покинуть?

Я нахмурилась. Что он пытается мне сказать? Что мне пора оставить родителей? Выйти замуж, возможно?

— Вы можете посмотреть на вашу аналогию и по-другому, — произнес он, понизив голос почти до шепота, как будто собирался поделиться со мной тайной.

— Как это — по-другому?

— Листья старого платана отмирают и опадают, окутывают молодой побег, перегнивают и превращаются в компост, который питает его и помогает расти. — Он помолчал. Его лоб собрался в складки. — А когда налетает ливень или яростная гроза, платан защищает юный побег. Может быть, даже спасает ему жизнь. И потом — когда приходит лесоруб, молоденькое деревце ему не интересно. Ему нужен платан, из которого вый-

дет превосходный паркет.

Он смеется надо мной? Я прищурилась — в прихожей было почти темно — и разглядела его серьезные, даже несколько мрачные глаза, рот без тени улыбки, нахмуренный лоб. И осознала, что все еще держу его за руку, словно он может попытаться сбежать, а я ему не даю.

— Но если старый платан упадет, он конечно же сломает молодой побег?

— Только если свалится прямо на него. А если побег совсем маленький, этого с большой вероятностью не случится. Побег — это отпрыск платана или крылатое семечко, кружащееся в воздухе? — Беккет не отнимал у меня руки, и я чувствовала прикосновение коротко остриженного ногтя его большого пальца к своей ладони.

— О… отпрыск, да. Дитя большого дерева.

— Ага. Гениальный отпрыск гениального дерева, возможно?

Издали раздались шаги и голос матери:

— Лючия, ты впустила мистера Беккета? У Джима там гора книг с Эйфелеву башню, и все их нужно прочитать, если ты не забыла.

— Сэм, — торопливо прошептала я. — Можем мы выпить чаю на следующей неделе?

— В воскресенье, — ответил он и высвободил

руку. — Два молодых побега выпьют чаю вдали от старых платанов. Вы отменили мой урок танцев после того, как я отвратительно повел себя на днях? — Он потер переносицу, и на его шее проступили красные пятна.

— Конечно же нет. Но ваша комната для этого слишком мала. Мне нужно улучить подходящее время, когда никого не будет в гостиной. — При мысли о том, как его руки обовьются вокруг моего тела (наконец-то!), меня словно наполнили воздухом. Я вдруг стала легкой-прелегкой. Я могла бы взлететь вверх, как воздушный шарик. И мне пришлось снова положить ладонь ему на локоть, чтобы удержаться на земле. — Я не забыла о своем обещании. Можете быть уверены.

Пока я ждала назначенного воскресенья, у меня в голове начал постепенно складываться танец — композиция, основной темой которой должны были стать старый платан и молодой побег. Гуляя в Люксембургском саду, я пристально вглядывалась в качающиеся ветви деревьев и в их трепещущие листья. Я наблюдала за тем, как на небе сгущаются тучи и как рябь дождя покрывает поверхность озера для катания на лодках. Я нашла особенно красивый древний каштан и часто гладила его сморщенную, грубую кору.

Как мне превратить надежность и устойчивость толстого дерева в танец? Проходя мимо Сены, я смотрела на течение реки. И это тоже станет частью хореографии танца.

Придя домой, я делала заметки и рисовала наброски того, что увидела. Мне хотелось соединить воедино балет, эвритмию, фламенко и джаз. Интересно, захочет ли миссис Фицджеральд станцевать со мной дуэт? Или, может быть, Киттен? И могу ли я попросить Эмиля сочинить для меня музыку?

И хотя я пока не решила, кто будет участвовать в танце или кто придумает для него музыку, я точно знала, как он должен окончиться. Это я продумала полностью. Молодой побег должен умереть. Передо мной стоял образ грандиозного финала — медленного танца смерти, в конце которого юное деревце теряет силы и застывает, а платан остается таким же высоким, крепким и гордым, как вначале. Тем не менее это будет не битва, не сражение, воплощенное в движение. Это будет долгая борьба за выживание, итог которой останется неясным до самого конца. Сработает ли моя идея? Смогу ли я это сделать?

В этот раз Беккет купил печенье «Мадлен» и настоял на том, чтобы мы обмакивали его в

липовый чай.

— Так делал Пруст, — объяснил он. — Это пробуждало его детские воспоминания.

Но я не хотела пробуждать свои детские воспоминания, поэтому кое-как устроилась между жестких пружин дивана и спросила Беккета, нет ли у него интересных новостей. Зеленые ставни на окнах были распахнуты настежь, и прямо передо мной высился огромный каштан в полном цвету; роскошные розовые фонарики соцветий пробивались сквозь блестящую листву.

— Да. Скоро издадут мой первый рассказ. — Он долил в мою чашку липового настоя, придвинувшись при этом чуть ближе.

— Мои поздравления! Не знала, что вы пишете.

— Последние несколько месяцев я писал и прозу, и стихи. Ваш отец вдохновил меня, как и пребывание здесь, в Париже. — Он кашлянул и признался: — Я хочу стать писателем.

— О, это великолепно! — Я заволновалась. Наши судьбы сплетались все теснее, срастались в самых непредвиденных местах. В какое-то безумное мгновение я представила себя его музой. Об этом ли говорило мое предчувствие? Что мне суждено стать его музой, а не женой? Или и тем

и другим? Я быстро отогнала эту мысль. Нужно было сосредоточиться на том, что он говорит.

— Я собираюсь закончить свое изучение творчества Пруста и продлить контракт в Эколь еще на год. А потом буду умолять мать дать мне денег. — Он окунул мадленку в чай и грустно уставился на нее.

— А что, если она откажет?

Должно быть, он расслышал неподдельную тревогу в моем голосе, потому что сразу же рассмеялся:

— Тогда мне нужно будет очень быстро написать роман и очень быстро найти издателя. То, что мой рассказ приняли в журнал, позволяет мне надеяться на лучшее.

— А какого рода ваши рассказы? В них есть персонажи и сюжет?

Беккет снова засмеялся:

— Сомневаюсь. К счастью, ваш отец освободил нас от этих тиранов.

— Так о чем вы будете писать? — Я мило улыбнулась, чтобы скрыть свои мятущиеся мысли. Может, он напишет обо мне? О моих танцах? О любви?

— Не знаю… об одиночестве, потерянности, страдании, увядании, безумии…

— О, Сэм, как это ужасно! Кто захочет об этом читать? — Моя улыбка задрожала. Как я могу быть музой для… такого?

— Это достаточно обычные, распространенные темы. — Он несколько нервно глотнул чаю и поставил чашку с блюдцем на полное собрание сочинений Шекспира, которое использовал как еще один столик. — Я хочу проникнуть под поверхность… исследовать пустоты в душах людей… показать, что жизнь может быть такой драгоценной и в то же время не стоить ничего. И я добавлю юмора, так что все это не будет очень уж печальным.

— Такой драгоценной и в то же время ничего не стоить… — медленно повторила я, ощущая на языке ритм этих слов. Возможно, я смогу помочь ему с теми кусками, где жизнь представляется драгоценной.

— Я стал одержим ритмом слов и словосочетаний, их эхом, отражением друг в друге. Это влияние вашего отца. — Он умолк и уперся невидящим взглядом в пространство перед собой.

Я подняла тетрадь, которая валялась на полу возле дивана.

— Это ваше? Могу я что-нибудь прочесть? — Меня одолевало зудящее любопытство. Будет

ли работа Сэма похожа на книгу, над которой работает баббо, — где полно рифм, и игры слов, и странных, соединенных вместе слогов, лишенных смысла?

— Это пока только заметки! — Рука Беккета метнулась ко мне, как будто он хотел выхватить тетрадь, но я уже открыла ее и вчитывалась в тщательно выстроенные в столбик слова и фразы. Многие из них были помечены аккуратной галочкой.

V Сплюснутая летучесть
V Двусторонний делимый дождь
V Обожающая дочь обожествляет обожание
V Пуделеобоняющий, лисьекрадущийся разврат
V Седые волосатые седоволосые ночи без шлюх
V Растущая звенящая беззвучность

Проглядывая страницу, я попыталась, чтобы на моем лице ничего не отразилось. Творчество Беккета один в один напоминало работы баббо. Пальцы Беккета сомкнулись на тетради, и он, в своей отстраненно-вежливой манере, деликатно потянул ее на себя.

— Это из книги, над которой работает баббо?

— Это фразы, на которые я наткнулся, и они мне

понравились. Могу я взять ее? — Он пошевелился, и пружины дивана тут же пришли в движение.

Я выпустила тетрадь. Он торопливо задвинул ее поглубже под диван — туда же, где хранились и прочие его труды и толстенные пыльные пачки писем. Однако увиденное только разожгло мой аппетит.

— А для чего там галочки?

— Ими я помечаю фразы, которые уже использовал, чтобы случайно не употребить их дважды.

— Мне понравилась «растущая звенящая беззвучность». Я могла бы под это танцевать.

Я ощущала, что слова змеятся между нами, словно нечто живое и дышащее, сладострастное и гибкое. Странная мысль мелькнула у меня: возможно, наши судьбы действительно сплетены, но для того, чтобы вместе работать. И это не имеет никакого отношения к браку. Может, я буду ставить танцы на его рассказы и стихи. А он — писать для меня слова, как Эмиль сочинял музыку. Возможно ли, что нас сводит вместе ради искусства, а не ради любви? Но затем мне вспомнился мой сон, тот, где мы оба были обнажены, и все маленькие, незаметные моменты физической близости — касания, прижимания и так далее. И мне пришло в голову, как холодно, безучастно,

даже с отвращением я принимала ласки Эмиля тогда, в Булонском лесу, и насколько другие ощущения охватывали меня рядом с Беккетом.

— А сейчас вы смогли бы?

— Да, думаю, да. Но могу ли я увидеть рассказ, из которого это взято? Вероятно, я сумею превратить его в танец.

— Я покажу вам его, когда он будет издан. — Одной рукой Беккет протянул мне тарелку с мадленками, а другой — вытер блестящее, порозовевшее лицо. — Я не слишком люблю говорить о себе. Или своей работе. Расскажите мне, что вы поделывали в последнее время.

— Я совершенно обессилена. — Я прилегла на диван и закрыла глаза. — Джорджо никогда не бывает дома, так что я вынуждена помогать и маме, и баббо. Вчера я занималась шесть часов, а потом мне пришлось идти с ними ужинать, хотя больше всего на свете мне хотелось принять ванну и рухнуть в постель. А потом, когда мы вернулись домой, я еще должна была написать письмо хирургу, делающему операции на глазах, хотя мои глаза уже сами почти не открывались.

— А ваша мать не может в этом помочь? — спросил Беккет. Его лицо приняло нормальный оттенок, и вообще, он заметно расслабился, после

того как закончилась возня с его тетрадью. Он растянулся на диване, такой длинный, и повернул ко мне голову. В этом отношении он совсем не похож на баббо, подумала я. Мой отец обожал говорить о своей работе, желательно в присутствии аудитории «льстецов», и чувствовал себя при этом совершенно в своей тарелке. Слава богу, мне не придется сражаться за внимание с армией поклонников Беккета.

— Она почти неграмотна. — Я едва не рассказала Беккету о списке покупок, что нашла на днях, где под «купить яблыки» было написано «зобрат улисов». Но я смутилась и промолчала. — Она не получила образования, — вместо этого пояснила я.

— В самом деле? Вообще никакого? — Беккет сочувственно покачал головой. Как и в прошлый раз, он все время совал мне тарелку с угощением.

— Мои родители не понимают, какая это привилегия, какая честь — быть ученицей мадам Егоровой. — Я взяла мадленку и внимательно ее осмотрела. Что-то в ее форме… или, возможно, желтая ребристая поверхность, напоминающая ракушку, снова заставило меня подумать о танцах. Я положила печенье на блюдце и нахму-

рилась. Это уже просто смешно. Я повсюду вижу движение. Даже в печенье. Со мной что-то не так? Киттен тоже смотрит на свиную отбивную и представляет себе возможный танец?

— Так что мадам Егорова? — напомнил Беккет.

— Ах да. Все танцоры «Русского балета» приходят к ней на уроки. И она почти никогда не берет новых учеников — только если уверена, что они обладают настоящим талантом.

— Вы говорили, она танцевала с Нижинским? — Беккет достал пачку сигарет и осторожно вставил одну в рот.

— Да, когда он еще не сошел с ума и не попал в психиатрическую клинику. — Мы затихли — я отпила глоток липового чая, а Беккет закурил. — Баббо все повторяет, что я могу стать переплетчицей, если мне сделается совсем невмоготу. Я думала, им больше понравится, если я начну заниматься балетом. Что для Ирландии это более приемлемо, чем современный танец. Но сейчас мне кажется, им просто претит, когда я танцую на сцене, перед залом, полным людей. Почему-то им от этого стыдно. Поначалу баббо был в восторге от моих успехов, но потом я почувствовала, что его отношение меняется. Мне пришло в голову, что классический балет не

интересует его в той же мере, что современные танцы. И поэтому он теряет интерес… ко мне, к моим танцам…

— М-м-м… балет, конечно, не настолько выразителен. И… и… чувственен. — Беккет смущенно закашлялся.

— Разве женщины в Ирландии не танцуют?

— О, они пляшут джигу… знаете, народные танцы. Но Айседору Дункан никогда не позвали бы на гастроли в Дублин. А Жозефину Бейкер точно посадили бы под замок. — Клубы дыма заслоняли от меня его лицо. Он разогнал его и добавил: — Ив вашем отце, и во мне очень силен дух Ирландии, но мы оба презираем ее мораль. И ирландцы могут быть очень жестокими.

Я кивнула. Мне хотелось спросить, действительно ли в Ирландии танцуют только потаскушки, как сказала мама. Но я не смогла верно сформулировать вопрос и поэтому промолчала.

— Ваш отец… что он обо мне думает? — Беккет «дал петуха» и уронил столбик пепла на рубашку. Он быстро стряхнул его, не поднимая глаз.

Удивившись, я немного поколебалась, прежде чем ответить.

— Он считает вас сыном, — наконец произнесла я. Уверенным тоном, как мне хотелось бы

надеяться.

— Мистер Джойс говорил, что он не любит никого, кроме своей семьи. Это правда? — Беккет глубоко затянулся и выпустил дым через нос.

Я опять кивнула.

— Он дружит с кем-то, только если этому есть причина. Он сам мне сказал. Настоящих друзей у него нет, только «льстецы». Так я называю людей, которые перед ним пресмыкаются.

Я взяла мадленку и откусила краешек. Какой странный разговор, подумалось мне. Почему Беккета так волнует мой отец? Он постоянно расспрашивает меня о нем, его крайне заботит его мнение. А теперь я обнаружила, что и пишет он в точности как баббо. Я краем глаза взглянула на него. Он лежал на диване и пускал в воздух кольца дыма. Вид у него был задумчивый и несколько угрюмый. Что бы мне такого сказать, чтобы вернуть прежний, более веселый настрой?

— Мы уезжаем в Англию на лето, — наконец выговорила я, стараясь переменить тему. И тут же вспомнила, что еще не сообщила об этом мадам Егоровой. Боже, как же ей об этом сказать? — Мадам меня убьет! Наверное, мне следует отказаться от путешествия.

— О нет, вы обязательно должны ехать. — Бек-

кет исподлобья посмотрел на меня. — Вы нужны отцу. Он и вправду настоящий гений, как утверждают все вокруг.

В рассеянности я принялась покусывать ноготь большого пальца.

— Вы видели меня в его книге, Сэм?

— Полагаю, образ Анны Ливии Плюрабель частично списан с вас. И Иззи, конечно. И он работает над отрывками о танцующих радужных девушках. И постоянно упоминает танцы.

— И поэтому я обязана делать то, что он хочет? Ехать, куда он хочет?

— О нет, — быстро поправился Беккет. — Я лишь хотел сказать — и, как всегда, выразился неловко, — что вы неотъемлемая часть его книги. Я не имел в виду, что вы должны… принести себя в жертву. — Он вытащил дымящуюся сигарету изо рта и бережно пристроил ее на край пепельницы. Струйки дыма поднимались к потолку.

Я собиралась небрежно пожать плечами — жест, означающий «что я могу поделать», когда это наконец произошло. Совершенно неожиданно Беккет быстро придвинулся ко мне и прижал свои губы к моим. Я чувствовала очертания его тела и вкус сигаретного дыма во рту. Я попыталась освободить руки, чтобы обнять его, показать,

что мое желание было столь же сильным, как и его, но он нечаянно прижал их собой, и у меня ничего не получалось. И странное ощущение надвигающейся беды заставило меня оставить свои попытки. Вместо этого я изогнулась, словно сопротивляясь, и Беккет мгновенно отодвинулся.

— О господи… Простите меня, Лючия. — Он вскочил, выхватил из пепельницы окурок и глубоко затянулся.

— Все хорошо, — заикаясь, пробормотала я, не зная, что делать дальше. Ах, ну отчего я была так неопытна в этих вещах? Почему вела себя как школьница? Почему я не обвила руки вокруг его шеи и не прижала его к себе? Что за неловкость на меня напала? Почему я вдруг стала противиться его прикосновениям?

— Я провожу вас домой. — Беккет направился к двери. Его щеки пылали, как маки.

Нет! Я открыла рот, чтобы сказать ему, что чувствую то же самое, что нам предназначено быть вместе… но раздался громкий стук, и внутрь просунулась голова мистера Макгриви.

— А, добрый день, мисс Джойс. Вы уходите? Я присоединюсь к вам, мне как раз по дороге. А именно — к вам домой. Сегодня я ужинаю с вашими родителями. Я провожу ее, Беккет. Можете

продолжать заниматься своим Прустом. Да, и у меня для вас кое-что есть. — Мистер Макгриви порылся в карманах. — Поэтому-то я и зашел. Консьерж никак не мог вас найти, и я сказал, что передам вам их лично в руки.

Пока мистер Макгриви обыскивал карманы, я пригладила волосы, оправила платье и постаралась успокоиться. Беккет, в очках, съехавших набок, и все еще со слишком румяным лицом, стоял у порога и нервно подергивался.

В конце концов мистер Макгриви вытащил из внутреннего кармана тонкую пачку писем.

— Еще письма от вашей тетушки из Германии. У нее превосходный почерк. — Он передал их Беккету с маленьким театральным поклоном. — Идемте, мисс Джойс.

На прощание Беккет, как деревянный, поцеловал меня в щеку — он привык к этому парижскому обычаю и теперь делал так всегда. Мистер Макгриви уже вышагивал по коридору, так что я улучила возможность быстро повернуться и подставить Беккету губы. Он снова покраснел и извинился, и вернулся к моей щеке — как будто это *он* совершил ошибку, а не я! О, как же я мечтала, чтобы он снова обнял меня и поцеловал!

— Думаю, я найду время для нашего с вами

урока танцев до того, как мы отбудем в Англию, — шепнула я.

Мистер Макгриви позвал меня из коридора.

Беккет посмотрел на письма, что держал в руке.

— Когда примерно вы это планируете?

— На следующей неделе. Во вторник днем. — Я знала, что мама и баббо отправятся на утреннее представление в театр, а у Джорджо будет урок пения, так что в доме никого не останется. — Вы сможете прийти?

Я должна была увидеться с ним еще раз. Обнять, перед тем как мы уедем. Если у меня ничего не получится, я не оставлю Париж и откажусь ехать в Англию с мамой и баббо. Я проживу лето здесь, с Беккетом и мадам Егоровой. По крайней мере, до тех пор, пока Беккет не отправится в Германию.

— Вас зовет мистер Макгриви. — Беккет кивнул в сторону коридора. — Увидимся в следующий вторник.

Когда мы возвращались домой, я полностью отключилась, чтобы не слушать болтовни мистера Макгриви, и думала только о Сэме. Моя неуклюжесть все испортила — опять! Я должна найти способ показать ему, что я чувствую на самом деле. Необходимо побороть свою нервозность, а

заодно и его застенчивость. Мы вместе отбросим все издержки нашего ирландского воспитания. Я выдвинула в сторону ногу, повернулась и сделала джазовый пируэт. Мистер Макгриви изумленно взглянул на меня, но я не обратила внимания. Как приятно, как прекрасно двигаться, потягиваться, вертеться, просидев, согнувшись, несколько часов на провисшем диване Беккета. И тут меня поразила — нет, ослепила мысль, так что несколько секунд я чувствовала себя ночным мотыльком, попавшим в свет ночной лампы. Наш урок танцев! Когда мы будем танцевать, то превратимся совсем в других существ — свободных, непосредственных, забывших правила и стыдливость.

Я вспомнила свой сон. Его позолоченную солнцем белую кожу, тело, приникающее к моему, его жар, руки, ласкающие мою грудь и бедра, свет, заливающий наши сплетенные обнаженные тела. Да, я сделаю так, что он станет реальностью. Чего бы мне это ни стоило, я сделаю его реальностью.

Глава 11

Июль 1929 года

Париж

Беккет и я стояли в гостиной, оглядывая комнату. В квартире больше никого не было. Дом, освободившийся от тяжелых движений мамы и печальных вздохов баббо, казалось, стал светлее, здесь легче дышалось, и в данный момент идеально подходил для урока танцев.

— Так мне больше нравится. — Беккет кивнул на результаты моих утренних трудов.

Я придвинула слишком пухлую мебель ближе к стенам, скатала режущий глаза своей яркостью китайский коврик и засунула его под диван, спрятала за дверью папоротники в горшках, откатила фортепиано и настежь распахнула занавески. Еще я до упора раскрыла ставни, и хрупко-голубое, нежное небо вошло в гостиную. На полу распластался светлый квадрат неяркого утреннего солнца.

— Вам не по вкусу гостиная моей матери? — с шутливым негодованием спросила я, думая,

приходилось ли ему видеть куда более модные и роскошные парижские квартиры. У Стеллы был ковер из шкуры зебры, и причудливые абажуры украшали лампы во всех ее комнатах, а миссис Флейшман как раз заново отделывала апартаменты в самом модном теперь стиле ардеко, с черными стенами и зеркалами где только можно.

— Я люблю свет. — Беккет посмотрел в окно и добавил: — И простор. Пустоту.

Я представила себе его неуютные комнаты с простыми полками, на которых книги стояли в алфавитном порядке.

— Значит, вы предпочитаете пустые помещения? — Я взглянула ему прямо в глаза, дерзко, вызывающе, и увидела, как от его шеи вверх стал подниматься пунцовый румянец.

— Я люблю, когда все опрятно и в полном порядке. — Он уперся взглядом в пол и переступил с ноги на ногу. Затем снова посмотрел на меня. — В этом вы занимаетесь на уроках?

Я кивнула и подумала, не стоит ли мне пошутить на тему тех огромных трусов для занятий, в которых он мельком видел меня тогда, в студии месье Борлина. Но вместо этого просто приподняла край своей короткой прозрачной юбки,

чтобы показать, насколько она не сковывает движения ног.

— Месье Борлину нравится, когда он может видеть наши тела. Так он может указывать те места, где мускулы напрягаются недостаточно. Но как правило, я не ношу чулок — сейчас я надела их из соображений приличий. — Но Беккет меня не слушал. Он таращился на мои ноги, и его щеки теперь тоже стали пунцовыми. — Так что же, вы готовы танцевать чарльстон? И почему мы так долго не могли этим заняться? Как вы вообще смогли жить в Париже, не умея танцевать? — Я надеялась, что мое бодрое щебетание избавит его от стеснительности. — Я сказала баббо, что собираюсь научить вас чарльстону, и он с нетерпением ждет, когда же увидит вас танцующим. Он сам прекрасный танцор, но ему никогда не удавалось овладеть именно чарльстоном. Не то чтобы это трудно — совсем нет. Это доступно каждому. Я обучила всех его «льстецов», хотя у многих из них совершенно нет чувства ритма. Все, что вам нужно, — энергичность. — Я замолчала и взглянула на Беккета. Он отошел к стене и прислонился к ней. Трудно было сказать, было ли ему из этого положения лучше видно мои ноги, или он впал в свое обычное состояние

ступора. Как-то он говорил, что иногда бессонница нагоняет на него нечто вроде летаргии. И хотя мне нравилась его медлительность, сейчас я подумала, что чарльстон, возможно, совсем не для него. — Мы можем начать с чего-нибудь более плавного, если вы предпочитаете? Вальс, может быть?

— О нет, — быстро ответил он. — Признаюсь, я несколько нервничаю. Но я хочу научиться чарльстону.

Я предложила Беккету сигарету из серебряного портсигара баббо, думая, что это поможет ему расслабиться. Необходимо, чтобы он «растанцевался», но как мне этого добиться, если он стоит у стены и робеет, не в силах выучить хотя бы несколько первых основных движений? Я снова исподтишка посмотрела на него — он возился с портсигаром, и лицо его по-прежнему оставалось красным. Тогда я решила завести граммофон и поставить пластинку. Музыка всегда создает нужное настроение.

Я покрутила ручку и осторожно опустила иглу на край пластинки. Раздался треск, а затем комнату наполнили ритмичные звуки ударных и бодрое фортепиано. Мое тело немедленно начало покачиваться в такт, ноги пришли в движение,

за ними руки. Кому не захочется танцевать под такую музыку? Но когда я повернулась к Беккету, его лицо выглядело еще более напряженным — как никогда, сказала бы я, и он в ажитации затягивался сигаретой. Я взглянула на его ноги. Разумеется, он отбивает ритм — иначе быть просто не может. Но нет. Его словно врыли в землю.

И тут мне в голову пришла замечательная идея. Озарение. Почему я не подумала об этом раньше?

— Я вернусь через минуту, Сэм. Постарайтесь впустить в себя музыку, позвольте ей струиться сквозь ваше тело. Почувствуйте ритм. — Я поспешила к двери, обернулась и добавила: — Чарльстон — очень быстрый танец.

Господи, что за глупости я несу. Да каждому известно, что чарльстон — быстрый танец. Но нервозность Беккета перекинулась и на меня, словно бы прокралась мне под кожу, и теперь заставляла меня дергаться и говорить чушь.

Я вошла в кабинет баббо и осмотрела книжные полки. Какую книгу для чтения он выбрал на этой неделе? Я напрягла память. Что же он просматривал последний раз? Ах да — словарь норвежского языка. Теперь я вспомнила точно, потому что он еще пробормотал что-то о том, какая редкость

эти словари норвежского, и спросил, не знаю ли я какого-нибудь норвежца, проживающего в Париже.

Я нашла полку, где баббо держал словари и справочники. Словарь норвежского весьма красноречиво выпирал вперед. Я вытащила его, и за ним оказалось то, что я и искала, — бутылка ирландского виски.

Помахивая ею, я вернулась в гостиную.

— Думаю, это должно помочь.

Беккет стоял точно на том же месте, где я его и оставила. Его окружало густое облако сигаретного дыма. Кажется, он не сдвинулся ни на дюйм, несмотря на музыку, которая так и звала за собой. Однако, увидев бутылку, он улыбнулся. Не привычной полуулыбкой, а настоящей, такой, от которой у него засветились глаза, и я заметила в них что-то вроде облегчения.

— Позже я куплю другую и заменю эту. — Я лихо глотнула прямо из горлышка, закашлялась, поперхнувшись, и предложила бутылку Беккету.

Улыбка на его губах исчезла.

— Я не могу пить лучший виски вашего отца. — Он даже слегка попятился к двери, как краб.

— О нет, это виски не баббо. Это Джордже Его не будет еще несколько дней. Это поможет вам

раскрепоститься, Сэм.

— Что ж, если это виски Джорджо… и если вы позволите мне самому купить ему другую бутылку взамен… — Он взял ее и тоже сделал большой глоток. Потом начисто обтер горлышко слегка замаранными чернилами пальцами и отдал мне.

Я поставила бутылку на фортепиано, надеясь, что алкоголь не произведет обратного действия и он не станет похож на неспособный передвигаться манекен. Я еще помнила, как мы с мамой вытаскивали его из кафе в тот день, когда вышла книга баббо, какой тяжелой казалась его голова, упавшая мне на грудь. Естественно, я не хотела, чтобы он снова напился — просто немного расслабился.

— Теперь начнем? Пусть музыка задаст вам нужный ритм. — Я положила ладони на его руки, чтобы придать ему правильное положение. По моим ощущениям, они были совершенно деревянными. Так что я опять взяла бутылку с виски и сунула ему. — Прикончите ее, Сэм. Для этого танца вам нужно двигаться совершенно свободно.

Он распахнул глаза.

— Что, всю?

— Я тоже немного выпью, а вы допьете. — Чтобы подбодрить его, я хлебнула виски, и комната,

непривычно голая, качнулась у меня перед глазами. Алкоголь застрял у меня в горле, будто горящие угли. Я постаралась заглушить жуткий кашель, прижав ладонь ко рту. Мне не хотелось, чтобы Сэм подумал, что я никогда в жизни не пила виски.

Последние несколько глотков он оставил мне. И в этот раз не стал вытирать горлышко. Я ощутила влажное тепло там, где его губы касались стекла, и облизнула его. Но во рту чувствовался только острый, обжигающий вкус алкоголя.

После этого все действительно изменилось. Виски ударил мне в голову, и я начисто забыла все те инструкции, что так долго репетировала. Я пыталась что-то выговорить, но слова застревали во рту и не шли наружу. Они складывались в мозгу, кралась по горлу, царапали голосовые связки и… застывали у губ.

— Каждый может танцевать чарльстон, Сэм, — еле выдавила я. — …Начните… начните… так: ноги на ширине плеч… Сэм… — Боже, буквы стояли у меня перед глазами, но мой язык парализовало.

— Речь нас подвела, — вдруг сказал Беккет, будто точно знал, что я сейчас чувствую. — Музыка может подействовать на человека мгновенно.

Порой даже довести до слез. И картина тоже. Подумайте, чего можно достичь одним лишь мазком кисти. Но не слова. Слова нас подвели.

Я кивнула и попыталась выровнять его руки и ноги. Мир вокруг плавился и стремительно терял контуры.

— Танец, движение — они говорят с нами напрямую. Как картины. Как музыка.

В то время как виски лишил меня дара речи, на Беккета он подействовал противоположным образом. Он наконец отбросил свою мрачноватую застенчивость, всегда окутывающую его, будто плащ. Он живо жестикулировал. Дымящаяся сигарета торчала у него между пальцами, но он не обращал на нее внимания. Левой ногой он постукивал в такт музыке.

— Большинство слов лгут, Лючия. Как мы можем понять что-нибудь об этом мире при помощи слов? Как мы вообще можем понять что-нибудь об этом мире и человеческом существовании?

И с этим странным вопросом ко мне вдруг вернулся голос, и комната перестала кружиться.

— Танцуя конечно же.

— Возможно, так. Танец честнее слов.

Беккет подошел к фортепиано. Сначала я подумала, что за бутылкой — уже опустевшей. Но он

снял с крышки метроном Джорджо и поставил его точно в центре гостиной. Внутри у меня затрепетало предвкушение. Алкоголь затуманил мне голову, и, пока все вокруг расплывалось, Беккет неожиданно сделался смелым и целеустремленным.

— Для чего это? — тщательно выговорила я. Слова выходили нечеткими, и мне не хотелось, чтобы он это заметил. Кроме того, я еще и очень волновалась.

— Помочь нам услышать ритм. Я думаю, мы должны начать без всякой музыки. — Он засучил рукава.

— Вы хотите танцевать под метроном? — изумленно уточнила я и моргнула.

— Да. — Беккет подошел к граммофону и снял иглу с пластинки. В комнате стало тихо. — Если мы будем танцевать не под музыку, то услышим и другие звуки тоже.

— Другие звуки?

— То, как наши ноги скользят по паркету, как поскрипывает моя щиколотка. В определенном положении у меня скрипит щиколотка на одной ноге. — Беккет нагнулся и принялся возиться с метрономом.

Он услышит мое дыхание, подумала я. Стук мое-

го сердца. А я услышу его. Этого ли он добивается? До чего же он привлекателен! Я смотрела на его спину и выступавшие под рубашкой позвонки, на тонкие нежные волоски у основания шеи, на веснушки, что усеивали его оголенные до локтей руки. Я уже почти вытянула руку и прикоснулась к нему, но он повернулся и спросил:

— Вы можете учить меня без музыки?

— Да. Да, конечно. — Я с усилием отвела глаза от его фигуры. Чертов виски! Ну где, где же все эти наставления, что я повторяла про себя сотни раз?

Беккет выпрямился. Метроном громко тикал.

— Я думаю, теперь все правильно. С чего мне начать?

— С рук. — Я выставила перед собой руки, ладонями наружу. Сосредоточиться! Я должна научить Беккета танцевать! Баббо обязательно пожелает посмотреть на результаты моих усилий. — Хорошо. Теперь двигайте ими вот так — и пусть ваши плечи тоже движутся, раскачиваются. — Виски играл во мне, и, не слыша музыки, я все равно чувствовала ее, и мое тело было гибким и податливым, как лента.

Беккет чуть двинул руками и улыбнулся.

— Ваши плечи все еще слишком напряжены. —

Я погладила их и почти ощутила, как их изгиб тает под моими горячими ладонями. — Свободнее. Выдохните. — Он выдохнул, и его плечи действительно опустились. — Вот так хорошо. Теперь попробуйте опять подвигать ими. Свободные, раскачивающиеся движения.

— Сейчас вы понимаете, что я имел в виду, Лючия? Насчет слов. Как они… неполноценны, несовершенны. Я знаю, ваш отец верит в абсолютную силу слова. Но это… эти танцы… это правда. Им можно верить. — Его мягкий ирландский акцент стал заметнее.

Мне почудилось, что он обволакивает меня, окутывает с ног до головы, так что я не слышу больше ничего, кроме него. Ни метронома, ни шарканья наших туфель по полу, ни биения собственного сердца.

Беккет перестал двигать руками и затеребил верхнюю пуговицу рубашки.

— Тут… несколько жарковато. Вы не будете возражать, если я расстегну несколько пуговиц?

Я хотела сказать, что конечно же не буду, но снова онемела. Поэтому я просто молча покачала головой.

Метроном отстукивал ритм. Беккет расстегивал пуговицы. И вдруг случилась крайне странная,

невероятная вещь. Мои пальцы — те самые пальцы, которые только что с профессиональной легкостью нажимали ему на плечи, потянулись к его шее. Он успел справиться пока лишь с одной пуговицей и теперь боролся со второй. Потертый воротничок рубашки чуть раскрылся, и стали видны его острые ключицы. А между ними… между ними была маленькая ямочка, похожая на пеструю, веснушчатую морскую раковинку. И мои пальцы погладили эту впадинку у основания горла, чуть обожженную солнцем. Сначала кончик указательного… затем средний… затем безымянный… и, наконец, мизинец.

Я смотрела на них, словно это были не мои, а чьи-то чужие пальцы. Тишину нарушало только дыхание Беккета и стук метронома. Внезапно пуговица, которую он пытался расстегнуть, с треском отлетела в другой конец гостиной и по голым доскам паркета закатилась под диван.

Как будто гипнотизер завладел и его пальцами, подумала я и неловко отступила на несколько шагов, пытаясь вновь войти в роль учителя. Мои щеки горели. Беккет пошевелился. Я поняла, что он хочет достать из-под дивана сбежавшую пуговицу, однако он так и не сдвинулся с места. Его лицо также заливал румянец.

— Я подниму ее позже, — чужим, хриплым голосом произнес он.

И нечто в его тоне опять отделило мой разум и сознание от тела. Я ощутила, как между нами натянулась невидимая нить. Она тянула меня… тянула меня к нему. Беккет стоял не двигаясь, часто моргал и явно искал что сказать.

— Вы думаете, так будет честнее? — Я положила ладони на его предплечья. Повернула к себе. Склонила голову набок. Всем своим существом я ждала поцелуя.

— Метроном… — Не знаю как, но мы случайно опрокинули его на пол.

— Забудь о нем. — Я запрокинула лицо и поднялась на цыпочки.

— Ваши родители…

— Не вернутся еще несколько часов. — Я обхватила ладонями его лицо. Ощутила жесткость уже проступившей щетины. Придвинула лицо к его лицу, близко-близко. Коснулась губ. Почувствовала запах алкоголя и табака. И трепет свободы.

Беккет чуть откинулся назад.

— Когда ваш отец вернется домой?

Его руки бессильно повисли, как будто он хотел обнять меня, но не мог.

— Его не будет еще несколько часов. Много

часов.

Я обвила руками его талию и распутно прижала к себе. Какой он все же худой! Я положила голову ему на грудь и услышала, как бьется его сердце. Опять подняла голову. Легко прошлась губами по его губам. Теплые. Нежные. Но пока еще неподатливые.

Я прижалась к его рту сильнее. Его губы дрогнули. Рот медленно приоткрылся. И я не успела заметить, как он уже целовал меня. Сильно, страстно. Все, что его отвлекало — упавший метроном, беспокойство о том, что в квартире несвоевременно появится мой отец, — перестало иметь значение. Его губы оторвались от моего рта и припали к шее, затем приласкали чувствительное местечко за ухом.

Но неожиданно он снова отстранился.

— А ваша мать? — прерывисто выдохнул он и махнул на дверь.

— Никого нет дома, — прошептала я.

— Я думаю, что… возможно… танцевать, они же захотят посмотреть, как я танцую чарльстон. — Его глаза пробежались по стене, увешанной портретами предков баббо.

— Если тебя беспокоят эти портреты, мы можем перебраться в мою спальню. — Я взяла его за руку

и потянула к двери.

— Если они найдут меня в вашей спальне… — Беккет сопротивлялся. В полной тишине, окружающей нас, раздавался только стук его сердца и моего. И я подумала, что они бьются в унисон.

Я обернулась.

— Здесь никого нет. Вообще никого.

И секундой позже наши губы снова слились. Его язык нежно исследовал мой рот. Я пробежалась пальцами по его спине, потрогала выступающие бедренные кости, попробовала на ощупь, какие длинные у него руки и ноги.

Его губы приникли к моей шее. Защекотали ухо. Я изо всех сил напрягала слух, чтобы разобрать его шепот, но он так тяжело дышал, что я поняла только отдельные слова: «.. красивая… твое тело еще более совершенно, чем я себе… но я… виски…» Наши громкие вздохи эхом отражались от стен.

Я принялась расстегивать его рубашку. Дернула за ремень. Потащила его за собой, вниз, на пол. К тому самому квадрату солнечного света, что так звал меня. Мы займемся любовью прямо там. На нашем золотом ложе.

Я стянула чулок и отбросила его в сторону. Туда же отправился и ремень Беккета — его пряжка с

оглушительным звоном ударилась о метроном. Прижалась к нему. Прижала его к себе — к своим бедрам, ребрам, животу. Его руки нашли мои груди. Он лишь прикоснулся к ним, и мои соски сжались и затвердели. Все это время я тянула и тянула его к золотому квадрату на полу, от которого не могла оторвать взгляда.

Мы лежали на полу, когда это произошло. Я все же заставила его опуститься в солнечную колыбель густого, как мед, полуденного света. Позже я думала о ней как нашем свадебном ложе. Но это было позже, много позже. Наши тела сплелись; наши пальцы искали друг друга, открывали новое, узнавали и привыкали. Его рубашка и моя туника кучей валялись рядом. Его ремень и мой чулок, словно змеи, карабкались вверх по дивану. Он все шептал что-то мне в ухо… беспокоясь о моей чести и родителях. Даже охваченный страстью, он сумел сохранить галантность и оставался настоящим джентльменом.

Беккет услышал это первым. Я почувствовала, как он напрягся. Потом он вдруг вскочил и стал рывками надевать брюки, одновременно пытаясь дотянуться до своей рубашки и найти в карманах очки.

— Быстрее! Ваше платье! — Он схватил мою

тунику и бросил ее мне.

Я насторожилась. А потом услышала тоже. Тяжелые шаги на лестнице. Ее голос, кислый и заунывный. Тук-тук-тук трости по полу прихожей. И — голос баббо, звонкий, как колокол:

— Вы здесь, Беккет? Успели ли вы овладеть искусством танцевать чарльстон? Я говорил вам — каждый старый Чарли способен сплясать чарльстон. Где они, Нора?

Беккета трясло так сильно, что он не мог даже застегнуть рубашку или продернуть в шлевки ремень. Ему было жарко, лицо блестело от пота, а левый глаз внезапно начал дергаться от нервного тика.

— Если она напортила что-нибудь в моей лучшей комнате, я скажу ей пару слов, уж будьте уверены. Дай же мне свою трость, Джим, пока я сама о нее не споткнулась.

Какая-то часть меня так и хотела остаться там, на ковре из солнечного света, с голыми бедрами и животом. Не просто голыми — выставленными напоказ. Со спутанными волосами. И пусть моя одежда будет разбросана по «ее лучшей комнате». Часть меня желала, чтобы меня увидели почти обнаженной в объятиях Беккета. И в это мгновение, сама не знаю почему, я подумала обо всех тех

ночах, когда мне приходилось делить спальню с мамой и баббо. Как я ночь за ночью крепко зажимала уши руками, только бы не слышать шороха их тел, прикрытых простыней, скрипа кровати, приглушенных стонов. Как же я это ненавидела!

Но ужас Беккета был так велик, что его почти можно было ощутить физически. Выбора у меня не было. Я тоже вскочила, набросила тунику и полезла за чулком. В этот момент скрипнули дверные петли.

На пороге гостиной стояла мама, с выражением усталости и отвращения на лице. Она приложила руку к губам и крикнула в сторону прихожей:

— Джим, иди и поставь на плиту чайник! Я сейчас приду. Мистера Беккета тут нет.

Раздался голос баббо, тонкий от разочарования:

— Стало быть, развлечения не будет? И я напрасно заранее подготовил самые изящные славословия и похвалы?

Затем мы услышали удаляющийся стук трости — баббо отправился в кухню.

Мама плотно закрыла дверь гостиной. Ее глаза превратились в две узкие щелочки. Она выпрямила спину и скрестила руки на груди.

— Вы никогда мне не нравились, мистер Бек-

кет. Все мне казалось, что вы что-то скрываете. И боже правый, как же вы на меня смотрели, задрав свой протестантский нос повыше! — Она шипела, словно вода, выплеснутая на раскаленные угли.

Я плотно сжала зубы и спокойно продолжила надевать чулок и пристегивать подвязку.

— И это ваше высокомерие, прямиком из Фоксрока — весь вы вроде такой воспитанный и образованный, а я только лишь горничная из Дублина, и ничего больше. Если бы не Джим, я бы вышвырнула вас отсюда, как щенка. Но вы нужны ему, и вы ему полюбились, так что придется вас терпеть.

Я взглянула на Беккета, ожидая, что сейчас он начнет уверять маму в своих самых честных намерениях, успокаивать тем, что безмерно любит меня… что полагается говорить в подобных случаях? Но он молчал. Просто стоял на месте, и его лицо было холодным и непроницаемым, словно у статуи.

Так что говорить пришлось мне, как ни в чем не бывало одергивая при этом тунику.

— Мы всего лишь танцевали, мама. Не стоит вести себя так грубо с мистером Беккетом. Должна тебе напомнить, что баббо сейчас полагается на него всецело.

Глаза мамы вспыхнули огнем. Она яростно фыркнула:

— Танцевали! Дьявола лысого вы танцевали! Уж не думаете ли вы, что я не узнаю пакость, если с ней столкнусь? И в моей лучшей комнате!

Я снова повернулась к Беккету, стараясь отыскать на его лице хоть какие-то эмоции. Почему он молчит? Почему не скажет ей, что теперь мы любовники? Или, если он не готов это признать, отчего не отрицает все эти обвинения в «пакостях»? Она могла бы поверить ему. *Могла бы.*

Но Беккет не смотрел на меня. Он глазел на маму, его левое веко подергивалось, а пальцы лихорадочно теребили пуговицы рубашки.

Я решила проявить смелость и во всем признаться.

— Мама, мистер Беккет и я…

— Иисусе милосердный! Я больше не желаю слышать ни единого слова. Мистер Беккет, спускайтесь по лестнице, пока Джим готовит чай. И тихо — пусть он вас не услышит. Лючия, я хочу, чтобы моя лучшая комната была в полном порядке, как раньше. И ради бога, надень что-нибудь приличное.

Она распахнула дверь и хлопнула в ладоши.

— Давайте, мистер Беккет. Джим не будет

возиться с чаем целый день. Или вы хотите станцевать перед ним чарльстон? — Она сузила глаза. — Думается мне, что нет.

И Беккет ушел. Потихоньку прокрался к выходу — и вот его уже и след простыл. Я думала, что он хотя бы обернется, пошлет мне напоследок нежный взгляд… но нет. Он просто вышел, молча, сгорбив плечи.

Не важно. Я все еще ощущала его жар, его тело, его вкус. Мои пальцы еще покалывало от прикосновений к его коже, к ямочкам и выступающим косточкам, к той самой усыпанной веснушками впадинке у основания шеи. Я поднесла пальцы ко рту. Облизнула их и улыбнулась.

— Мария, Матерь Божья — да что ты за шлюха! Я же говорила тебе перестать за ним таскаться! Предупреждала — не заводи его! Немедленно приведи гостиную в порядок. Сию же секунду! Счастье еще, что Джим слеп, как летучая мышь.

Она пошла к двери. Я стала двигать диван обратно, на то место, где он стоял, втайне надеясь найти пуговицу, отлетевшую от рубашки Беккета. Это будет мой талисман, мой трофей. Однако у двери мама резко повернула голову.

— Ты ведь не дала ему дойти до конца?

— Какое тебе дело? — Я делано безразлично

пожала плечами.

— Нет, он бы этого не сделал. Не ирландский юноша из Фоксрока. И не с тобой. Скажи мне, что этого не было. — Ее глаза вдруг наполнились слезами. — О, Лючия, скажи мне, что этого не было!

Я покачала головой:

— Нет, он ничего не сделал. Незаконнорожденного ребенка в семье не будет, так что можешь не беспокоиться, мама.

Я знала, что такого позорного пятна, такого скандала она бы не вынесла. Только не в нашей семье. Она никогда не считала книги баббо непотребными или похабными, даже когда «Улисса» запретили за непристойность. Хотя, разумеется, в Париже все прошло гладко и спокойно. «Улисс» с гордостью был выставлен в витринах лучших книжных магазинов, и мама светилась от удовольствия. И это было все, что она видела. Но скандал в семье — о, это было совсем другое дело.

Она шумно вздохнула:

— Это хорошо. И больше не позволяй ему притрагиваться к себе. Сначала свадьба, потом все пакости. И никаких танцев. Я не доверяю этому мистеру Беккету. Вечно он скользит, как тень. И никогда не смотрит мне в глаза.

Хитрый и изворотливый тип, точно тебе говорю.

Я задрожала от гнева и возмущения.

— Он не изворотливый! И смотрит в глаза! Все это несправедливо …

— О да, понятное дело, *тебе* в глаза он смотрит, когда ему выпадает возможность. Ах, если бы тут работал мистер Макгриви! Он-то никогда не глядел на меня свысока. Он знает, что я — миссис Джойс и я ужинаю в ресторане каждый вечер. Настоящий джентльмен и настоящий католик, вот кто он. Он бы и пальцем не посмел к тебе притронуться!

— Думаю, тебе следует кое-что знать. — Я взяла паузу и сделала глубокий вдох. Я скажу ей правду о нас с Беккетом. — Между нами есть чувства.

— Между свиньями, что хотят спариться, тоже есть чувства. Все, больше я не слышу ни единого слова.

Она задрала подбородок и вышла, но возле фортепиано неожиданно резко остановилась. Я поняла, что она увидела, и внутри у меня все скорчилось. Я принялась возиться с занавесками, наполовину задернула их и стала собирать в идеально аккуратные складки.

— Матерь Божья! Это что же, тайная бутылка

твоего отца? Виски, о котором я ничего не знаю, как он думает? Да? Отвечай!

Из кухни послышался голос баббо:

— Нора! Нора! Чайник закипел! Где ты?

— Если ты нашла его за норвежским словарем, я покойница. — Два красных пятна расцвели на ее щеках. Она подошла к фортепиано и взяла пустую бутылку. — Это была твоя идея — позаимствовать отцовский виски? Так вот какой у тебя был замысел: завести мистера Беккета с помощью глоточка-другого?

Я покачала головой. В горле у меня стало сухо, оно словно заржавело. В висках пульсировала боль. Всю мою энергию вдруг будто ветром сдуло.

— Давай, приводи комнату в порядок. И сними этот наряд потаскухи! Мы ничего не скажем отцу. Но ты должна пообещать, что оставишь мистера Беккета в покое и между вами ничего не будет. Пусть работает на отца, и все. Ты обещаешь?

— Да, мама.

Унижение словно придавило меня к земле. Я хотела, чтобы мама ушла. Ее гнев, мой стыд, жара в комнате, сочетание всего этого… меня затошнило, и я почувствовала себя совершенно больной. Ее обвинения и жестокие слова, не рассеиваясь,

висели в воздухе. Мой желудок повело вверх. «Завести его». «Свиньи, что хотят спариться». «Шлюха». «Потаскуха». Пол под ногами превратился в болото — что-то грязное и отвратительное засасывало меня в себя. Я взглянула на золотой квадрат, где мы с Беккетом предавались страсти. Он исчез.

Я подняла медный горшок с папоротником и поставила его на кофейный столик. А когда услышала, как за ней закрылась дверь, крепко обхватила нежно-бахромчатые листья и обломила их. У самого корня.

— Я говорила, что придется тяжело, Лючия. Говорила, что нужно будет отдаться делу телом и душой. — Мадам Егорова побарабанила пальцами по крышке фортепиано.

Я опустила глаза и пробормотала какие-то невнятные извинения.

— Вы снова пропустили класс две недели назад. А теперь собираетесь отменить все занятия на целых десять недель. Я все верно поняла? Десять недель! — Она с изумлением покачала головой, словно не могла в это поверить.

— О нет, — жалобно выговорила я. — Я не хочу пропускать занятия. Но в тот раз мы отмечали выход книги моего отца — я не могла не присут-

ствовать! А теперь родители настаивают на том, чтобы я отправилась с ними в Англию. — Я будто услышала себя ушами мадам Егоровой — какими нелепыми были мои объяснения, какой слабовольной и недисциплинированной я ей казалась! Вспомнив слова Беккета о книге, над которой работает баббо, я попыталась объяснить все еще раз: — Мой отец — Джеймс Джойс, писатель. Сейчас он пишет великий роман, и танцы — его важная часть. Он любит, когда я танцую перед ним, — это его вдохновляет. К тому же и он, и моя мать очень больны. Я вынуждена им помогать.

— Меня не заботит, кто ваш отец и куда вы едете в отпуск. Для меня это абсолютно ничего не значит. Если вы решили заняться балетом, вы обязаны пожертвовать всем! Всем, что у вас есть!

Я почувствовала, что краснею, и слезы обожгли мне глаза.

— Вы отдаете балету всю себя, Лючия. Я дала вам место в своей студии, вы посещаете мои уроки, работаете со мной! — Мадам ткнула пальцем в свою костлявую грудь. — Это вам не маленькое хобби, которым можно заняться от нечего делать и бросить, когда захочется. Это балет!

— Мадам, танец — вся моя жизнь! Последние шесть лет я занималась только им. — Я сердито

вытерла слезу, скатившуюся по носу.

— Ба! Ритмический танец — это не балет. Если вы хотите посвятить себя современным танцам, возвращайтесь к Мадике. Станете такой же, как она, — предательницей и отщепенкой. Но здесь… — она сделала паузу и обвела рукой студию, — здесь вы должны быть как миссис Фицджеральд. Приходить с открытием и уходить, только когда я запираю дверь.

— Да, — прошептала я. — Этого я и хочу.

— Скажите родителям, что вы никуда не едете. До тех пор, пока студия не закроется на перерыв в августе.

Я в отчаянии покачала головой. Как, как мне заставить ее понять всю невозможность подобного разговора? Как сказать мадам, что мой отец считает, что для женщины вполне достаточно уметь написать письмо в хорошем стиле и изящно раскрыть зонтик? Что когда-то он радовался моим успехам и отмечал мои достижения, но теперь что-то изменилось? Что, хотя он и любит, когда я танцую только для него, ему не хочется, чтобы я выставляла себя напоказ на сцене. Что моя мать считает, будто танцовщицы ненамного отличаются от проституток. Как я могу все это выговорить? Как растолковать подобное мадам

Любови Егоровой, которая танцевала в балетной труппе Мариинского театра, а потом в «Русском балете», с самим Нижинским? Она ведь просто не в состоянии этого понять!

— Все уже заказано. — Я не стала говорить, что и билеты на паром, и на поезд, и комнаты в многочисленных отелях были забронированы сто лет назад, и я ничего об этом не знала. Никто не сказал мне, не спросил моего согласия. Разумеется, мои родители не имели и тени сомнения, что я не откажусь поехать с ними и их рабски преданными приятелями в путешествие, необходимое баббо для исследования, для книги, что мне может быть неинтересно, как им, слушать *его* голос, читающий *его же* произведение, встречаться с нужными *ему* людьми, чтобы укрепить *его* положение. Я ощутила, как во мне накапливается злость и даже ненависть. Почему они всегда думают, что я непременно буду их сопровождать? Почему никто не спрашивает моего мнения?

— Хотите, я позвоню мадам Джойс? — спросила мадам Егорова уже мягче.

— Нет! — выпалила я, не скрывая паники. Я точно знала, что тогда произойдет. Мама начнет издевательски имитировать русский акцент мадам Егоровой. Я почти слышала ее сейчас — как

она язвит и насмехается не только над мадам, но и над ее верой в мой талант. Я видела, как она делает неуклюжие пируэты в кухне, повторяя: «В Ирландии так танцуют только потаскухи!»

А баббо будет уязвлен и опечалится. «Льстецы» станут показывать на меня пальцами и шептаться. Обвинят меня в том, что я лишила гения музы, в которой он так нуждается для книги, над которой работает. А Беккет… при мысли о Беккете я чуть улыбнулась. Я не забыла, как держала его в объятиях, вкус его губ и языка.

— Почему вы улыбаетесь? — с неудовольствием спросила мадам. — Не вижу в этом ничего забавного. Мне приходилось звонить родителям других девочек. Иногда они в самом деле проявляют непонимание, и необходимо объяснить им, что такое талант и работа над ним. В России, разумеется, в этом не было нужды. Так что, мне надо объяснить все это месье и мадам Джойс?

Я покачала головой. Мысли о Беккете испарились, и больше я не улыбалась.

— Повторяю вам еще раз, Лючия: вам нужна преданность делу. Если вы не можете проявить силу, чтобы противостоять семье, то, возможно, вы недостаточно сильны и для балета. — Мадам протянула руку и ласково погладила меня по

плечу. — Это нелегкий выбор. Здесь требуются огромная физическая и моральная выдержка.

— Я попрошу баббо позволить мне остаться. А если не выйдет, обязательно найду учителя танцев в Торки и буду заниматься каждый день. Спасибо, мадам.

Я присела в реверансе, не поднимая глаз. Мне не хотелось, чтобы она видела мои слезы. Даже мысль о Беккете не могла меня утешить. Всю дорогу домой ее слова звучали у меня в голове, как заезженная пластинка. Я *должна* сказать баббо, что не еду с ним в Англию. Я *должна* быть в Париже.

— Почему никто не сказал мне, что мы отплываем уже завтра? — От паники мой голос прозвучал визгливо. — Я думала, мы едем на следующей неделе.

— Нет, mia bambina. Твоя мать собирает вещи уже чуть ли не несколько месяцев — до того ей хочется уехать. Мы все знали, что дата отплытия — завтра. — Баббо взмахнул рукой, словно отгонял муху. Отгонял меня. Огромный камень в его перстне блеснул, поймав солнечный луч. Он спокойно сидел напротив стены с портретами — там висели написанные маслом картины в резных рамах, запечатлевшие его самого, его

отца и деда.

— Но почему я не знала? Почему никто мне не сказал? Я не могу ехать завтра!

— Мы все знали, mia bambina. Твоя мать, настоящая скала, на которую можно опереться, когда дело касается домашнего хозяйства, уложила за тебя твой чемодан. — Баббо рассеянно погладил свежевыбритый подбородок. — Боюсь, ты просто была слишком занята и твои мысли витали где-то еще.

О том, что мы отплываем завтра, мне сообщил Джордже Равно как и о том, что в путешествии нас будут сопровождать «льстецы» мистер и миссис Гилберт. И еще Хелен Флейшман. Он упомянул об этом легко, будто это ничего не значило, и добавил, что миссис Флейшман давно собиралась присоединиться к нам и вообще «разве я не знала». А затем приложил к губам мизинец. Это означало, что я должна сохранить его маленький грязный секрет.

Когда я молча кивнула, он нагло бросил:

— Все знают, что отъезд завтра.

Я посмотрела на него полными ужаса глазами, не веря своим ушам, а потом замотала головой так сильно, что мне стало дурно. Джорджо заставил меня сесть, принес стакан воды и позвал

баббо. И теперь я была на диване, рядом с отцом, и отчаянно старалась сохранить спокойствие и не потерять разум от ярости.

— Я не могу поехать! Мадам говорит, что я должна остаться и заниматься танцами. Я не должна покидать Париж. — На меня накатила очередная волна гнева и безысходности. Нет, нужно сдержаться. Нужно взять себя в руки. — И зачем едет миссис Флейшман?

— Успокойся, Лючия. — В новых сферических очках баббо линзы были такими толстыми, что его глаза за ними напоминали лягушачьи — огромные и выпуклые. — Миссис Флейшман будет помогать мне и твоей матери.

— Да, своими чемоданами от Луи Вюиттона, надменностью и бахвальством, — вырвалось у меня.

Баббо странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я встала и принялась расхаживать по гостиной, хватая и пощипывая портьеры, стулья, полки — все, что попадалось под руку.

— Я не могу ехать, баббо. Я должна танцевать. Мадам хочет, чтобы я осталась в Париже.

— Если ты знаешь, как правильно войти в комнату, это все, что имеет значение, Лючия. — Он обежал взглядом портреты, как будто перегова-

риваясь со своими нарисованными предками. — Твоя мать знает, как нужно входить в комнату. Просто наблюдай за ней.

— Но я не могу поехать в Лондон или Торки! Разве ты не слышишь, что я говорю? — Я сделала несколько глубоких вздохов, считая секунды между ними, так месье Берлин учил нас справляться со страхом сцены. Ибо именно это я и чувствовала в данный момент — страх. Даже ужас. Будущее представлялось мне полным кошмаром. Ни мадам. Ни Беккета. Ни даже минутки, чтобы с ним попрощаться. Я не видела его с того самого дня, когда мы почти предались любви. Мне необходимо было успокоить его, рассказать, что баббо ничего не знает, что мама обещала сохранить все в тайне и что я по-прежнему люблю его и желаю.

— Я слышу тебя, mia bambina, но мы так нуждаемся в тебе. Мое зрение… тебе же известно, что мне сейчас требуется помощь во всем… ты видела, как твоя мать разрезает для меня еду на кусочки. А она сама едва оправилась от болезни. Ты ей тоже нужна. И все уже заказано. Мы взяли комнаты в самом роскошном отеле в Торки — том самом, куда твой кумир Наполеон удалился после поражения.

— Наполеон уже давно не мой идол — это было десять лет назад! А еду тебе может приготовить миссис Флейшман, — прорычала я.

— Она прибудет немного позже. У нас с тобой будет более чем достаточно времени, чтобы поговорить о твоих снах, о предчувствиях, моя Кассандра. Я ведь знаю, что тебе что-то привиделось, Лючия. Это можно понять по блеску твоих глаз. В последнее время они сияют, словно драгоценные жемчужины.

Я пропустила это мимо ушей.

— А как насчет Гилбертов? И всех остальных твоих друзей, с которыми ты собираешься встретиться в Англии? До чего же мне повезло, что я научилась у матери входить в комнату, не правда ли? — Я произнесла это с такой неприкрытой горечью, что баббо отвернулся и снова уставился на портреты.

— Ах, Лючия. Тебе не угодить. — Он тяжело вздохнул. — Это очень важная поездка для всех нас. Я увижусь с издателями. Меня запишут на пластинку. Нас посетит мисс Уивер — моя самая главная покровительница, на деньги которой, спешу тебе напомнить, мы сейчас живем. Без мисс Уивер не было бы никаких уроков танцев. — Баббо подошел к стене и поправил портрет

отца. — Ах, тут впадина. И трещина, да еще какая-то скрюченная. Я не могу себе позволить иметь в доме скрюченного отца… Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке… Не помнишь, как там дальше, Лючия?

— Но как же мои занятия, баббо?

— Ты можешь танцевать в отеле хоть каждый день. Что у него там было? Скрюченная кошка? Скрюченная баба? Кажется, так. — Он сделал шаг назад, склонил голову к плечу и близоруко оглядел портрет.

— Я в самом деле должна танцевать каждый день, баббо. Никто этого не понимает — я обязана танцевать, чтобы не отстать. — Во мне опять вспыхнула злость. Почему он, человек, который чувствует, что должен писать каждый день, не понимает меня? Ведь я тоже должна упражняться каждый день!

— Что ж, в таком случае все улажено: ты будешь танцевать в отеле. А по возвращении снова приступишь к занятиям в балетной школе. — Он потрепал меня по руке и обвел глазами вереницу фамильных портретов. — Никому в моей семье нет необходимости работать. Все могут быть леди и джентльменами и ничем себя не утруждать.

— Я — не — хочу — быть — леди — и — ничем — себя — не — утруждать, — отчеканила я сквозь зубы. — Я — должна — танцевать.

— Знаю, знаю, — успокаивающе произнес баббо. — Я лишь хотел сказать, что у тебя есть выбор, Лючия. У меня и у твоей матери его не было, но у тебя есть. Угадай-ка, что случилось?

Я знала, что он собирается переменить тему, что он уже выслушал меня, и больше ему это неинтересно. Я приготовилась перебить его, вернуться к тому, что меня волновало, еще раз попытаться настоять на своем, но в этот момент меня вдруг охватило неодолимое желание замотать головой, трясти ею до тех пор, пока мир вокруг меня не закружится, пока я не смогу устоять на ногах, пока не провалюсь в забытье от этой тряски. Но мне вспомнилось недавнее выражение отвращения и тревоги на лице Джорджо, когда он принес мне воды, и что-то меня остановило, как тормоза мчащийся на полном ходу автомобиль.

— Что, баббо?

— Пикассо отказался писать мой портрет. По всей видимости, великий мастер сейчас «слишком занят». Можешь ли ты в это поверить?

Я заметила, что баббо это порядком задело. Мне хотелось сказать, что мне это совершенно неин-

тересно, что мне вообще плевать. Но собственная ярость напугала меня, и я постаралась удержать этот кипящий от яда и боли голос внутри.

Поэтому я глубоко вздохнула и с поддельным любопытством спросила:

— Тогда кто же нарисует тебя для фронтисписа твоей новой книги, баббо?

— Я подумываю обратиться к Бранкузи. — Он отвернулся от меня и перевел взгляд на стену с портретами. Опять. — Да, думаю, Бранкузи вполне подойдет.

Октябрь 1934 года

Кюснахт, Цюрих

— И все? Вы просто взяли и поехали с ними в Англию? — Доктор Юнг сидит совсем близко ко мне. На коленях у него лежит моя рукопись.

— Наверное, часть меня хотела это сделать. — Я смотрю на свои руки, как будто держу в них ответы. Вижу сморщенный розовый шрам на большом пальце. — Кое-что я не сказала мадам Егоровой.

— Что, например?

— Я не могла признаться ей, что у меня больше нет сил бороться. Ее уроки так меня изнуряли…

они забирали у меня всю энергию. Это было невыносимо физически. Невероятное напряжение, постоянные повторения… Я была на грани истощения.

Доктор ободряюще кивает.

— Это было похоже на… ну вот, как если бы она велела мне участвовать в еще одном сражении, когда предыдущее едва закончилось. Моя жизнь была постоянной борьбой — с родителями, их убеждениями, их ожиданиями. — Я провожу рукой по лицу. Одни только разговоры об этом уже утомляют меня.

— Вы всегда чувствовали себя подобным образом?

— Нет. Но к тому времени я начала смотреть на вещи по-другому. Видеть все более ясно. Происходило что-то неправильное… губительное, разрушительное, и я почувствовала первые проблески этой… опасности.

— Кажется, мы продвинулись вперед, мисс Джойс. Вы сегодня необыкновенно красноречивы. Что же такое вы начали замечать? — Доктор Юнг встает и, по своей привычке, принимается расхаживать по кабинету.

— Мне тоже хочется немного походить, доктор, — говорю я, встаю с кресла и подхожу к окну.

Сегодня холмы совсем голубые, и их окутывает туман. Я слышу, как хлопает дверь и лает собака, а над озером носятся чайки, резко разворачиваются в воздухе и ссорятся из-за добычи. Или еще из-за чего-то. — Я начала видеть и другую сторону жизни в квартире на Робьяк-сквер.

— Продолжайте, мисс Джойс. — Доктор тоже подходит к окну, становится рядом и следит за моим взглядом. Мы смотрим на холмы за озером.

— Я стала понемногу понимать, что все мы — спицы в колесе баббо. Что мы — часть *его* истории. И что, если ничего не произойдет, я застряну там навеки. Застряну в его выдуманном мире.

— И это вас напугало?

— Да. Мама была счастлива тем, что покупала новую одежду и каждый вечер ужинала в ресторане. У Джорджо были деньги миссис Флейшман, и это его вполне удовлетворяло. Но я… я хотела большего.

— Сделаем круг по комнате, мисс Джойс? — Доктор Юнг предлагает мне руку, я подхватываю его под локоть. Какая огромная рука. Словно ствол дерева.

— Я чувствовала, что из меня уходит жизненная сила. Я очень устала, но продолжала тянуться, продолжала напрягать все мышцы. И у меня

было ощущение, что балет совсем не интересен баббо, он не вдохновляет его, и он постепенно отдаляется, отбрасывает меня, как прохудившийся, ненужный костюм.

Я иду в ногу с доктором; мои обкусанные ногти цепляются за его рукав. И на несколько секунд мой разум уплывает в совершенно другое место. Какой бесформенной, бессмысленной становится жизнь, когда достигаешь ее середины. Как она темна, какой хаос воцаряется в ней. Лишь теперь, с помощью мемуаров и вопросов доктора, я могу понять, сформулировать все, что со мной произошло. И эта мысль возвращает меня к Беккету.

— Меня поддерживала любовь к Беккету. Она заставила меня заметить то, что ускользало от моего взора раньше. То, как баббо втянул всех нас в свой мир, как мы все вертелись вокруг него. И глаза на это мне открыл Беккет.

— Каким образом? — Доктор медленно проходит мимо картины, изображающей мандалу, я следую на полшага за ним. Подол моего атласного платья струится по полу.

— Я видела, как это происходит с ним. Влюбленность словно раскрыла мой разум. Мне трудно это объяснить. — Я замолкаю и вспоминаю слова баббо, сказанные им накануне вечером. За ужином я

рассказала ему о своем сне. Беккет и я были вместе, в Лондоне. Мы гуляли по Гайд-парку, а вокруг нас летали сороки. Я не очень хорошо запомнила этот сон — лишь сильный запах молодой зелени, кружение птиц. И синие глаза Беккета. Но что-то тяжелое застыло в их глубине… как будто я перешла глубокое, невыносимо-голубое море и вдруг выбралась на грязноватую полосу отлива. Закончив пересказывать, я вдруг увидела, что на ресницах баббо повисли слезы, и он пытается их сморгнуть. Он сказал, что Беккет покинул Ирландию и отправился в Лондон, чтобы пройти курс лечения «говорением». Сейчас. Беккет делал то же, что и я. В это же самое время. На минуту мне опять подумалось, что наши судьбы все же связаны, переплетены. Но баббо сказал — нет. И добавил, что я должна отпустить Беккета.

— Что же происходило с мистером Беккетом? — Доктор Юнг показывает на нарисованную мандалу в рамочке. — Посмотрите сюда. Это может помочь.

Я вглядываюсь в яркий рисунок — цвета напоминают драгоценные камни, — но вижу лишь повторяющиеся завитки, похожие на переплетенных змей. Где же Беккет? Где моя память? Темнота наступает на меня, окутывает, засасыва-

ет. Я в панике сжимаю руку доктора.

Он осторожно опускает меня в кресло.

— Дышите глубже, мисс Джойс. Приходите в себя. Я подожду.

Я сижу, сжимая голову, и дышу глубоко и медленно, ощущая, как кислород неохотно снова наполняет мои легкие.

— Что же происходило с мистером Беккетом? — намеренно громко повторяет доктор и опять показывает на мандалу.

— Он становился одержим баббо. — Я хмурюсь, стараясь разобраться в вертящихся, ускользающих мыслях, разорванных воспоминаниях. — Джорджо сбежал к миссис Флейшман, то есть, можно сказать, спасся. И Беккет постепенно начал занимать его место. Баббо был о нем очень высокого мнения. Он все больше и больше видел в нем… видел сына.

— И это делало мистера Беккета как бы вашим братом? — говорит доктор так тихо, что я напрягаю слух, чтобы разобрать его слова.

Я игнорирую этот вопрос. По спине у меня ползет холодная дрожь, и я жалею, что на мне сейчас нет пальто.

— Где мое меховое пальто, доктор?

— Сегодня вы пришли без него, мисс Джойс. Вы

снова его потеряли?

— Нет! — возмущаюсь я.

— Итак. Вы пытались донести до отца, что не хотите и не можете ехать в Англию. Но тем не менее поехали?

— Я знаю, о чем вы думаете. — Мне ясно вспоминается то слово в его тетради. — Вы считаете, что я бесхребетная, что у меня напрочь отсутствует сила воли. Что я просто подчинилась, не сопротивляясь, и сделала так, как они хотели. Вы считаете, что я не более чем… чем… насекомое!

— Ну что вы, мисс Джойс. Я отнюдь так не считаю. Я лишь стараюсь понять мотивы вашего поведения. Вы попрощались с мистером Бекетом?

— Лично — нет. Не как молодой побег с молодым побегом. — Я улыбаюсь, вспоминая нашу старую шутку. — У меня не было времени. Но я позвонила ему в университет. Он сказал, что я должна ехать. Что баббо нуждается во мне. Что я — его муза, а гения ни в коем случае нельзя лишать музы. — Я встаю. Мне неожиданно хочется стать выше, выпрямиться, расправить лопатки. — И еще он добавил, что баббо испытывает постоянные боли. В глазах. В желудке. И он почти слеп — его требуется сопровождать буквально

повсюду, а для матери такая нагрузка слишком велика. Видите ли, он очень беспокоился о моем отце.

Доктор сцепляет руки за спиной и разглядывает меня, как свою самую любимую картину в галерее.

— И ваш возлюбленный Беккет был готов пожертвовать и вами тоже? Даже после всего, что между вами было?

— Он уверял, что будет мне писать. Что будет в Париже, когда я вернусь. — Я слышу его голос, дотянувшийся до меня по телефонным проводам, успокаивающий, ласковый. И откидываюсь на спинку кресла. Силы оставляют меня. Я опустошена, и мне холодно. Почему я не взяла с собой шубу? Почему приехала в вечернем платье?

— Вам нравится мое платье, доктор? — Я слегка расставляю ноги, чтобы он оценил широкий подол юбки, чудесный красный атлас, из которого сшито это изящное, элегантное платье.

Он смотрит на карманные часы.

— Почему бы и не надеть вечернее платье в одиннадцать тридцать утра? И в самом деле, почему?

— Это для отца. Чтобы воодушевить его. Последняя вспышка вдохновения перед тем, как

он покинет Цюрих. — Я поднимаюсь и делаю поворот, так что юбка плещется и закручивается вокруг ног. — Я снова начну танцевать, правда, доктор? Я имею в виду танцевать по-настоящему, а не плясать джигу с баббо. Мне хочется выступать на сцене, как раньше. — Я делаю тристеп возле его стола, покачивая бедрами и щелкая пальцами, чтобы отбить ритм.

— Все возможно, мисс Джойс.

— Мне нужно идти. Мы обедаем с баббо. А потом у меня встреча с доктором Негели. Те самые анализы крови, о которых я вам говорила. — Я прекращаю танцевать и беру шляпу.

— А, анализы на сифилис. Желаю вам удачи, мисс Джойс.

Он провожает меня до двери. Уже взявшись за ручку, доктор поворачивается ко мне и говорит:

— Я *могу* вас вылечить, мисс Джойс. Я уверен в этом. Я *могу* вас вылечить.

Глава 12

Август 1929 года

Англия

Именно в Торки образ Беккета преследовал меня больше всего. Глядя на скалы, я видела в них резкие черты его лица. Любуясь морем из окна своей комнаты, вспоминала его глаза и выступающие ключицы. Я смотрела на серую воду и представляла себе его золотисто-белое тело, разрезающее волны. А когда баббо принес мне маленькую пятнистую розовую ракушку, я погладила ее изнутри и словно воочию увидела ту самую веснушчатую ямочку у основания шеи Беккета, которая свела меня с ума, пробудила во мне любовь и огонь желания.

А когда я не думала о Беккете, мечтала о танцах. Обегала глазами изогнутую линию бухты с полосой золотого песка у берега и всей душой желала, чтобы дождь прекратился и я могла бы пройтись в танце босиком от одного ее конца до другого. Я наблюдала за бушующими волнами, за пеной, которая напоминала морских коньков,

и воображала, как поставлю балет, в котором исполню роль утопающего моряка, спасенного морскими конька́ми с белыми гривами. Я изучала постоянно меняющиеся цвета океана и обещала себе непременно сделать наброски костюмов устрично-голубого оттенка. Как только помогу маме устроиться.

Но и этому небольшому удовольствию, что я извлекала из своих фантазий, пришел конец, когда прибыла миссис Флейшман. Я как раз смотрела в окно многокомнатного номера, в котором мы жили вместе с мамой и баббо. Джорджо поехал встречать ее на станцию, и назад они вернулись в такси. Оба вышли из автомобиля и встали неподалеку от входа в отель, видимо ожидая, когда выгрузят ее чемоданы и шляпные коробки. Джорджо помахивал тросточкой, и вид у него был крайне довольный. Миссис Флейшман же умудрялась выглядеть надменно и жеманно одновременно. На ней было платье от Шанель, обтягивающее каждую округлость ее тела и чудесно задрапированное вокруг энергичных, всегда в движении, бедер. Она открыла сумочку, вынула кошелек и передала Джорджо пачку, как я решила, английских купюр. Мама копошилась в комнате и то и дело спрашивала:

— Джорджо еще не вернулся?

Баббо шаркал мелком по бумаге.

— Они только что подъехали, — сообщила я и неопределенным жестом показала на серое небо. — На ней платье от Шанель.

Я немедленно пожалела о своих словах. Мама поспешила к окну, чтобы оценить наряд миссис Флейшман, и стала возиться с защелкой, поглядывая на вход в отель. В этот самый момент я увидела нечто, что заставило меня сжаться и покраснеть. Потому что — самое ужасное — мама увидела это тоже.

Джорджо стоял и небрежно теребил деньги, что дала ему миссис Флейшман, — не то пересчитывал, не то проверял, правильные ли это купюры. Она же, соскучившись, вдруг засунула ручку своего зонтика из слоновой кости в нагрудный карман его пиджака. Мама ахнула:

— Что, ради всех святых, она вытворяет! Она же порвет ему новый костюм!

Я попыталась оттеснить маму от окна, но было слишком поздно. Кроме того, я и сама словно примерзла к полу. Я не могла пошевелиться. Не могла даже моргнуть. В ужасе мы обе наблюдали, как миссис Флейшман зонтиком подтянула Джорджо к себе. Даже он, кажется, слегка уди-

вился и вроде бы показал на наше окно, но, опять же, было слишком поздно. Она привлекла его к себе, вытащила из кармана ручку зонтика и обвила руками его шею. А потом уткнулась в нее носом, ласкаясь, и вот уже ее руки были у него под пиджаком, гладили его спину… Все было так очевидно, что, сколько бы я ни напрягала мозг, никаких объяснений или оправданий мне бы все равно придумать не удалось.

— Господи боже мой! Святая Мария, матерь Иисуса! Сколько это продолжается? — Мама повернулась ко мне, брезгливо изогнув верхнюю губу. — Джим! Быстрей иди сюда! Джорджо и миссис Флейшман… они… они… — Она издала приглушенный то ли крик, то ли стон.

Баббо приковылял к окну и выглянул наружу.

— Они — что?

— Любовники, — сказала я с мрачным удовлетворением. Пусть хоть один раз мама будет недовольна Джорджо, а не мной. В кои-то веки не я поступила нехорошо. Теперь неприятности ждут Джорджо, а не меня. И миссис Флейшман тоже. И большие неприятности! Я мысленно поблагодарила миссис Флейшман за развязность.

— О, — мягко произнес баббо. — Но ведь я ничего не вижу. Они предаются преступной страсти

на ступеньках отеля?

— В этом нет ничего смешного, — задыхаясь, выговорила мама. — Она моего возраста, и замужем, и у нее есть ребенок!

— Но она богата. — Баббо деликатно кашлянул и принялся протирать очки носовым платком, крепко сжимая их костистыми пальцами.

— Да, и что же? Она завлекла нашего Джорджо!

— Несомненно, ему скоро прискучит ее денежное очарование.

— И ее морщины и дряблая плоть, — горько добавила мама.

— Ты права, Нора. Париж кишмя кишит прелестными юными леди. Предлагаю не обращать на это внимания, и пусть все идет своим чередом.

— Если ты думаешь, что я ничего не собираюсь им сказать, то ошибаешься. Я не потерплю здесь никаких пакостей, прямо в этом отеле, у меня под носом! — Мама сдавленно всхлипнула и сердито потерла глаза кулаками. — Мой Джорджо! Так вот почему он стал так редко бывать дома! А эта женщина — одеваться так, будто она сладкий пирог ему на десерт! О, мой Джорджо!

— У нее муж и сын, и она вполне этим удовле-

творена. Конечно же Джорджо скоро надоест соревноваться с ее семьей. — Баббо ласково положил руку маме на локоть и попытался отвести ее от окна. Но она упорно оставалась на своем месте, утирая слезы и не сводя взгляда со ступеней отеля. Теперь миссис Флейшман положила голову Джорджо на грудь, словно доктор, слушающий сердце больного.

— Ведь она ничто, только старая проститутка! Шлюха… Дряхлая овца, что хочет прикинуться молодым ягненком. И ни унции стыда! — Мама отняла у баббо платок и прижала к своим покрасневшим глазам.

— Ну будет, будет. Все пройдет и забудется. Давай не станем вмешиваться, Нора. Мы с тобой забыли, что ему уже двадцать три.

Тут мама будто впервые вспомнила о моем присутствии и резко повернулась ко мне:

— Все это творилось за моей спиной, и ты это знала! Ты знала!

— Тише, Нора. У моей Кассандры могло быть какое-то предчувствие, однако не ее вина, что Джорджо крутит амуры с миссис Флейшман. Если это вообще правда. — Баббо поводил руками в воздухе, делая успокаивающие жесты, но его слова, кажется, разъярили маму еще больше.

— Ну, и сколько это продолжается, Кассандра? — Она злобно усмехнулась. — Отвечай! И чем именно они занимаются? Они совокупляются? Да?

— Нора!

— Она меня обманывала. Она делала все, чтобы я ничего не замечала. Она врала мне! Моя родная дочь! Скажи мне, Кассандра, они е…

— Нора! Угомонись! — Баббо произнес это так властно и жестко, что мама тут же с низким, хриплым стоном упала ему на грудь.

Я отскочила, шокированная и изумленная. Никогда в жизни я не слышала от мамы подобных слов. Моя кровь, кажется, остановила свой бег и превратилась в лед. Я ощутила, как все больнее и больнее прикусываю язык. Что-то внутри тошнотворно тянуло, давило на сердце, желудок… на все. Ее ярость, образ Джорджо… совокупляющегося, е… нет, я не могла повторить этого за ней. Меня сейчас вырвет, подумала я.

— Она очень расстроена, — сказал баббо поверх маминой головы одними губами. Она продолжала рыдать. — Иди и предупреди своего брата.

Миссис Флейшман оставалась с нами пять дней, и все это время мама обращалась с ней крайне холодно и высокомерно. За столом она весьма красноречиво, напоказ суетилась вокруг

Джорджо, беспокоилась о том, чтобы он достаточно ел, подзывала официантов, чтобы его стакан никогда не оставался пуст, бегала за его сигаретами, если он забывал их в комнате, бросалась поднимать салфетку, если вдруг он ронял ее на пол. Но ее отношение к миссис Флейшман не менялось — ледяное отвращение. Кроме того, ее молчание говорило больше, чем сотни слов. Каждый вечер Джорджо уходил рано, с миссис Флейшман под руку, говоря, что у него неожиданно назначенный конкурс вокалистов, к которому требуется серьезная подготовка. Явная ложь, но я не могла его в этом винить. Со мной мама вела себя как с предательницей, которая причинила ей ужасную боль. Однако Кассандрой она меня больше не называла, как и не произносила этого ужасного слова на букву «е». Во всяком случае, в моем присутствии.

К тому времени погода улучшилась, небо очистилось от туч, и мне не терпелось выйти на пляж, чтобы потанцевать. Но каждый раз, когда я пыталась улизнуть из отеля в одиночку, я оказывалась страшно нужна маме, или баббо, или кому-нибудь из «льстецов». Было жизненно необходимо помочь маме выбрать шляпу, или погулять вместе с миссис «льстец» вдоль берега.

И пожалуйста, не могла бы я почитать баббо, или сопроводить его на пляж, чтобы он немного подышал свежим воздухом, или сбегать на почту с посылкой? Эти бесконечные мелкие поручения доводили меня до бешенства, но пару раз, когда я «восставала», мама быстро заставляла меня замолчать, а баббо умолял быть с ней нежнее, учитывая, какое огромное потрясение она пережила, узнав об интрижке Джорджо.

Мама пребывала в убеждении, что мне обязательно нужен длинный перерыв, отдых от занятий, и повторяла это каждому, кто готов был слушать, в то же время гоняя меня то туда, то сюда. Я думала лишь о том, что мне нужен отдых от нее и ее беспрерывных заданий и приказаний. Я едва нашла время, чтобы написать Беккету, хотя он послал мне несколько открыток из Германии. А затем баббо не заметил низкую стену, споткнулся и перекатился через нее, и я должна была сидеть с ним на пляже, пока он лежал на песке, играл с галькой и снова и снова задавал мне один и тот же вопрос: не было ли у меня предчувствия, что он упадет? Однажды он предложил мне потанцевать для него на пляже, прямо в купальном костюме. Я перебрала все позиции, сделала несколько плие, но он жалобным

голосом сказал:

— А может, потанцуешь в духе Айседоры Дункан?

Я была совершенно не в настроении и поэтому стала помогать ему складывать из гальки тугие выпуклые спирали. Он называл их «тюрбаны эмира».

Медленно, но неотвратимо мои мышцы ослабели, а сила уменьшилась. Мое тело постепенно атрофировалось. А в глубине моего существа словно бы гнили сказанные мне на прощание слова мадам Егоровой. Что она имела в виду, говоря, что если я не могу проявить силу и противостоять семье, то, возможно, недостаточно сильна и для балета? После нескольких бессонных ночей я наконец поняла, что это значит. В завуалированной манере русских, не любящих говорить напрямую, она пыталась донести до меня, что у меня не хватает таланта или физической силы для того, чтобы заниматься классическим балетом. Когда мы возвращались домой, в поезде меня настиг еще один момент полной ясности и решимости. Я должна доказать мадам, что она не права. И сделать это можно было лишь одним способом. Мне необходимо освободиться от удушающего, сковывающего влияния моей семьи. Настало вре-

мя определить свою судьбу, взять собственную жизнь в свои руки. Настало время выйти замуж.

Как же это было восхитительно — вернуться в Париж! После мокрых серых английских пляжей я едва могла сдержать радость — я снова здесь, в городе, который уже привыкла считать своим домом. Бульвары были усыпаны пустыми колючими оболочками от упавших каштанов, и листья на деревьях приобрели оттенок бронзы и начали скручиваться по краям. И в то же время в городе чувствовался непокорный, даже бунтарский дух, как будто ему не было и дела до того, наступит зима или нет.

Было ужасно приятно опять оказаться в квартире на Робьяк-сквер, бряцать на фортепиано, танцевать напротив большого, в полный рост, зеркала, спать в собственной постели и завтракать с непричесанными волосами. Беккет приходил почти каждый день, и мне казалось, что его пронзительный взгляд задерживался на мне немного дольше, а наши беседы в коридоре стали более личными. Как будто наши объятия в гостиной пробудили в нем нечто новое. Только в присутствии мамы он молчал, смущался и опускал глаза.

— Я не могу жить на чемоданах, — призналась

я ему как-то утром, вскоре после того, как мы вернулись. Беккет прибыл раньше, чем обычно, и мне удалось уговорить его пройти в гостиную и выпить по чашке чая «английский завтрак». — Мама и баббо обожают останавливаться в отелях. Им нравится постоянно укладывать, а потом разбирать вещи, переезжать с места на место, спешить с парома на поезд, ехать в автомобиле в отель и так далее.

— А вам нет? — Беккет сидел на краешке дивана; на его коленях лежали три тома Шекспира. Аккуратная, почти выровненная по линейке стопка.

— Они делают это так легко, без всяких усилий. А я ненавижу эту бесконечную возню с чемоданами. Я никогда не знаю, в какой отель мы направимся дальше, и это я тоже ненавижу. Танцевать в таких условиях невозможно. Баббо может писать в поездах и на паромах, но я ведь не могу заниматься, не так ли? И еще я терпеть не могу наряжаться. — Я глубоко вздохнула, театрально откинулась на спинку дивана и уставилась в потолок.

— Наряжаться?

— Одеваться к завтраку, одеваться к обеду. Всегда выглядеть достойно и прилично. Я не хочу,

чтобы моя жизнь была такой… неустроенной, будто всегда на колесах. И чтобы такое значение придавалось ее внешней стороне. — Я повернула голову и оглядела Беккета. Он начал одеваться как баббо. Купил себе пару остроносых лакированных туфель — точно такие носил баббо. Я видела, что они ему маловаты и жмут пальцы. Те, кто танцует, обычно замечают подобные вещи.

— О, я понимаю. — Беккет склонился к столу, бросил в чашку кубик сахара и задумчиво размешал.

— Мне нужно место для танцев. Пространство. Лучше всего — одно и то же место каждый день. И еще граммофон и балетные туфли. Мама этого не понимает. — Я беспомощно пожала плечами. На самом деле я старалась нарисовать Беккету образ жизни, который я хотела бы вести в качестве миссис Беккет. Было важно, чтобы он осознал, что обязательно требуется танцовщице.

Я села ровно и подвинулась к нему немного ближе.

— Теперь, дома, я чувствую себя намного лучше. Вы рядом, я снова могу танцевать. Мое душевное равновесие почти восстановилось!

— Стало быть, мадам Егорова приняла вас обратно? — Взгляд Беккета скользнул мимо меня и

остановился на стене с портретами.

— Да, но я знаю, что она пристально за мной наблюдает. И я занимаюсь как сумасшедшая. — Я снова посмотрела на него. Он должен понимать, что я не собираюсь бросать балет. И что, став миссис Беккет, я продолжу танцевать. Я не хотела вести такую жизнь, как мама, — разбирать белье перед стиркой, покупать новые туфли и завивать волосы. Нет, я — танцовщица, и ею я останусь. Но Беккет пристально вглядывался в фамильные портреты, словно желал запечатлеть их в памяти. — Хотя мама и баббо то и дело гоняли меня с разными поручениями, так что мне не было ни минуты покоя, эти дни без танцев казались мне такими пустыми. Я думаю, это дурно сказывается на мне — отсутствие занятий, — с чувством и ударением произнесла я. Не только потому, что хотела еще раз подчеркнуть, каким мне видится будущее миссис Беккет. Эти два месяца без танцев помогли мне осознать, как важно жить собственной жизнью — и облечь эти мысли в слова. И теперь я собиралась поделиться этим с Беккетом. Я знала, что он обязательно меня поймет. — Танец, само собой, придает моей жизни цель и смысл. Но он значит для меня еще больше, гораздо больше. Когда я танцую, я слов-

но становлюсь другим человеком. Множеством других людей.

Однако Беккет как будто не слышал меня. Я видела, как он поглядывает то на дверь кабинета баббо, то на стопку книг на коленях.

— Вашему отцу понравилось в Англии? — наконец спросил он.

Я решила не развивать тему танцев. Я видела, что на уме у него совсем не то.

— Он сидел в пабах, слушал разговоры посетителей, работал над книгой, повидался с еще одним глазным доктором в Лондоне и много играл с галькой на пляже.

— С галькой? — Его взгляд вернулся ко мне.

— Да, с галькой. Знаете, с камушками. Отель в Торки напоминал дворец. Там был свой оркестр и электрический лифт. Они были в восторге — вам же известно, что они обожают роскошь. Мама только об этом и говорила. Мне больше пришелся по душе Кембридж. Там баббо записывали на пластинку. Он читал из книги, над которой работает. — Я помолчала и коротко рассмеялась. — Кто-то описал его голос как «мягкий и текучий, с несколько журчащими обертонами».

— А он знал, о ком говорит? — Беккет фыркнул в чашку.

— Достаточно о нас. Как ваши дядюшка и тетушка?

— Неплохо. — Он слегка откашлялся. — Ваш отец попросил меня перевести отрывок из книги, над которой он работает, на французский.

Мое сердце подпрыгнуло.

— Баббо думает, что вы великолепны, Сэм. Значит, вы будете бывать здесь больше, чем раньше?

Беккет кивнул и погрузился в гнетущую тишину, отсутствующе глядя в свою чашку с чаем.

— Я могу вам помочь. Перевести это будет нелегко, но мы справимся. — Я ободряюще сжала его руку чуть выше локтя. Беспокойство немного меня отпустило — теперь я знала, о чем он думает.

— Вы очень добры, Лючия. Очень милы. — Он провел ладонью по лицу. О, как мне хотелось обнять его! У него вдруг сделался очень усталый вид, как будто перспектива переводить книгу баббо совершенно его обессилила. Он выглядел так, словно на плечи ему возложили тяжелый груз. — Я должен ехать в Ирландию на следующей неделе, — добавил он. — Разобраться с продлением контракта и повидаться с родителями.

— Когда вы вернетесь? — Я отпила чаю, на-

гнулась так, чтобы мои груди слегка коснулись его, поставила чашку обратно на стол и выпрямилась.

Беккет моргнул и сглотнул так сильно, что его адамово яблоко судорожно дернулось.

— В ноябре.

А затем появился баббо, с красными, слезящимися глазами. Мистер Беккет вскочил, и они скрылись в кабинете.

Я подняла чашку Беккета и прижалась губами точно к тому месту, где только что были его губы. И ощущения, которые это во мне рождало, казались мне самыми правильными на свете. Я счастлива. Я в Париже, с Беккетом, с мадам Егоровой. Конечно, я буду скучать по нему, когда он уедет в Ирландию. Но это даст мне время хорошенько обдумать мои планы насчет нашего брака, удостовериться, что он будет идеальным и безопасным для моего будущего. Да, все двигалось вперед, и двигалось безупречно.

Сначала я почувствовала нежный, обволакивающий запах роз и только потом увидела их цвет — марципаново-желтый. И лишь приблизившись к цветам вплотную, так что я могла бы до них дотронуться, я заметила за огромным букетом миссис Фицджеральд. Ей приходилось

выглядывать из-за роз, чтобы не споткнуться о ступеньку. Я как раз выходила из студии мадам Егоровой, а она направлялась туда, выставив перед собой цветы, словно щит.

— Какие чудные розы! — воскликнула я.

— О, они для мадам. Я каждый день приношу ей какой-нибудь подарок. Как правило, это цветы, но не всегда. — Миссис Фицджеральд, как обычно, говорила слишком быстро, чуть задыхаясь. — Я не могу вынести и мысли о том, что великая мадам Любовь Егорова живет в бедности. Да, я просто не могу это вынести! Она ведь княгиня Трубецкая, вам это известно?

Я в замешательстве кивнула.

— А теперь она бедствует! Вы бывали в ее крохотном домике? У нее даже нет ванной комнаты! И думать об этом невозможно! — Миссис Фицджеральд усиленно заморгала, словно пыталась отогнать набегающие слезы.

— Как ваши уроки, миссис Фицджеральд?

— Посмотрите на это, Лючия! Только посмотрите! — Она сунула мне букет. — Подержите-ка минутку. Вы просто обязаны это увидеть! Просто обязаны!

Она сбросила вышитые туфли на высоких каблуках, стянула с одной ноги чулок и вытянула

ее вперед. Ее ногти были так сильно поражены грибком, что напоминали устричные раковины, коричневатые и ребристые. На мизинце красовалась огромная мозоль, красная и воспаленная, из которой сочился густой бледно-желтый гной.

— Я упражняюсь по восемь часов в день. Восемь часов, Лючия. Другие танцоры в моем классе занимаются до тех пор, пока из балетных туфель не начинает идти кровь.

Миссис Фицджеральд заметила, как я поежилась. Не то чтобы я была брезглива — на своем веку я навидалась и грибковых ногтей, и гнойных мозолей. Скорее, дело было в ее развязности и фамильярности. И в том, что она как будто старалась меня напугать. Миссис Фицджеральд снова надела чулок и туфлю и выхватила у меня розы.

— Мадам требует абсолютной преданности делу, — продолжила она. Ее американская манера чуть гнусавить и тянуть гласные звучала довольно забавно в сочетании со скоростью ее речи. — Без этого невозможно стать балериной. Я успеваю только спать и заниматься, больше ничего. Если действительно хочешь танцевать — приходится приносить такие вот жертвы. — Она оглядела лестницу, как бы проверяя, не подслушивают ли нас. А потом понизила голос и подманила меня

к себе так близко, что я уткнулась лицом в букет желтых роз. — Но я не слишком стара! Никого не слушайте! Меня пригласили в балетную труппу театра Сан-Карло в Неаполе! И предложили сольную партию в «Аиде» в качестве дебюта! Что вы об этом скажете! — Ее глаза блестели от экзальтации, и их сверкание в окружении роз казалось почти сверхъестественным.

— И вы едете?

Миссис Фицджеральд покачала головой:

— О нет. Скотт мне запретил. Он сказал, что об этом не может быть и речи. — Она немного помолчала, и ее лицо на секунду стало грустным. — Но я подожду роли в «Русском балете»! Это моя мечта — танцевать в «Русском балете»! На прошлой неделе у них был смотр талантов. — Она снова лихорадочно осмотрелась. — И я думаю, они меня заметили, Лючия! А теперь я должна бежать. Мадам ждет меня.

И миссис Фицджеральд понеслась вверх по лестнице, прижимая к себе свои прекрасные розы.

Возвращаясь домой, я размышляла о ее воспаленной мозоли. И о скрытом значении ее слов — о том, что муж не разрешил ей принять место в труппе престижного театра Сан-Карло. В

сущности, успехи миссис Фицджеральд должны были бы меня вдохновить. Но как раз об этом я едва думала. Мои мысли упорно возвращались к тому, что мистер Фицджеральд заставил жену отказаться танцевать в «Аиде». Какая покорность с ее стороны! У меня появились дурные предчувствия. Возможно, замужние женщины не более свободны, чем незамужние. Возможно, мой замысел вступить в брак вовсе не обеспечит мне безопасное будущее, как я считала…

Через две недели после встречи с миссис Фицджеральд я получила письмо. И оно снова погрузило меня в хаос и полностью разрушило мое душевное равновесие.

Мама, баббо и я сидели за завтраком. Баббо шумно хрустел тостом, мама скребла маленькой ложечкой по дну баночки с джемом. Я осторожно вскрыла письмо ножом для разрезания бумаги, предполагая, что оно, должно быть, от кого-нибудь из моих школьных друзей. Письмо выпало из конверта. Оно было написано на тонкой, как шелк, бумаге, и почерк был мне незнаком. Я быстро прочла его и поначалу не поверила своим глазам. Поэтому я прочла его еще и еще раз, пока мои пальцы наконец не затряслись от волнения. Послание было от Элизабет Дункан, сестры Айсе-

доры Дункан, чью школу я до недавнего времени посещала каждое лето.

— От кого письмо? — требовательно спросила мама. — Ты его уже лет сто читаешь.

Баббо поднял голову и пробормотал:

— Письма королю о сокровище от кота…

Мама закатила глаза.

— От кого письмо, Лючия?

Я не смогла сказать ей, что оно от Элизабет Дункан, которая предлагает мне место профессиональной преподавательницы танцев в ее школе в Дармштадте. Я должна буду учить немецких девочек современному танцу и движению. Все, о чем я думала в то мгновение, — что мне, *мне,* той, с кем многие обращались как с малым ребенком, предложили настоящую работу. С оплатой!

— Я смогу сама выбирать себе одежду! — воскликнула я. Моя первая работа. Преподавательница танцев. Первая настоящая возможность самой заработать деньги!

— О чем, во имя Господа, ты сейчас говоришь, Лючия? Это от кого-то из твоих друзей из Цюриха? — Мама наклонилась ко мне, как будто хотела выхватить письмо у меня из рук. Я отодвинулась подальше и прижала его к груди. — Тебе нужна новая одежда, что верно, то верно. Эта ночнушка

разорвалась у подола, и ты прекрасно знаешь, что нам не нравится, когда ты завтракаешь в том же, в чем спишь. Это распущенность и неряшливость. Почему ты еще не причесана?

— Мне предлагают работу! — закричала я в восторге, не обращая внимания на маму, и помахала письмом перед носом баббо. — Миссис Дункан хочет, чтобы я стала преподавательницей в ее школе танцев в Германии. И плату она тоже предлагает!

Баббо посмотрел на меня. В его глазах застыло изумление. Мама положила тост и тоже уставилась мне в лицо.

— Она желала бы, чтобы я приступила к работе через четыре недели. Я буду жить прямо там, в школе, с другими преподавательницами, и смогу приезжать домой на Рождество.

Я затихла. Лицо мамы почернело. Глаза баббо за линзами очков казались совсем мертвыми. Его губы дернулись, словно он попытался что-то сказать, но не нашел слов.

— Покажи письмо, — потребовала мама и протянула руку.

Я передала ей исписанный тонкий листок бумаги. Она молча прочитала его и так же молча отдала баббо.

— Я ведь не в состоянии этого прочитать, Нора, — очень тихо заметил он и положил письмо на стол.

— И речи быть не может. — Мама сжала губы в точку и тесно сплела руки на груди. — Твой отец — почти слепой. Ты нужна ему здесь. От Джорджо толку нет — он теперь всегда с миссис Шикарные Портки Флейшман. Если ты уедешь, это убьет твоего отца. Как пить дать.

— А как же твой балет? — словно издалека послышался голос баббо. Мне почудилось, что он говорит, стоя в конце длинного туннеля. Лиловые полумесяцы у него под глазами вдруг как-то сразу набрякли и потемнели.

— Это предложение означает, что я — хорошая танцовщица. Я достаточно профессиональна, чтобы учить других. И после я всегда смогу вернуться в Париж.

— Но ты не станешь балериной? — Баббо снял очки, потер воспаленные глаза и крепко сжал веки.

— Я… я полагаю, что не смогу делать то и другое одновременно. Но позже я смогу снова заняться балетом. Я еще не слишком стара.

— Это просто смешно. — Мама с шумом отодвинулась от стола. — Все эти танцы — курам

на смех, да и только. Этим занимаются только богатые девицы, чтобы научиться ходить как принцессы, как прекрасно известно твоему отцу. Так что давай закончим эти разговоры о работе — прямо здесь и сейчас. Ты не Анна Павлова и никогда ею не станешь. — Она встала и принялась швырять посуду в раковину с такой злостью, что я еле слышала баббо за бряцанием тарелок и звоном столовых приборов.

— Нам придется очень тяжело, Лючия. Дармштадт — это так далеко. — Баббо дрожащей рукой отдал мне письмо.

— Как ты можешь думать только о себе? Что на тебе за проклятие! Как твой отец сможет закончить книгу, когда тебя здесь не будет? Он работает над ней уже семь лет. Семь лет! Наша задача — помогать ему, а не вальсировать по всему миру без единой заботы в голове.

— Если тебе требуется больше денег, мы станем давать тебе больше. И если ты хочешь сама выбирать себе одежду, я уверен, твоя мать тебе это разрешит. Ведь так, Нора?

Мама презрительно откинула голову и ничего не сказала. Она завинчивала крышки на баночках с джемом с такой силой, что моя рука невольно потянулась к горлу, — казалось, дай ей

волю — и она вот так же свернет шею и мне.

— Дело не в деньгах и не в одежде, — прошептала я, съежившись под порывом настоящей ярости мамы и боли баббо.

— Ну, и в чем же тогда дело? — Мама уперла руки в бока и пронзила меня гневным взглядом.

— Во мне… в моей жизни. В моей… моей… независимости. Я хочу танцевать.

— Да, да, дело всегда в тебе, Лючия. Очень скоро ты станешь независимой, могу сказать тебе точно — когда мы оба сдохнем от твоих эгоистичных поступков. Поговори с ней, Джим. Вложи ей в голову хоть немного здравого смысла. — Мама вышла из кухни и так оглушительно хлопнула дверью, что на полке задребезжали чашки.

Баббо и я остались сидеть за столом. Мы молчали. На особой подставке подсыхал тост. Сама тишина, казалось, резонировала со страхом и тревогой баббо.

— Видишь, как расстроена твоя мать, Лючия. Для нее это будет невыносимо — быть со мной одной по многу месяцев подряд. А здесь, в Париже, ты сможешь ходить вместе с нами в театр и смотреть все лучшие танцевальные представления и балетные спектакли.

— Я не хочу их смотреть — я хочу в них участ-

вовать! Я танцовщица! Хорошая танцовщица!

— Твоя мать считает, что выступления на сцене плохо влияют на твои нервы. — Баббо умолк и провел рукой по волосам. — Возможно, переплетное дело больше подойдет твоему характеру. Это спокойное, неразражающее занятие.

— О да! Переплетное дело! — Я горько рассмеялась. Почему все всегда возвращается к переплетному делу? Почему они не видят ценность танца?

— Или… или рисование. Ты могла бы делать иллюстрации к моим работам. — Усталые, в красных жилках глаза баббо вдруг озарились странным светом, как будто в голову ему пришла замечательная идея, ключ ко всем проблемам. Он перегнулся через стол и взял меня за руку. — Можешь себе это представить, mia bella bambina? Мы с тобой работаем вместе. Я найму тебе учителя рисования. Я как раз знаю подходящего человека. — Он широко улыбнулся, словно разговора о предложении Элизабет Дункан не было вовсе.

Я была так ошарашена, что не могла вымолвить ни слова. Как это случилось, что за столь короткое время мы перешли от обсуждения моего будущего места преподавательницы танцев к урокам рисования? Я даже не сумела ему ничего

ответить.

Баббо встал и откашлялся.

— Я позвоню Александру… мистеру Колдеру сегодня же. И попрошу мисс Стейн поводить тебя по музеям и художественным галереям. Твоя мать считает, что тебе будет полезно завести друзей, которые не имеют отношения к танцам. — Выходя из комнаты, он энергично покивал головой, но у дверей неожиданно обернулся и добавил: — И конечно, Беккет здесь, в Париже. Сомневаюсь, что он вынес бы твое пребывание в Дармштадте.

Хлопнула дверь кабинета. Затем парадная дверь — мать куда-то ушла. И наступила тишина.

Я нашла лист бумаги и ручку. Ответ миссис Дункан я написала и отослала в то же утро.

Уснуть в ту ночь я не смогла. И виной тому была не только гроза, бушевавшая снаружи, но и бесконечные вопросы, роившиеся у меня в голове. Вопросы о крепости моего духа, моей решительности, моей неспособности «проявить силу, чтобы противостоять семье», как выразилась мадам Егорова. Я думала о том, как миссис Фицджеральд предана балету, а ее муж запрещает ей выступать. Сотни мыслей не давали мне покоя — о Джорджо и миссис Флейшман, о книге

баббо и моей роли музы, о враждебном отношении мамы и, конечно, о Беккете. Решив не ехать в Дармштадт, я, по крайней мере, буду проводить больше времени с Беккетом. Ведь родители не смогут помешать мне выйти за него замуж? А когда мы поженимся, не попытается ли он тоже наложить свое вето на мои занятия танцами? Сумею ли я сказать «нет» своему возлюбленному? Отстоять свои интересы? Эти вопросы мучили меня, кусали, словно блохи, пока, наконец, ветер немного не стих, и я смогла забыться неспокойным сном.

На следующее утро, когда я делала растяжку у станка после урока, мадам Егорова подозвала меня к себе. Мы устроились в углу студии. Она сидела на табурете для фортепиано, ее маленькие руки были сложены на коленях, а волосы, как всегда, так туго стянуты в пучок, что глаза мадам приобрели несколько восточный разрез. Аккомпаниатор только что ушел, другие танцоры развязывали пуанты, снимали головные повязки, распускали пучки и постепенно переходили в раздевалку.

— Лючия, это ваш третий месяц здесь, так?

Я настороженно кивнула:

— Да, мадам.

Конечно, она заметила мою скованность у станка. И неудивительно. Изнуренная тревожными мыслями и почти бессонной ночью, я была обессилена, что не могло не отразиться на моем чувстве ритма и энергичности. Я подняла подбородок и попыталась вызвать в теле ощущение легкости.

— Вы недостаточно усердно работаете. — Она нетерпеливо потопала ногой по полу. — Я наблюдала за вами. И знаю, что во время отпуска вы совсем не занимались.

— Простите, мадам. Я должна была приглядывать за родителями, заботиться о них. Мой отец упал — наткнулся на стену… — Я говорила все тише и наконец умолкла.

— Сегодня в вас совсем не было энергичности. Вы почти висели на станке. Вы ослабели. Да, ослабели. — Мадам сощурила сверкающие глаза и уставилась на меня.

— Я дурно спала прошлой ночью. Я знаю, я еще нагоняю класс после лета, но хочу продолжать. Балет — моя жизнь, мадам. — Я посмотрела на свои ноги, все еще в пуантах. Развязанные ленты змеились по полу.

— Вы думали о том, что я вам сказала перед тем, как вы уехали, Лючия?

— Д-да, мадам, — заикаясь, пробормотала я. — Я хочу доказать вам, что могу это сделать. Просто сегодня я очень устала и у меня болят мышцы. Простите, мадам.

— Вы отстали, Лючия. У балерин не бывает отпусков. Они танцуют до тех пор, пока не приближаются к смерти вот на столько. — Она почти свела вместе большой и указательный пальцы, так что между ними осталась лишь тонюсенькая щелочка. — Вы должны спуститься на класс вниз. Будете заниматься вместе с детьми.

Я почувствовала, как от лица отхлынула кровь. Мои ноги начали дрожать.

— Вы слышали, что я сказала, Лючия? — Мадам озабоченно посмотрела на меня. — Вам нехорошо?

Я тупо покачала головой. Студия медленно кружилась, и в моих легких, кажется, совсем не осталось воздуха. Я услышала, как мадам велит мне лечь на пол, и ощутила ее руки на своих плечах — она нежно нажимала на них, пытаясь заставить меня лечь.

— И дышите глубже, Лючия. Прилягте, не двигайтесь и дышите, — донесся до меня ее голос.

Студия закружилась еще быстрее, и последним моим воспоминанием стало: мое тело перестает

меня слушаться и рушится на пол. Когда я пришла в себя, надо мной нависала мадам, почему-то искаженная и огромная, как отражение в выпуклом зеркале на ярмарке.

— Вы потеряли сознание, — сказала она.

Я медленно села. Как же я была слаба! Как хрупка! На секунду я даже не поняла, где нахожусь. Но потом все как-то заторможенно вернулось на свои места. Я в пустой танцевальной студии с зеркальной стеной и станком и окнами, из которых видны верхушки деревьев. Закудрявившиеся по краям, сухие желтые листья слетали с веток и тихо шуршали по запачканным сажей оконным стеклам. Над деревьями беловатое осеннее солнце пыталось вывернуться из-под одеяла грязно-серых туч. С улицы внизу слышался шум транспорта — блеющие гудки автомобилей, визжащие шины, стук лошадиных копыт и колес тележек, звонки велосипедов и пронзительный свист жандарма.

— Вы хотя бы едите? Вы, танцовщицы, вечно голодаете. — Мадам вытащила из сумки несколько шоколадных конфет с засахаренными фиалками и протянула их мне. — Подарок от миссис Фицджеральд. Теперь мне нужно идти на урок. Посидите здесь, пока вам не станет лучше. Тогда

пойдете домой.

Оглушенная, ошеломленная, я кивнула и снова закрыла глаза. Слова мадам все еще носились в воздухе, эхом отражаясь от стен студии и от зеркала, ползали по полу, обвивались вокруг станка. «Вы должны опуститься на класс ниже… Будете заниматься вместе с детьми…» Она узнала обо мне правду, подумала я. Что я не могу танцевать, что мне не хватает дисциплины, что мое тело не годится для балета, что я — дитя и должна обучаться с детьми. Я не танцовщица — я мошенница. И мадам меня разоблачила. Как же я была глупа и самонадеянна! Я думала, что смогу научиться балету. Думала, что у меня есть талант. Да я вообще хоть когда-нибудь умела танцевать? Есть ли у меня хоть капля способностей? И баббо тоже видел всю правду. Вот почему он так настойчиво советовал мне стать переплетчицей. Я представила, как стою у станка с маленькими девочками и как их изумленные взгляды преследуют каждое мое танцевальное движение. Танцевальное? Ха! Громоздкое, неловкое, огромное существо. Я, как наяву, услышала, как они шепотом обсуждают мой косящий глаз, показывают на слишком большие груди, толстые бедра, ноги, которые не в состоянии сделать пра-

вильный разворот, гигантские ступни в мозолях и натоптышах. Все гротескно, все чудовищно.

Я встала. Попрощалась со студией. Прошла по коридору. Спустилась на семь лестничных маршей вниз. Вошла в вестибюль. Отыскала листок бумаги и ручку и написала короткое письмо мадам Егоровой, поблагодарив ее за все, что она для меня сделала. Вложила его в конверт. Написала наверху ее имя с пометкой «лично в руки». И оставила на небольшом столике, прислонив к вазе с увядающими хризантемами.

Только дойдя до Люксембургского сада, я осознала, какое огромное, переворачивающее жизнь решение я приняла. Это понимание ударило меня в грудь, как порыв ледяного ветра, и слезы побежали у меня по щекам. Я еле доплелась домой и следующие две недели проплакала у себя в спальне. Мама оставляла у порога подносы с едой. Баббо кричал в замочную скважину, пытаясь дознаться, что случилось, умоляя меня сказать хоть слово. В конце концов я ответила им — и не узнала свой голос, глухой, низкий, искаженный рыданиями.

— Я не могу стать балериной. Я для этого не гожусь. Я понапрасну растратила свой талант и теперь не могу вернуться обратно. Долгие годы

тяжелой работы потрачены впустую, и отбросила их я сама. Моя жизнь кончена. И никто этого не понимает. Поэтому я плачу. А теперь оставьте меня в покое!

Октябрь 1934 года

Кюснахт, Цюрих

— Сегодня, может быть, последний день года, когда я могу поплавать на моей лодочке, мисс Джойс. — Доктор Юнг провожает меня взглядом, когда я иду по длинной, обсаженной по сторонам деревьями тропинке, которая начинается у дверей его дома и проходит через сад, и жестом подзывает меня к маленькому лодочному домику на берегу озера. — Я вывожу на эту прогулку по воде только самых своих любимых пациентов. — Он делает паузу и улыбается мне. — Тех, кто не вызывает у меня опасений, что они бросятся в озеро.

— Отчего же вы считаете, что я этого не сделаю? — Я принимаю его руку и осторожно ступаю в лодку, радуясь, что сегодня на мне не вечернее платье.

— Мы отплывем подальше от берега и затем продолжим нашу беседу. Ваши мемуары у меня

вот здесь. — Он похлопывает себя по карману куртки.

— До чего же по-другому все выглядит с воды. — Я смотрю на зеленые ставни и узорчатые кованые решетки, закрывающие окна огромного дома-куба доктора. Деревья на берегу стоят во всем своем осеннем великолепии — бронзовые, медные, золотые. По озеру проходят паромы и лодки, оставляя за собой белые пенящиеся следы, а у нас над головами выписывают круги черноголовые чайки.

— Да, отсюда все представляется иначе. — Доктор вынимает мою рукопись и кладет на скамью рядом с собой. Ветер тут же начинает листать ее страницы. — Не волнуйтесь, мисс Джойс. Ее не сдует.

Он возится с парусами, а потом придавливает рукопись большим камнем.

— С чего бы вы хотели начать сегодня? С доктора Негели, возможно? — Он тянет на себя канат, потом отпускает, и лодка начинает разворачиваться. Я гляжу на Цюрих, который, как короста, пристал к дальнему берегу озера.

— Я сказала баббо, что сифилис — это только моя вина. Мое наказание за все то, что я сделала. За все дурные вещи.

— И что на это ответил ваш отец?

— Он твердил, что это, наоборот, его вина. Но я ему не верю. Он такой хороший. Такой чистый.

Доктор Юнг хмурится.

— Расскажите мне обо всех заболеваниях, которыми страдал ваш отец. И о его глазах. Вы говорите, он почти слеп?

— У него постоянные приступы иридоциклита — распухают и воспаляются радужные оболочки. Врачи советовали ему принимать мышьяк, но это же яд, он может убить человека. И баббо знал кого-то, с той же болезнью, кто выпил мышьяк и впал в кому. Вдобавок у него конъюнктивит, и глаукома, и еще какой-то эписклерит, и еще бле… блепа… — Я прижимаю ладонь к виску. Почему я не могу вспомнить название?

— Блефарит?

— Да. И еще упадок сил и нервное истощение. Баббо говорит, что он заслужил все это за свои многочисленные пороки, но я считаю, что виновата я. — Я приподнимаю подбородок и смотрю поверх головы доктора на волнистые холмы, высящиеся за Цюрихом.

— Нет, мисс Джойс. Вы ни в чем не виноваты. — Доктор Юнг понижает голос, словно разговаривает сам с собой. — Мышьяк… Фурункулы… у него

были фурункулы? Потеря аппетита?

— Да, порой. Но хорошая новость, доктор, в том, что профессор Негели не нашел в моей крови никаких следов сифилиса.

— Ага. Значит, теперь ваше излечение зависит целиком от психоанализа. Нам нужно раскрыть ваши патогенные тайны.

— Патогенные?

— Ну, скажем, очень глубоко скрытые внутри. То, что случилось с вами когда-то, и ваш разум как бы спрятал это подальше и запер на замок, а теперь эти тайны и вызывают вашу болезнь. Вы должны оказаться с ними лицом к лицу. — Даже здесь, на озере, в лодке, он безжалостно ощупывает глазами мое лицо.

— Но если они заперты на замок, как я могу оказаться с ними лицом к лицу?

— Продолжайте записывать свои сны. Сон — это маленькая дверь в самые сокровенные тайники человеческой психики.

— Что вы думаете о моих мемуарах, доктор?

— Почему вы не согласились принять место преподавательницы танцев?

— Баббо нуждался во мне. Не как в собаке — проводнике для слепого, но чтобы служить ему источником вдохновения и предоставлять

материал для книги. Мои танцы были для него откровением.

— Вы остались, чтобы продолжать быть его музой?

— Я никогда не употребляла этого выражения — «быть музой». Я знала, что матери это не нравится. Но все время, пока росла, я будто чувствовала на себе взгляд баббо. Он постоянно наблюдал за мной, изучал меня. Вот почему я спала в одежде. — Я запинаюсь. Понемногу начинаю дрожать. Холод зарождается в моей груди и распространяется по всему телу, как если бы у меня резко снизилась температура крови.

— Умоляю вас, продолжайте, мисс Джойс.

Прямо у отражения белого паруса цапля вдруг ныряет в воду и появляется на поверхности с маленькой рыбкой в клюве. Рыбка трепещет и бьется.

— Иногда его глаза казались мне алчными. Он склонял голову набок, как птица, и я знала, что он не только наблюдает, но и слушает меня, и записывает.

Цапля летит к берегу и скрывается в зарослях деревьев.

— Несомненно, его интересовало, что вы говорите, как и любого хорошего родителя. — Доктор

Юнг наклоняется, набирает пригоршню воды и жадно и шумно пьет.

— О нет! На этот счет я иллюзий никогда не питала. Он думал, что мои слова или их ритм могут оказаться полезными. И что мои сны также могут ему помочь, особенно когда он начал писать о темной ночи души. Книга, над которой он работает, — это сон, видите ли. И он извлекает пользу из всего, что находится вокруг, из всего, что его вдохновляет.

— Когда вы впервые осознали, что являетесь для своего отца музой?

Я смотрю за борт, на зеленую воду. Она такая прозрачная, что можно разглядеть крошечных рыбок, резвящихся на глубине вокруг лодки. Когда на них попадает луч солнца, они становятся золотыми. Когда я поняла, что я — муза баббо? Да, это было в тот день. Вернее, однажды вечером на Робьяк-сквер, когда он впервые прочитал отрывок из книги, над которой работает. Мне тогда было семнадцать. Он пригласил нескольких «льстецов», чтобы они услышали несколько страниц, на написание которых он потратил не менее тысячи часов. Все расселись вокруг ног баббо и чуть приподняли лица, словно в молитве. Я бегала туда-сюда, поднося им напитки и

одновременно помогая матери готовить ужин, который должен был последовать за чтением. Она осталась в кухне, сказав, что «уже слышала все это раньше». Я помню, как тонкий голос баббо то опускался, то поднимался, помню, как плавно текли слова, словно река или мелодия. Но в какой-то момент меня вдруг пронзило ощущение узнавания. Я поняла, что он рассказывает обо мне! Он написал обо мне, и теперь я — часть того, что обязательно станет величайшим романом в истории человечества. Мой желудок скрутило в болезненный узел. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не закричать во весь голос: «Но это я! Это мое!» Мной овладело странное и необъяснимое чувство — что надо мной как будто совершили насилие. Словно он что-то отнял у меня.

Но этим я с доктором Юнгом не делюсь.

— Он использовал мои слова, — просто говорю я. — А Киттен сказала, что мне повезло — быть музой! — Я опускаю пальцы в прохладную воду, потому что уже начинаю выдыхаться. Все эти разговоры о музах! Что принесло мне то, что я являлась музой баббо? Меня заперли в тюрьму и навсегда приковали к нему кандалами. И тем не менее это все, что у меня осталось. Все прочее

распалось на части, рассеялось по ветру.

— Это правда. У многих великих мастеров есть музы, и считаться музой такого человека, как правило, большая честь. — Он сдвигает очки в проволочной оправе на лоб и рассматривает меня.

— Мой отец — гений. Такой же, как Рабле или Данте. — Я распрямляю плечи и сдвигаю лопатки, позволяя свежему ветру обнять себя. Пусть он обволакивает меня со всех сторон. — Куда бы он ни направился, его всюду узнают. И выражают восхищение.

— Вы этому завидуете?

Я молчу. Иногда я вспоминаю переполняющее меня чувство гордости, ошеломляющий успех, который словно окружал меня золотым сиянием, долгие аплодисменты, крики «браво!» после многих моих выступлений — на фестивале, в Театре Елисейских Полей, в Театре Вьё-Коломбье. Да, это было прекрасно.

— Так почему же вы бросили балет, мисс Джойс?

— Это было слишком тяжело. Киттен оказалась права — я была чересчур стара для него. — Я делаю паузу, снова заглядываю за борт лодки и вижу в воде свое отражение. Мое лицо смотрит

мне в глаза, оно колышется и раскачивается. И, на секунду растерявшись, я думаю, что опять танцую. — Я открыла для себя новую форму танца, для которой были не нужны выступления на сцене. И подразумевала помощь другим. Вы слышали о системе движений Маргарет Моррис? Как выяснилось, это и было моим предназначением, моей судьбой в том, что касалось танцев. Мы с Киттен как-то посетили несколько ее мастер-классов, по выходным дням, но затем баббо узнал, что она открывает в Париже свою школу.

Я со значением смотрю на берег. Лодку начинает качать, она болтается на волнах, перемешивая мои воспоминания, сталкивая одно с другим, пока они не превращаются в кашу.

— Отвезите меня обратно к пирсу, — величественно произношу я. — Вам придется подождать следующей главы.

— Бывали ли у вас еще моменты ясновидения, мисс Джойс? — Доктор переходит на другой конец лодки, под его весом она меняет направление, и мы плывем к берегу.

Я отвечаю не сразу. Мне кажется, что дно лодки засасывает мои ноги, как будто она хочет приковать меня к себе, как якорем, защитить от качки. И я помню, что прошлой ночью видела

сон. Я, миссис Фицджеральд, миссис Флейшман и Нижинский сидели кругом, на всех нас были смирительные рубашки, и мы как-то умудрялись плести корзины из ивовых прутьев, которые сверкали, словно бриллианты.

— Нет, — наконец говорю я и крепко хватаюсь за борта. — Ничего такого.

— Мы с вами прекрасно продвигаемся вперед. Теперь, когда ваш отец покинул Цюрих, нет никаких препятствий вашему лечению. — Доктор Юнг тянет канат на себя, и белый парус с силой разворачивается в другую сторону. — Пригнитесь, мисс Джойс.

Я нагибаюсь и в эту секунду решаю не сообщать доктору, что баббо все еще в Цюрихе, в отеле «Карлтон», что обходится его покровителю в огромную сумму. Нет. Это наш секрет, и доктор Юнг об этом ничего не узнает.

Глава 13

Октябрь 1929 года

Париж

— Mia bella bambina? — Голос баббо проник сквозь замочную скважину.

Я сидела на кровати, закутавшись в одеяла.

— Уходи!

— Я нанял грозного, непреклонного и строгого мистера Колдера, мистера Александра Колдера, чтобы он учил тебя рисованию.

Я ничего не ответила, только еще туже обернула одеялом ссутуленные плечи. У меня не было никакого желания рисовать. Я хотела танцевать. Мне было *необходимо* танцевать, двигаться.

— Я думаю, он тебе понравится, Лючия.

— Он ирландец? — спросила я из-под одеяла.

— Отопри дверь, mia bella bambina, и я расскажу тебе о нем все.

— Маме он нравится?

— Нет, но это не помеха.

Я подняла голову. Одеяло свалилось с плеч.

— Мистер Колдер всему тебя обучит, а затем

мы с тобой будем работать вместе. И мисс Стейн согласилась провести тебя по художественным галереям. Теперь ты снизойдешь до того, чтобы открыть дверь?

Я стряхнула одеяло совсем и сложила руки ковшиком у губ, чтобы баббо как можно лучше расслышал мои слова. Я собиралась кое-что у него попросить. Запершись в комнате, я по многу часов просиживала у зеркала, и мне стало ясно, что косоглазие сильно мешает моим брачным планам. Так что настало время распрощаться со страбизмом.

— Только если ты заплатишь за мою операцию на глазу!

— Я побеседую с доктором Боршем, и мы посмотрим, что можно сделать. Обещаю тебе. Может, все же откроешь дверь?

Я вылезла из кровати, подошла к двери и села на корточки, так чтобы мои губы находились напротив замочной скважины в железной рамке.

— Я не готова отказаться от своего таланта, баббо. И я не хочу переплетать книги!

— Я нашел для тебя место, где ты сможешь заниматься танцами, mia bella bambina. Пожалуйста, открой.

— С кем?

Сквозь скважину я чувствовала его запах. Дезинфицирующее средство и табак. Должно быть, мама обрабатывала его абсцесс или промывала ему глаза. Меня кольнуло чувство вины.

— Миссис Маргарет Моррис открыла школу минутах в пяти ходьбы отсюда. Я уже обеспечил тебе место.

— Маргарет Моррис из Лондона? — Я выпрямилась и повернулась к окну. Сквозь щели в закрытых ставнях пробивался солнечный свет, а снаружи каркали вороны.

— Она считает, что ты станешь прекрасной преподавательницей ее системы движений. И еще я получил письмо от Беккета. Он спрашивает о тебе.

За дверью послышался уверенный стук каблуков и затем голос мамы.

— Оставь это мне, Джим, — резко бросила она. — Ты ничего не знаешь о собственной дочери и о женщинах вообще. — Она громко заколотила в дверь ладонью. — Прошло уже недели две, как ты валяешься там у себя в кровати, Лючия. Сегодня у нас с твоим отцом годовщина свадьбы — двадцать пять лет, — и мисс Бич устроила празднование. Мы хотим, чтобы ты была там. Твой отец согласился на все твои полоумные

требования, и я купила тебе новое платье.

Я отошла от двери и расправила плечи. Да, подумала я. Две недели — это долго. Мне нужно так много всего сделать. Из Ирландии скоро вернется Беккет. И мне нужно танцевать.

— А что за платье?! — крикнула я.

— Тебе понравится. Шелковое, зеленое, со сниженной талией и блестками по подолу. Отопри этот чертов замок, и я тебе его принесу.

Стелла Стейн и я стояли напротив автопортрета Шардена в Лувре. Она сказала, что это станет прекрасным началом для наших «Лекций об искусстве». Я пыталась сосредоточиться на картине, на морщинах и складках на лице художника, на ярко-синей повязке, которой он обернул голову, но мой взгляд неумолимо притягивал написанный маслом натюрморт, висевший рядом. Мертвый фазан на столе, окруженный артишоками, яблоками и бокалами с вином. Я посмотрела фазану в глаза, и на мгновение мне показалось, что между нами возникла какая-то связь. Будто искра проскочила.

— Шарден писал очень медленно. — Певучий голос Стеллы отвлек меня от мертвой птицы. — Каждый год всего несколько полотен, в среднем три или четыре. Этот автопортрет он сделал, ко-

гда ему было больше семидесяти, и он так плохо видел, что больше не мог смешивать краски и работать маслом. Поэтому он использовал пастель. — Стелла приблизилась к картине почти вплотную, едва не касаясь носом рамы, и теперь внимательно изучала ее.

Я склонила голову сначала в одну сторону, затем в другую, сделала шаг назад, потом, наоборот, подошла ближе, не отрывая глаз от портрета, пытаясь понять, что так завораживало Стеллу. А потом мой взгляд снова невольно вернулся к фазану.

— Ему гениально удавались натюрморты и портреты. Посмотри на эту изумительную игру света, Лючия. — Она указала на правую сторону картины. — Потрясающе, как у него получилось ее передать. И заметь, как он использует цвет. Даже с помощью пастели он создает объем и вибрирующие, трепещущие оттенки. Взгляни на павлинье-голубой цвет полоски ткани, которой он обвязал свой шарф. — Стелла удовлетворенно вздохнула.

Я уставилась в мертвые глаза распростертого на столе фазана.

— Лючия? — Стелла странно взглянула на меня и кивнула на автопортрет. — Присмотрись вни-

мательней.

Я прищурилась и послушно вгляделась в картину. Эта голубая ткань точь-в-точь такого же оттенка, что и новый смокинг баббо. Однако фазан снова отвлек меня. Что-то жило в глубине его глаз… радужный, переливающийся свет.

— И посмотри на выражение его лица, Лючия, и на то, как он одет. О чем это тебе говорит? — Стелла подняла брови.

Я повернулась к фазану спиной.

— Он выглядит добрым, — сказала я. Глаза фазана, казалось, впивались мне в спину, прожигая в ней дыры. Я чувствовала это.

— Да, я согласна, — с увлечением отозвалась Стелла. — В его работах столько чувства. Здесь нет никакой помпезности, не так ли? Лишь честность и скромность написаны у него на лице. Он никогда не выезжал из Парижа. Все, что ему было нужно, он находил здесь.

— Возможно, это не так уж и странно, — заметила я. Родиться, жить и умереть в одном месте. Смотреть на одни и те же пейзажи, слышать знакомые звуки… жизнь, которая повторяется изо дня в день, жизнь, в которой есть постоянство, жизнь, знакомая тебе до последней капли. Я подумала о детстве Беккета, о саде, фруктовых

деревьях, доме, что построил его отец. О том, как все это ужасно привлекало меня, но вызывало отвращение у Беккета. А потом я опять вернулась к фазану. Он по-прежнему глядел на меня. Наблюдал за мной.

— Почему ты все время смотришь на эту картину, Лючия? — несколько раздраженно поинтересовалась Стелла.

— Я не смотрю, — быстро соврала я. — Я думаю о том, что ты сказала. О том, каково это — всю жизнь никуда не выезжать из родного города. Ты в первый раз покинула Дублин?

— Я была счастлива покинуть Дублин. — Стелла обратилась к автопортрету Шардена, как будто разговаривала с ним, а не со мной. — Если хочешь быть художником, единственный город для тебя — Париж. В любом случае я не останусь здесь надолго. Я записалась в школу «Баухаус» в Германии. — Стелла чуть приподнялась на мыски от возбуждения.

— О, вот как, — ровно заметила я. Мне хотелось смотреть на мертвого фазана, понять, что за свет так странно и загадочно играет за его радужными оболочками. Но Стелла решила бы, что я странная, или сказала бы баббо, что я неподобающе вела себя на наших «Лекциях об искусстве».

— Нет-нет, еще не сейчас, Лючия! — Она нежно взяла меня за руку. — Не стоит грустить. У нас еще очень много времени, и ты успеешь научить меня французскому, а я смогу показать тебе картины. Это будет так весело!

Стелла снова уставилась на автопортрет Шардена, время от времени испуская счастливые вздохи, а я — на фазана. И наши взгляды снова встретились.

— Твой отец уже подыскал тебе учителя рисования? — спросила Стелла.

— Да. И у нас с мистером Колдером уже состоялся первый урок.

— Сэнди Колдер? — Стелла немного «пустила петуха», как будто я сообщила ей шокирующую новость.

— Да. Он сделал удивительный механический цирк. Ты его видела?

— Нет. — У Стеллы было удивленное и растерянное лицо.

— Я как-нибудь возьму тебя с собой, и ты посмотришь. Почему у тебя такое лицо?

— Я знаю Сэнди Колдера. Он не серьезный художник. Он инженер, — презрительно фыркнула Стелла. — Тебе нужно учиться у природы и еще изучать живопись и рисунок по уже написанным

картинам. Довольно легкомысленный поступок — сделать его твоим преподавателем. Должна признаться, я несколько поражена.

— А мне он нравится. — Я подавила улыбку, которая невольно возникла у меня на губах при упоминании его имени. — Он всегда меня смешит.

— Кажется, он помолвлен с кем-то в Америке. — Стелла внимательно посмотрела на меня, чуть сощурив глаза, будто изучала очередную картину. — Так что, вероятно, в Париже он надолго не задержится.

— Он уже много раз просил меня сходить с ним в «Купель», так что сомневаюсь, что у него есть невеста. Хотя, разумеется, я не собираюсь обманывать Беккета.

— Кстати, как чувствует себя мистер Беккет?

— Он сейчас в Дублине. Но должен очень скоро приехать — мы ожидаем его в любую минуту. Конечно, мама не хочет, чтобы я выходила замуж за ирландца. Она вполне ясно дала мне это понять. — Я театрально возвела глаза к небу.

— Но она ведь вышла. То есть она сама вышла замуж за ирландца.

— Да. Но это совсем другое дело. Или, может, именно по этой причине она не хочет, чтобы

я это сделала. Она считает, что все ирландцы — пьяницы.

— Возможно, она не хочет, чтобы твоим мужем стал бедный писатель с неопределенным будущим?

— Иногда мне кажется, что она вообще не хочет, чтобы я выходила замуж. Не знаю, чего она хочет. Она не желает, чтобы я танцевала, — это мне точно известно, она более чем доходчиво выразила свое мнение на этот счет. Но когда я стану замужней женщиной, то снова буду танцевать на сцене. Вот увидишь! — Я вспомнила о своих брачных планах, и мои руки сами собой сжались в кулаки.

— Конечно, ты должна продолжать. Ты восхитительная танцовщица! — Стелла ослепительно улыбнулась.

— Я еще не окончательно сдалась. Я занимаюсь с Маргарет Моррис — изучаю ее систему движения. Это тоже танцы, но такие, из которых можно извлечь практическую пользу. — Я разжала кулаки, вытянула руки, чтобы ладони оказались рядом, раздвинула пальцы и пошевелила ими. — Смотри. Это движение называется «река».

— И какая от него практическая польза? — с любопытством спросила Стелла.

— Мисс Моррис полагает, что эта система может помочь детям, женщинам при родах, инвалидам и людям с недостаточными физическими возможностями. — Я понизила голос и притянула Стеллу к себе. — Что ты думаешь о моем левом глазе? Только смотри внимательно, как художник. Что ты видишь?

Стелла смутилась. Я отметила, что она явно не знает, что сказать, и лихорадочно подбирает слова.

— Баббо пообещал, что мне сделают операцию, чтобы убрать косоглазие. Видимо, это будет ответ моим молитвам.

— Могу я спросить, о чем ты молишься, Лючия?

— Если мой глаз станет нормальным, возможно, я смогу вернуться на сцену. И Беккету будет легче сделать мне предложение.

— О чем ты говоришь? — Она изумленно распахнула глаза.

— Может, он опасается, что у него родятся дети с косящими глазами. Или не хочет иметь косоглазую жену. Внешность очень важна для мужчин.

Я взглянула на Стеллу и, в первый раз за это утро, заметила, как она выглядит и что на ней надето. Черные волосы блестящими колечками

обрамляли ее округлое лицо, глаза напоминали отполированный черный мрамор, над ними послушными дугами изгибались черные густые брови. На Стелле был потрясающий наряд приглушенного бутылочно-зеленого оттенка. На шею она повязала оранжевый шарф, а на голове красовалась шляпка-клош, к которой был приколот маленький букетик шелковых цветов, тоже ярко-оранжевых, в тон шарфу. Почему я не разглядела этот дерзкий и элегантный костюм раньше? Почему меня, как одержимую, привлекали только неподвижные глаза мертвого фазана?

— Я думаю, что этот твой маленький недостаток — часть тебя. Он придает тебе некую ранимость, беззащитность, а это так мило! Мне кажется, если бы кто-то был в тебя влюблен, он не обратил на это внимания. — Стелла говорила очень медленно, как будто тщательно обдумывала каждое слово, которое собирается произнести.

— Я его ненавижу! Дождаться не могу, когда этот «маленький недостаток» исчезнет!

Две пожилые леди в другом конце зала оглянулись и одарили меня осуждающими взглядами. Стелла аккуратно подхватила меня под локоть, и мы направились к следующему залу. Напоследок я все же обернулась, чтобы в последний раз

посмотреть на мертвого фазана, так бесславно закончившего свою жизнь. «Что ты хочешь мне сказать?» — одними губами произнесла я. Ответа, разумеется, ждать не стала — для меня было бы крайне нежелательно, если бы Стелла доложила баббо, что я вела себя на нашей лекции как безумная.

— Ты осилишь еще одну картину, или лучше пойдем домой, Лючия?

Я глубоко вздохнула. Почему Стелла разговаривает со мной так, будто я ребенок? Или инвалидка?

— Разумеется, я могу посмотреть еще одну картину. Но мне хочется увидеть изображение рук. Кистей рук. Изящных, худощавых, с длинными пальцами. Мужских…

— Кистей рук? — Стелла нахмурилась и бросила на меня странный взгляд.

— Да, обнаженных кистей рук.

Я не стала рассказывать ей о руках Беккета, его тонких запястьях, косточках на точеных нервных пальцах. Я не могла перестать думать о них, этих прекрасных руках, которые обнимали меня, ласкали, которые навсегда оставили отпечатки на моей коже — словно следы от ожогов. Нет — это было мое, и только мое, и я не собиралась ни с

кем этим делиться.

Глава 14

Ноябрь 1929 года

Париж

К тому времени, как Беккет вернулся в Париж, был уже конец ноября, и дни стали совсем темными и холодными. Пока его не было, баббо буквально до одержимости увлекся ирландским оперным певцом Джоном О'Салливаном. Это был весьма раздражительный пожилой человек, постоянно недовольный, обиженный на целый свет за то, что его забыли после того, как он столько лет выступал на оперных сценах всего мира. Но теперь он явился в Париж, чтобы исполнить партию в «Вильгельме Телле», и баббо был уверен, что абсолютно каждый, кого он знает, должен непременно услышать О'Салливана и признать его вокальный «гений».

Меня заставили писать приглашения всем знакомым баббо. Возможно, «приглашение» — не совсем верное слово, подумалось мне, когда я сидела с ручкой в руках за столом баббо. Мне казалось, что я пишу прошения — умоляю, убеж-

даю, уговариваю наших друзей, «льстецов» баббо, всех парижских знакомых, всех журналистов, с которыми баббо хоть раз встречался, — купить билеты на оперу «Вильгельм Телль». Когда я спросила баббо, зачем мы отдаем столько времени и усилий карьере Джона О'Салливана, он расплывчато ответил, что это поможет карьере Джордже.

Баббо расхаживал по полутемному кабинету и диктовал:

— «Джон О'Салливан»... нет, опусти «О», пиши просто «Джон Салливан», так музыкальнее — «обладает самым прекрасным голосом, который мне только доводилось слышать». — Он сделал паузу, снял очки и потер опухшие глаза.

— Ты хочешь, чтобы я так и написала — «самый прекрасный голос, который тебе доводилось слышать»?

— Лючия, пожалуйста, не задавай вопросов относительно содержимого, когда я пишу — я теряю нить. — Баббо нетерпеливо покачал головой и водрузил очки обратно. — «Я твердо убежден...» — ты пишешь, Лючия? — «что в прошлом не существовало тенора более великого, а относительно будущего могу сказать одно: вряд ли люди услышат...» — Он опять сделал паузу, подыскивая нужные слова. — «Столь же гранди-

озного исполнителя, пока архангел Михаил не пропоет свою главную арию в последнем акте».

Я послушно записывала его слова красивым почерком, тщательно выводя идеально ровные петельки в буквах g и закругляя s. Баббо склонил голову и подпер лоб рукой с перстнем на пальце. Через некоторое время он будто очнулся от раздумий и наставил на меня желтый от табака палец.

— Ты готова к следующему параграфу?

Я кивнула, полностью погрузившись в задачу сделать каждую букву совершенной, украшая их завитушками или волнистыми линиями там, где было возможно.

Он встал и снова принялся мерить шагами кабинет, осторожно обойдя два стула, вытянув перед собой руки, чтобы ни на что не наткнуться.

— «Одна и та же тема красной нитью проходит через „Вильгельма Телля“ и „Улисса“ — отцовские поиски сына и сыновьи поиски отца. Я с большим удовольствием увижу вас на ужине с шампанским, где будет и Джон Салливан, который состоится после представления». Вот так… Я полагаю, все.

Три часа спустя у меня ужасно заболела рука. А также спина — оттого, что я сидела, сгорбившись

над столом. На пальцах вздулись два водянистых волдыря — один на кончике указательного, другой — сбоку большого. Я прикинула количество конвертов в лежащей передо мной пачке — точно больше сорока, и скорее всего, намного больше. Я разогнула спину, потянулась и немного размяла затекшую шею и плечи. Баббо говорил по телефону — конечно, о Джоне Салливане, — и его голос был на тон выше от волнения.

— Вы должны пойти. Он берет верхние «до» с такой легкостью, что невозможно поверить. Ни один другой тенор в мире на это не способен. — Наступила длительная тишина, а потом баббо заговорил опять — возносил хвалы, славословил, просил. Воодушевление било из него струей, как из открытой бутылки шампанского. Однако я не могла разделить с баббо его восторг. Более того — мной овладело очень неприятное чувство, когда я подумала, что он не делал ничего подобного ради Джордже Почему он не попросил меня написать сорок приглашений на дебютное выступление Джордже в апреле? Я представила себе Салливана — старого, сварливого Салливана, который однажды ужинал с нами и при этом говорил исключительно по-французски, был до неприличия задирист и постоянно грызся со своей супругой.

А потом, с болью в сердце, Джорджо, который покорно проживал жизнь, которую не смог прожить баббо, — оперного певца. За жалкие пятьсот франков в месяц он пел в хоре в Американском кафедральном соборе Святой Троицы на авеню Георга V. Я прилегла на кушетку и сунула в рот палец с волдырем. Баббо все еще разговаривал по телефону. Его чуть дребезжащий голос плыл по квартире.

— Джон Салливан… Да, Джон Салливан. Вы просто обязаны прийти и потом что-нибудь о нем написать. О нем преступно забыли… да, подать в суд, именно.

Вдруг меня словно ударили по голове. Почему никто не написал сорок приглашений знакомым, чтобы они пришли и посмотрели на мое выступление в Баль-Бюлье? Или в Театр Елисейских Полей? Или в Театр Вьё-Коломбье? Почему баббо не попросил армию своих «льстецов», чтобы они аплодировали мне изо всех сил? И кричали «браво!» и «еще!»? И чтобы кто-то написал статью, превознося мои танцы и мой талант? Где были все газетные репортеры и фотографы, которых он теперь так старательно собирал для Джона Салливана? Почему баббо предпочел старого ворчливого Салливана мне?

И внезапно, застав меня совершенно врасплох, так что я не смогла сдержать ее, меня накрыла дикая, всепожирающая волна ярости. Накрыла и поглотила.

Я попыталась справиться с ней, но все было безуспешно. С тех пор я переживала подобные моменты сотни раз, тысячи раз. Хотя находилась в кабинете баббо одна, я остро чувствовала присутствие кого-то еще. Кого-то злобного, неистового и отчаявшегося. Как будто тень, что всегда лежала позади меня, вдруг обрела свою собственную жизнь, превратилась в чудовище и против моей воли проникла в мое тело. Я закрыла глаза и прогнала ее. Но она вползла обратно, уродливая и темная.

Я оторвала себя от дивана, снова закрыла глаза и принялась кружить по кабинету в отчаянной попытке исторгнуть из себя это существо. Я изгибалась, вертелась, корчилась, прыгала. Когда вошел баббо, я крутилась волчком, словно турецкий дервиш, с безумными глазами и гулко бьющимся сердцем. Книги и бумаги слетали с полок. Фотографии и картины рушились на пол. На потолке раскачивалась люстра.

— Лючия! — Баббо застыл на пороге, обездвиженный шоком.

Я продолжала крутиться, сбив со стола пепельницу и пустую винную бутылку. Я поддала пепельницу ногой, и в воздух поднялись облака пепла. Книги разлетелись по углам. Бумаги порхали по комнате.

— Что… что ты делаешь? — еле выдохнул он.

Исполненная ярости, сущность внутри меня начала уменьшаться, терять цвет, исчезать, как ястреб, скрывающийся за горизонтом. Но она не ушла совсем, она парила где-то сверху, и я почти могла ее видеть. Поэтому я продолжала танцевать, кружиться в полном забвении, не замечая баббо, не замечая книг и бумаг под ногами, пустой бутылки, катавшейся по полу в опасной близости от меня. Мои руки были вытянуты, пальцы раздвинуты, ладони обращены кверху. Я запрокинула голову, выгнула спину и кругом обежала бумаги и сигаретные окурки, которые теперь были разбросаны по всему кабинету.

Баббо по-прежнему стоял в дверях. Но внезапно он сорвался с места, быстро, как молния, подскочил к бутылке и выхватил ее прямо у меня из-под ног. После этого он вернулся к двери, где снова замер, как статуя, сжимая в руках бутылку и не сводя с меня глаз. Он не попытался спасти свои бумаги, драгоценные листки, исписанные

мелками.

— Лючия? — дрожащим голосом позвал он.

К этому времени я уже парила и скользила, изящно изгибалась, избегая стульев, стола, всех предметов, валявшихся на полу. Баббо смело двинулся ко мне, вытянув перед собой руки, похожие на когтистые птичьи лапы.

— Все хорошо. Я просто танцую. — Я сделала реверанс, такой глубокий, что мои колени коснулись ковра.

Баббо, с вытянутыми руками, в одной из которых была бутылка, в ужасе смотрел на меня, будто не узнавая.

— Это… это… так… вас этому учат в школе… Маргарет Моррис?

Я наклонилась, чтобы собрать бумаги. Я запыхалась, и мне не хватало воздуха.

— Мы много импровизируем. Прости, я разбросала листки. Я все соберу и положу в нужном порядке.

— Это не важно. Я сам могу это сделать.

Он опустился на колени, поставил бутылку и стал осторожно нащупывать книги, которые я раскидала. Очень медленно, напрягая глаза, он начал складывать их в стопки.

— А что с теми приглашениями, что ты писала,

Лючия? Они готовы?

Я взглянула на письменный стол. Приглашения в конвертах из плотной кремового оттенка бумаги аккуратной стопкой лежали посередине, надписанные, с наклеенными марками, полностью готовые к отправке.

— Да, — коротко ответила я.

— Прекрасно. Их необходимо отправить как можно скорее. Я не могу подвести Джона О'Салливана. Ах да, Джона Салливана. Я думаю, что абсолютно не зря настаиваю на том, чтобы он отбрасывал это «О». Так имя звучит гораздо мелодичнее, просто скатывается с языка, да и газетчикам будет легче записывать. Не могла бы ты добежать до почтового ящика и бросить их туда, mia bella bambina?

Баббо никогда больше не упоминал мою дикую пляску. Он даже не рассказал об этом маме. Его страсть к Джону Салливану возросла до таких высот, что он не мог говорить ни на какую другую тему. Даже «льстецы» удивлялись, какие усилия он прилагает, чтобы помочь Джону Салливану. Беккет был не только изумлен, но и оскорблен, поскольку Салливан ни на йоту не был благодарен баббо за его старания. Мы с Беккетом забивались в угол коридора на Робьяк-сквер и подолгу об-

суждали — или, скорее, осуждали — Салливана и возмущались тем, сколько времени он у нас отнимает. Иногда мы придумывали о нем шутки, и я сделала для себя новое открытие — Беккет, серьезный и мрачный, как надгробная плита, оказывается, обладал ядовитейшим чувством юмора. Мама запретила баббо произносить при ней имя Салливана, так что баббо приходилось осторожничать. Но, разговаривая с любым другим человеком, он не знал удержу.

Одержимость баббо все же сослужила мне хорошую службу — мы еще больше сблизились с Беккетом. Наша общая нелюбовь к воинствующему седому тенору превратилась в «антиджон-салливанский альянс». Так появилась очередная ниточка, связывающая меня с Беккетом. Однажды вечером, через две недели после его возвращения из Ирландии, нас собрали и погнали на следующую оперу Джона Салливана — я потеряла счет, на скольких представлениях мы уже побывали. Примерно на середине, когда мы оба еле умудрялись подавлять зевки, Беккет переменил позу и прижался бедром к моей ноге. Его тепло распространилось по всему моему телу, будто ко мне приложили грелку. Я подвинулась еще ближе к нему, пока мне не стало казаться,

что наши тела сливаются, растворяются одно в другом. Я ощущала его запах — такой знакомый… табак, лента для пишущей машинки и мыло. Затем я почувствовала, как его пальцы погладили мои, и неожиданно его рука, его прекрасная рука порхнула на мое колено и осталась там. Было темно, и никто ничего не заметил. Прошло пять месяцев с того дня, когда мы почти занялись любовью на полу гостиной, и я с поразительной ясностью помнила вкус его губ, гладкость кожи, жар и тяжесть его тела на моем. Но я помнила и слова мамы: сначала свадьба, потом «пакости». И в кои-то веки решила прислушаться к ее совету.

И поэтому через несколько минут я осторожно сняла руку Беккета со своего колена и водрузила ее на его собственное. И замерла, разглядывая его кисти, подмечая все подробности — ногти, суставы, сухожилия и вены, проступающие под кожей, тонкие, как спагетти. Я не поднимала головы до тех пор, пока Салливан не вышел на сцену для последнего поклона и баббо в который раз разразился взрывом аплодисментов.

— Сэм? — прошептала я, вяло хлопая в ладоши.

— Да? — Беккет отодвинулся чуть подальше, так что мы больше не напоминали сиамских близнецов.

— Назначена дата для моей операции на глазу. 1930 год я начну с новыми глазами! Больше никакого косоглазия. Никакого страбизма!

— О, вот как, — отозвался он, тоже хлопая вполсилы, пока Джон Салливан в гордой позе стоял на сцене, похожий на распустившего перья петуха.

— И все романтические штучки до этих пор прекращаются, Сэм. — Я впилась глазами в его лицо, выискивая следы разочарования или обиды. Но я не успела ничего разобрать, потому что кончик трости баббо легонько уткнулся мне в плечо.

— Потрясающе! Несравненно! Этот человек — абсолютный, совершенный гений, без малейшего изъяна. Беккет, вы посчитали, сколько раз он взял высокое «до»?

— Нет, мистер Джойс.

— Поужинаете с нами, Беккет? Мы ведем Салливана в кафе «Де ла пэ», пить шампанское и наслаждаться холодным цыпленком. — Баббо элегантно запахнул плащ.

— Сегодня я не смогу, сэр. Мне нужно укладывать вещи. Я завтра еду в Германию, побыть с дядей и тетей.

Когда мы пробирались по узкому проходу, я снова посмотрела на непроницаемое, неулыбающееся лицо Беккета. Он не понял, что я ему

отказала? Или я причинила ему боль? Он обмотал вокруг шеи шарф и вслед за баббо вышел из здания оперы. А я напомнила себе, что Беккет — моя судьба и что скоро я буду свободна и смогу танцевать и любить до конца своих дней.

Глава 15

Февраль 1930 года

Париж

После операции я неделю пролежала на кушетке с забинтованной головой. Баббо на время прервал свою кампанию во славу Джона Салливана, чтобы ухаживать за мной. Чтобы подбодрить меня, он то и дело приносил мне конфеты и пирожные. Даже мама в заботе обо мне превзошла саму себя. Вдобавок она купила мне новую шляпку, чтобы оттенить мой новый красивый взгляд.

Когда бинты сняли, пришли Киттен и Стелла с огромными букетами оранжерейных цветов. Они обе внимательно осмотрели мой глаз и провозгласили, что это настоящее чудо. Баббо на радостях станцевал ирландскую джигу и спел мне песенку о «девушке с прекрасными глазами». Мама долго вздыхала, а потом сказала, что если я и после этого не перестану быть всем недовольной, то «тогда она уже и не знает, как меня можно ублажить». Джорджо подарил мне флакон духов, который он, скорее всего, прихватил с туалетного

столика миссис Флейшман, потому что флакон был не совсем полон. Но самое важное — Беккет принес мне книгу. Внутри, на титульном листе, было написано: «Нет лучшего применения глазам, чем чтение. С большой любовью, *Сэм*». Честно говоря, я бы придумала куда больше вариантов хорошего применения глазам, но, конечно, упоминать об этом я не стала. После того как он скрылся в кабинете баббо, мама прочитала надпись, зацокала языком, возвела к потолку свои оловянного оттенка глаза и покачала головой — все одновременно. А я без конца перечитывала четыре слова — «С большой любовью, *Сэм*», — и мое сердце пело, как птица.

В один из вечеров, когда Беккет освободился, я дожидалась его в прихожей. Я передала ему пальто и дерзко и бесстыдно посмотрела ему в глаза. Чувствовала я себя потрясающе — свободно и раскованно, как будто меня освободили от каких-то злых чар. От его желания, да и моего тоже, воздух словно загустел. Казалось, эту страсть можно потрогать — она была почти физически ощутима. Но неожиданно за нашими спинами бесшумно возник баббо, размахивая книгой. Беккет отскочил от меня как ужаленный. Но я лишь рассмеялась. Он полностью выдал себя, и

мне этого было достаточно.

Весь вечер я улыбалась. Баббо ничего не замечал — он был погружен в работу, с наклеенными на веки глазными пластырями и в двух парах очков — одни поверх других. Но мама, листая журнал, несколько раз спросила меня, «чего это мне так смешно». Но я сидела молча — и все равно улыбалась — и делала наброски, готовясь к следующему уроку рисования с Сэнди. Теперь, когда оба моих глаза были совершенны, простиравшиеся передо мной возможности казались бесконечными, необозримыми. В моей голове постоянно звучали слова «миссис Беккет»; они эхом расходились по всему телу. И каждый раз, произнося их про себя, я снова не могла сдержать улыбку. Я вдруг увидела себя на сцене, танцующей перед завороженным залом… музыку то и дело заглушал треск аплодисментов и крики: «Еще, миссис Сэмюэль Беккет!»

Разумеется, мама не преминула сбросить меня с небес на землю. Она то и дело повторяла, что я не должна забегать вперед и что только встреча с доктором Коллинсоном и тщательное обследование подтвердят, что я действительно избавилась от косоглазия. Но баббо разделял мое праздничное настроение. Он был поражен тем, как быстро

и успешно прошла операция.

Когда я посетила доктора Коллинсона, он осмотрел мой глаз под всеми возможными углами и через сто — не меньше — различных приспособлений и стекол. После этого он заявил, что вполне удовлетворен, и велел мне прийти еще раз через месяц, на последнее обследование. Мы с мамой зашли в кафе и выпили кофе с пирожными, чтобы отметить это событие, и я почти готова была рассказать ей о своих брачных планах, но что-то заставило меня сдержаться, и вместо этого я принялась трещать нечто бессмысленное о погоде.

Еще через неделю, когда я мыла посуду и думала о новых танцах, мама вдруг перестала жаловаться на жизнь, остановившись буквально на полуслове, и уперлась в меня взглядом. Я подумала, что она хочет выбранить меня за то, что я ее совсем не слушаю, но дело было не в этом. Она просто смотрела. Смотрела на мой левый глаз. Через какое-то время она придвинулась ко мне вплотную — наши носы почти соприкасались — и схватила меня за плечи, удерживая на месте. По выражению ее лица я поняла, что с моим глазом что-то случилось.

— Джим, он опять закатывается! — закричала мама, и на меня как будто свалилась огромная

глыба.

Конечно, баббо ничего рассмотреть не смог. Он заглянул в глаз, объявил, что все прекрасно, и поторопился вернуться в кабинет.

Но меня это нисколько не успокоило. Что она имела в виду? Неужели мое косоглазие возвратилось и операция прошла неудачно? На мои взволнованные вопросы мама отвечала уклончиво и в конце концов сказала, что ей, скорее всего, все почудилось. Она отрезала мне кусок тминного кекса и налила чаю с сахаром в фарфоровую чашку, разрисованную розовыми бутонами, из своего лучшего свадебного сервиза. Когда я немного пришла в себя, то решила, что проверю все сама с помощью зеркала и линейки.

Когда я всматривалась в зеркало, пытаясь измерить расстояние между зрачком и внутренним уголком глаза, я увидела, что что-то не в порядке. Время от времени зрачок и радужка очень медленно начинали двигаться по направлению к носу. Я вспомнила слова доктора Коллинсона, сказанные им на первой консультации, что подобные операции не всегда бывают удачными, а потом подумала о многочисленных операциях на глазах, что перенес баббо, и о том, что большинство из них оказались бесполезными. И наконец,

я подумала о миссис Сэмюэль Беккет, в свадебном платье, с косыми прищуренными глазами, мрачной и уродливой.

Когда Сэнди прибыл в наш дом, чтобы дать мне первый урок рисования, мама прогнала его, думая, что он коммивояжер. Сэнди приехал на оранжевом велосипеде, на нем был шерстяной костюм в широкую коричнево-оранжевую полоску и соломенная шляпа-канотье. На одной из ручек велосипеда он ухитрялся удерживать потрепанный кожаный чемодан. Мама открыла дверь и тут же захлопнула ее, прямо перед лицом Сэнди. Ничуть не смутившись, он позвонил опять и расхохотался, когда мама из-за запертой двери крикнула, что не собирается ничего покупать. Из кабинета вызвали баббо, чтобы он подтвердил личность Сэнди. И только после этого его пустили в дом. Когда он стал настаивать, чтобы уроки проводились на кухонном столе, мама от злости вскинула к небу кулаки. Сэнди же лишь улыбнулся и опробовал на ней все приемы своего американского очарования, а после открыл чемодан и достал кое-что из своего миниатюрного цирка, который он повсюду носил с собой.

Мне нравились его маленькие скульптурки. Одну за другой я клала их на ладонь, поворачи-

вала, наслаждаясь тем, что они такие разные на ощупь — металлические, холодные и острые или, наоборот, чем-то набитые, мягкие и пухлые. Мне нравилось, как они двигались и вертелись, эти крохотные танцоры, акробаты и животные, — каждый по-своему, некоторые странно и дергано, другие — плавно, как ленты, колеблемые ветром. Мне нравилось, с каким воодушевлением и подъемом Сэнди говорил о «механическом движении» и «создании жестов». И я просто обожала его рассказы о «пьяных вечеринках». Показывая мне, как рисовать акробата, висящего на трапеции, Сэнди тем временем перечислял все вечеринки, на которых побывал на этой неделе, и выходки его безумных, бесшабашных друзей. Если вечеринки выдавались скучными и рассказывать было особенно не о чем, у Сэнди всегда был наготове анекдот из жизни механического цирка — как в Берлине у него не сработал граммофон, как в Нью-Йорке у льва отвалилась голова и как он совершенно забыл о представлении в театре на левом берегу и не явился туда. Каждая история сопровождалась взрывами густого смеха. Сэнди был совершенно невосприимчив к таким чувствам, как стыд, смущение или сожаление.

Случилось так, что именно от Сэнди я и узнала о

слухах. Мы сидели рядом за кухонным столом на Робьяк-сквер. Напротив нас стояла маленькая металлическая фигурка акробатки, чьи руки и ноги раскачивались при малейшем дуновении ветра. Сэнди хотел, чтобы я нарисовала ее в движении.

— Просто подуйте на нее и смотрите, как болтаются ее руки. — Сэнди широко улыбнулся и звякнул фигуркой.

Я набрала полные легкие воздуха и дунула. Секунду руки и ноги акробатки бешено вертелись, а потом у нее отлетела голова, с тоненьким клацающим звуком упала на стол и укатилась. Сэнди откинулся на спинку стула и захохотал как сумасшедший. Он долго не мог остановиться. Его массивная фигура сотрясалась, кончики длинных усов подрагивали.

— Вы сделали это нарочно? — с негодованием спросила я.

— Нет, клянусь Богом, ничего подобного. — Сэнди все еще дрожал от приступа неконтролируемого смеха; его глаза блестели. — Но я более чем рад, что она была обезглавлена здесь и сейчас, а не во время представления. — Он подобрал крошечную головку и попытался приделать ее обратно к металлическому туловищу, но у него были такие большие пальцы, что скрутить две

проволочки, соединявшие обе части вместе, никак не получалось.

— Давайте я это сделаю. Мои пальцы меньше.

Когда я забирала у него фигурку, кончики наших пальцев соприкоснулись, и меня вдруг пронзило неожиданное волнение. Я отдернула руку и сосредоточилась на металлической акробатке. Сэнди все еще время от времени похохатывал и смотрел на меня. Тогда он и произнес эти странные слова, изумившие меня до глубины души.

— Так как долго вы уже помолвлены с Сэмом Беккетом?

— Помолвлены? — переспросила я, не отрывая глаз от работы. Я была смущена и в то же время пьяна от радости. Почему он решил, что мы с Беккетом помолвлены? Возможно, Беккет сообщил о своих намерениях другим, прежде чем сказать о них мне? Он готов предложить мне руку и сердце? А потом мне пришло в голову, что темным и мистическим образом мы *действительно* уже помолвлены и об этом знают все, кроме меня. Наше молчаливое взаимопонимание, его уже практически родственные отношения с моей семьей, наши почти ежедневные обмены маленькими нежностями у дверей, летучие соприкоснове-

ния рук, наши льнущие друг к другу бедра на соседних местах в ресторанах, театрах и кинематографах… его руки на моей груди и бедрах, мои руки у него между ног и на ягодицах… то, что мы были на миллиметр от того, чтобы заняться любовью в гостиной на полу… могло ли это стать негласной помолвкой? Может, в Ирландии есть такой обычай?

— Вчера вечером об этом говорили в «Куполь». На самом деле это обсуждает весь Париж. Я был удивлен, что вы мне не сказали. — Сэнди вопросительно взглянул на меня. — Все видели его в обществе с вами и вашими родителями. И говорят, он всегда у вас дома.

Пока я прикручивала головку акробатки к ее тельцу, мои пальцы задрожали, а дыхание участилось. Все, что сказал Сэнди, было правдой. Беккет в самом деле приходил к нам каждый день. И мы вчетвером очень часто выходили в свет. И я видела огонь в глазах Беккета, когда он смотрел на меня, когда мы случайно касались друг друга. Я помнила его пальцы на своем лице, руку на моем колене, то, как мы упали на выложенный солнцем золотой квадрат на полу. Сэнди внимательно наблюдал за моим вдруг покрасневшим лицом, ожидая ответа.

— Да, все это правда… может ли быть… может ли быть… — Я заколебалась. Мой голос неуверенно дрожал, но я все же выпалила свой вопрос, как бы дико и безумно он ни звучал: — Может ли быть так, что мы помолвлены, но я… я ничего об этом не знаю?

Я думала, что Сэнди рассмеется в ответ, но нет, этого не случилось.

— Да, думаю, это возможно, — ответил он. — Только не там, конечно, откуда я родом. У нас все делается по старинке — предложение, кольцо, выбор даты свадьбы. Но в Париже все по-другому. Здесь может произойти все, что угодно. Наверное, был какой-то разговор насчет свадьбы между вами двумя или между Беккетом и вашим отцом.

Стал бы Беккет обсуждать это с баббо, не поговорив сначала со мной? И конечно, баббо сообщил бы мне? Я ощутила прилив надежды. Наша помолвка все больше и больше напоминала реальность. Семнадцать месяцев Беккет приходил в наш дом, сопровождал меня в рестораны и театры, мы обменивались взглядами, разговаривали. Как легко и естественно от этого перейти к помолвке — так же легко и естественно, как люди залезают под знакомое одеяло ночью. На минуту я вообразила себе помолвку без слов, но тем не

менее подтвержденную, которая не требовала бы ни преклоненного колена, ни натянутого, неловкого предложения руки и сердца, ни обсуждения приданого, ни «родительского благословения». Я представила, как Беккет говорит своим друзьям: «Конечно, мы помолвлены — разве это не очевидно?»

Сэнди ухмыльнулся.

— Я не очень-то знаком с Сэмом Беккетом, но он кажется очень сдержанным парнем. У меня такое ощущение, что он будто работает над предложением. Если он на вас женится… ну, что тут можно сказать. Удачливый парень. — Его взгляд задержался на мне дольше, чем это обычно позволяется приличиями. — Начните-ка лучше рисовать, Лючия. — Он взял у меня починенную фигурку и пододвинул лист бумаги и карандаш. — Я хочу, чтобы вы попробовали нарисовать, как она движется. Я подую, а вы понаблюдайте за ее руками и ногами. Думайте об этом как о кинетической скульптуре.

Но я не могла сосредоточить внимание на летящих членах маленькой акробатки. В голове у меня было только одно: миссис Сэмюэль Беккет. Скоро я стану миссис Сэмюэль Беккет и всю жизнь буду держать тонкую руку Беккета с длинными

худыми пальцами в своей.

— Давайте, Лючия. Начните с ее волос. Лючия. Лючия? — прогремел Сэнди, но я промолчала. Мое сердце было слишком переполнено, чтобы я могла говорить.

Сэнди крайне озадачивала жизнь нашей семьи. Я знала это потому, что он не улыбался только тогда, когда расспрашивал меня про это. Он не мог понять, почему мои родители не позволяют мне ходить с ним на вечеринки. Он хотел знать, почему я должна быть дома не позже девяти вечера. Он интересовался, почему баббо пишет только об Ирландии, но никогда туда не ездит. И его особенно сбивало с толку устройство нашего быта — буржуазная мебель, портреты предков баббо, его приверженность рутине. Сэнди удивляла нелюбовь баббо к местам вроде ночных клубов, где собирался артистический Париж, и он считал мою близость к семье необычной и странной. Я пыталась, как могла, отвечать на его бесконечные вопросы, но, как правило, мне это не удавалось, так что чаще всего я повторяла, что баббо отдает все силы работе над книгой о темной ночи души (так он теперь называл ее «льстецам») и я нужна ему в качестве музы. Иногда Сэнди спрашивал, почему я не покину дом, почему не

могу насладиться свободой, которую предлагает Париж, не могу перенять царствующие здесь революционные взгляды на искусство и личную жизнь.

— В Америке дела обстоят совсем не так, Лючия. Или в Англии. Там запрещают книги — такие, как пишет ваш отец. У нас все еще рисуют лошадей в полях, и прежде чем поцеловать девушку, нужно сначала на ней жениться. Да черт возьми — там даже выпить нельзя! Все великие художники и писатели давно уехали в Париж, потому что Париж — то место, где жизнь бьет ключом, где рождается все новое. Опять же у нас, если ты — женщина, то должна выйти замуж и продолжить род. Такова твоя судьба и твое назначение. Вот почему Гертруда Стайн, Джуна Варне, Сильвия Бич — все они здесь. Они сбежали! — Глаза Сэнди сверкали, а усы чуть двигались. — И мне кажется, что это так неправильно и несправедливо, что вы, будучи в Париже, где все творят, ищут новое, разрушают границы и барьеры, экспериментируют, сидите в «Фуке» со своими родителями и высматриваете, не появится ли там кинодива.

— Все это не совсем так, Сэнди, — сбивчиво проговорила я. — Моя мать высматривает кинодив, потому что она обожает кинематограф. Баббо

нравится, что там хорошая кухня и хорошие официанты. Он великий писатель. Он не желает просиживать там ночи напролет, как все другие. И он ненавидит Гертруду Стайн.

Сэнди хохотнул, но повернулся ко мне и снова стал серьезным.

— Но вы, Лючия. Все твердят мне, какая вы великолепная танцовщица. Вы говорите на четырех языках. Вы поете как ангел. Вы и рисуете как ангел — черт побери! — Он взял один из моих рисунков, сделанных карандашом и чернилами, — он изображал собаку в прыжке — и помахал им у меня перед глазами.

— Я все еще танцую. — Я отошла подальше от стола, исполнила безупречный шпагат в прыжке и немного покружилась. — И у меня есть планы на будущее. Большие планы.

Сэнди посмотрел на меня с любопытством.

— Вам нужно больше выходить. Все приезжают в Париж за свободой, а вы живете словно монахиня в монастыре. Вы слишком талантливы, чтобы посвятить свою жизнь другому человеку — назовите это быть его музой, или женой, или как угодно. И в любом случае Париж меняется, так что нужно успеть вкусить его таким, какой он есть. Пока еще возможно.

Я была благодарна Сэнди, благодарна за его веру в меня и мой талант. Но как я могла объяснить, что нас с баббо связывает невидимая нить? Что у музы есть определенные обязанности? И что и первое, и второе одновременно привлекает и отвращает меня?

Вместо этого я просто уговорилась с ним, что на выходных приведу Киттен и Стеллу посмотреть на его цирк.

Мы втроем шли по усыпанным гравием дорожкам Люксембургского сада, и у каждой из нас было прекрасное настроение. И не потому, что мы предвкушали, как увидим механический цирк. Стелла была на седьмом небе оттого, что в «Пари Монпарнас» появилась уже вторая статья о ней, с фотографиями ее картин, изображавших местные уличные сценки. Киттен радовалась тому, что у нее завелся новый поклонник. А я была счастлива особенно — вчера, когда мы ужинали в ресторане в семейном кругу, Беккет подарил мне кое-что со значением. Я знала, что он что-то задумал, поскольку весь вечер не сводил с меня глаз, даже когда разговаривал с баббо. Это было необычно — он всегда вел себя с баббо очень почтительно, как все «льстецы». Но вчера все было по-другому. Когда мы выходили из «Фуке», Беккет

протянул мне «Божественную комедию» Данте, в чудесном дорогом переплете из голубой кожи, с тисненными золотом буквами.

— Это вам, Лючия, — произнес он.

И я понимала, как много значит для него эта книга, — и он, и баббо были без ума от Данте. И еще я сразу поняла, что он хотел выразить этим подарком — в своей молчаливой загадочной манере. Данте — поэт любви, итальянский — язык любви. Он пытался сказать мне, что любит меня. Чувства переполнили мое сердце, так что я даже не смогла ему ничего ответить. Потом, когда мы прогуливались вдоль Елисейских Полей, я продела руку ему под локоть, и мы пошли очень медленно, так что сильно отстали от мамы и баббо. Я рассказала ему о глазах фазана в Лувре, о том, как они преследовали меня, словно хотели сообщить мне что-то важное. И о том, как я мечтала о его руках. Я почти набралась храбрости признаться, что люблю его, но мама вдруг громко закричала, призывая нас на помощь:

— Ради Иисуса Христа, помогите же! Джим рухнул без сознания!

Она стояла посреди небольшой толпы людей, а на ее руках лежало безжизненное тело баббо. Его шляпа скатилась на тротуар, а трость случай-

но прислонилась к бедру, словно третья нога. Я высвободила руку, и мы побежали к ним. Беккет помог нам затащить баббо на скамейку, где тот начал моргать и подергиваться.

— Он увидел двух монахинь, вон там. — Мама показала на другую сторону Елисейских Полей. — И задрожал, как лист. Я уж было приготовилась к тому, что сейчас у него будет припадок, но тут он смотрит вниз и видит здоровенную крысу. Она вылезает из канавы и выбегает на дорогу. И все. Это его доконало. Он теряет сознание и валится с ног. Хвала Господу, что сзади шли вы.

— Это предвещает двойное несчастье — две монахини и вдобавок крыса, которая перебежала ему дорогу, — объяснила я, поймав недоуменный взгляд Беккета.

— Убирайтесь, вы все! — Мама хлопнула в ладоши, разгоняя пеструю толпу зевак, которая уже успела собраться вокруг скамейки. — Завтра у него наверняка будет приступ с глазами, тут уж и к гадалке не ходи. — Она слегка шлепнула баббо по щеке. — Давай, приходи в себя, Джим. Соберись. Мистер Беккет, вы не найдете нам такси? Лючия, подними его шляпу и трость.

Вот так и закончился наш вечер. Но в сумочке у меня лежала книга Беккета, и если это не был

знак любви, то, как выразилась бы мама, «я уж и не знаю, что это такое было».

Мы шли по парку, мимо стройных рядов ранних нежно-розовых тюльпанов и аккуратно подстриженных живых изгородей, и я рассказала Киттен и Стелле о подарке Беккета. Киттен сжала мою руку и прощебетала:

— О, дорогая, Le Tout Paris[19] говорит о вашей помолвке с Сэмом Беккетом.

— Будь осторожна в своих желаниях, — добавила Стелла, совершенно серьезно и даже мрачновато. Я не обратила на нее внимания. Женщины-ирландки всегда питают предубеждение к мужчинам-ирландцам, и моя собственная мать — яркий тому пример.

Когда мы подошли к студии Сэнди, у дверей уже стояла очередь людей, желающих приобрести билеты. Мы протиснулись мимо, поднялись по лестнице и вошли в студию. Сэнди, согнувшись в три погибели, сидел на полу и собирал цирк. Там был манеж, выложенный из кусочков дерева, а внутри его можно было увидеть крошечные маты, красные ковровые дорожки, настоящую, но очень маленькую трапецию и миниатюрные

[19] Примечания: 19

Ставшее устойчивым выражение, «весь Париж», то есть все высшее общество, знаменитости и прочие.

качели-балансир. Манеж был украшен гирляндами из ярких флажков. На полу цирка лежал шпрехшталмейстер в черном костюме; его черная фетровая шляпа сдвинулась набок. Рядом с манежем стояли пять чемоданов Сэнди. Один был открыт, и из него высовывались шерстяные львы, клоуны с раскрытым ртом, акробаты с железными крючочками вместо пальцев — каждая фигурка не больше моей ладони.

Вокруг манежа, который был чуть больше, чем дамская шляпа с широкими полями, были расставлены перевернутые коробки и деревянные ящики из-под винных бутылок — для зрителей. К стенам и двери были приклеены написанные от руки объявления: «Цирк Колдера — 25 франков». Сбоку от Сэнди устроился на корточках рыжеволосый мужчина — он возился с граммофоном. Я искоса взглянула на Стеллу и Киттен. Они смотрели на цирк, как зачарованные, и глаза у обеих блестели. Я ощутила прилив гордости и помахала Сэнди рукой, показав на двух своих подруг.

— Я привела Киттен и Стеллу, — сказала я. — Мы можем чем-нибудь помочь?

Сэнди вскочил и поприветствовал и Стеллу, и Киттен традиционным парижским поцелуем в обе щеки.

— Очень рад познакомиться. И рад, что вы нашли время прийти. Я куда-то засунул кинжал — глотателя кинжалов, разумеется, — но, как только я его найду, мы готовы начать.

Стоило нам усесться на свои места, и Киттен со Стеллой закидали меня вопросами. Киттен желала знать, не родственник ли Сэнди Стирлингу Колдеру, который установил какую-то грандиозную скульптуру в Филадельфии, и из какого именно города он родом, и сколько ему лет, и не женат ли он. Стеллу интересовало, сам ли он шьет и работает с тканью, а также где он берет материалы. Я неожиданно осознала, как мало я знаю Сэнди. Большей частью мы разговаривали о его социальной жизни или о порядках в моей семье. Или он довольно вдохновенно говорил о движении, пространстве, скорости и объеме.

— Я спрошу его обо всем этом на следующем уроке, — пообещала я. — Но он точно холост. Он очень холост. — Я посмотрела на Киттен и многозначительно приподняла брови. А потом напомнила ей, что теперь у нее есть поклонник и что Сэнди питает симпатии *ко мне* и не раз приглашал меня куда-нибудь с ним выйти.

— Но мы же знаем, что твое сердце принадлежит мистеру Беккету, — шепнула Киттен мне

на ухо. — Хотя я нахожу Сэнди очень привлекательным.

Как только Сэнди объявил начало представления, все тут же перестали разговаривать и скрипеть ящиками. Граммофон заиграл марш, и Сэнди вывел на манеж своего шпрехшталмейстера. За этим последовал ряд трюков, некоторые из них артисты исполняли с помощью Сэнди — он подталкивал, тянул, дул, поднимал и ронял своих маленьких артистов, а другие с помощью моторчиков и сложной хитроумной системы шкивов. Целый час мы наблюдали за миниатюрными акробатами и акробатками, пожирателями огня, дрессировщиками и их львами, а Сэнди снабжал представление комментариями на своем ломаном французском. Когда на арене появился лев, Сэнди замолчал и издал страшный рык. Киттен то и дело улыбалась и громко с удовольствием аплодировала после каждого номера. Стелла склоняла голову то к одному плечу, то к другому, стараясь понять, как Сэнди заставляет свои фигурки двигаться. Я сидела, гордо выпрямив спину, как мать, которая смотрит на своего юного талантливого сына.

Во время перерыва Стелла вскочила с места, чтобы лучше рассмотреть натянутый канат

и трапеции, на которых висели акробаты с пальцами-крючочками. Усевшись обратно, она заметила:

— Очень интересно и очень умно придумано. Завораживает. Сразу видно, что он инженер.

— После он учился на художника, — защищая Сэнди, возразила я. — Он точно так же талантлив и в рисовании, и в живописи. Ты бы видела его наброски животных! Он делает их пером и чернилами. Я столь многому у него научилась!

Стелла посмотрела на меня с сомнением.

— Но это то, в чем он по-настоящему гениален. Он понимает, как использовать пространство и движение. И цвета — взгляните только на эти гирлянды флажков! Чем он еще занимается?

— Он сделал скульптуры Жоана Миро и Жозефины Бейкер — из проволоки, — неуверенно проговорила я. — Он называет их проволочными портретами. И кажется, у него была выставка в Нью Йорке в прошлом году. Или в позапрошлом?

Во втором отделении мы, как околдованные, следили за тем, как клоун надувает воздушный шар. Сэнди приделал к его спине резиновую трубочку и дул в нее сам. Когда шар надулся, в воздух взлетел акробат, и все ахнули от восхищения и зааплодировали. После этого на арену вышли

дикие лошади, которые выглядели как мягкие игрушки на колесиках, ковбой и танцовщица. Сэнди потянул за невидимый ремень, и лошади остановились и принялись гарцевать на месте, отчего танцовщица подпрыгнула и повисла на обруче, а ковбой полетел вверх тормашками. Зрители вели себя все более шумно, они вошли в раж, и перед каждым новым номером некоторые начинали топать ногами и кричать «браво!». Когда изящная акробатка наконец-то свалилась с трапеции головой вперед, ее юбочка задралась и показались крохотные ягодицы. После этого разразилась такая какофония аплодисментов и криков, что Сэнди был вынужден объявить конец представления, пока зрители окончательно не вышли из себя.

Мы шли к трамвайной остановке, хихикая, а порой начинали смеяться в полный голос. Но когда мы свернули на бульвар Монпарнас, Стелла испортила мне настроение расспросами про Беккета. Ей хотелось узнать, почему я не пригласила его посмотреть на цирк Сэнди и почему Париж обсуждает нашу помолвку, хотя, в сущности, она еще не была объявлена. Киттен тут же встала на мою защиту.

— Мистер Беккет явно обсуждал с кем-то свои

планы, но пока еще не нашел подходящего момента, чтобы сделать предложение.

— Он кажется таким сдержанным. Вряд ли такой человек, как он, скажет о помолвке сначала кому-то постороннему. — Стелла смотрела прямо перед собой; ее взгляд прилип к линии горизонта.

— Именно так и есть, — заметила Киттен. — Он так жутко, чертовски стеснителен, что никак не может набраться храбрости. Я думаю, тебе следует ему помочь, Лючия.

— Что ты имеешь в виду? — Стелла повернулась к Киттен и нахмурилась.

— Я хочу сказать, что Лючии нужно помочь ему преодолеть застенчивость. Он никогда не решится, если они будут все время проводить в обществе мистера и миссис Джойс.

— Ты думаешь, мне необходимо остаться с ним наедине? — медленно спросила я. Я ничего не рассказывала Киттен о нашем подогретом виски уроке танцев с Беккетом. Она бы наверняка этого не одобрила. А после того, что мне наговорила мама, я не вынесла бы и капли порицания.

— Конечно! Как бедняга может сделать тебе предложение, когда твой папа следит за каждым твоим движением? Да он даже не может тебя

поцеловать!

— Но вы же оставались когда-нибудь наедине? Не всегда же с вами твои родители? — Стелла все так же смотрела вперед.

Киттен толкнула меня локтем и беззвучно, одними губами что-то проговорила, но я не смогла разобрать что. Судя по ее смеющимся глазам, это была какая-то шутка, возможно, в адрес Стеллы.

— Это очень трудно сделать, потому что и в самом деле родители почти всегда рядом. И он джентльмен. Ирландский джентльмен.

— О, вопрос не в его… желаниях. — Киттен закатила глаза. — Я видела, как он на тебя смотрит, Лючия. Он просто ужасно стеснительный. Любой девушке это ясно. Он не хочет, чтобы его отвергли. Тебе надо как-то его подбодрить. Должно быть, ему очень страшно — ведь ты дочь гениального писателя. Я, например, жутко боюсь твоего папу.

— Мистер Джойс действительно может показаться пугающей личностью — это правда, — согласилась Стелла. — Но разве он действует на Сэма Беккета так же устрашающе, как на нас? В конце концов, он очень умен, и он мужчина.

— Беккет преклоняется перед баббо. Но ведь и все преклоняются. — Я поколебалась и добавила: — Все, кроме мамы. Она его только бранит. Да,

думаю, Беккету тяжело. Как будто я дочь самого Господа Бога.

— Да! — Киттен широко распахнула глаза. — Так и есть! Представь только, как его это смущает. Бедный Сэм Беккет. Мне очень его жаль. Когда я привожу домой нового поклонника, это очень просто. Папа всего лишь скучный банкир. Но твой отец, вероятно, ожидает, что твой нареченный будет отвечать самым высоким его требованиям. Он обязан быть очень умным и очень начитанным.

— Но Сэм Беккет умный и начитанный, так что с чего бы ему об этом беспокоиться, не так ли? — В голосе Стеллы слышалась легкая насмешка, и я не совсем понимала, чего она добивается.

— Да все равно это очень страшно! Разве можно сравнивать? Не обращай внимания на Стеллу… она просто ревнует! — Киттен сжала мою руку и широко улыбнулась.

Я в шоке уставилась на Стеллу. Она вдруг порозовела и вскинула подбородок.

— Это так, Стелла? — спросила я.

— Для меня он слишком ирландец, — довольно резко ответила она. Румянец пополз дальше, по ее шее, обмотанной малиново-бирюзовым шарфом.

Киттен снова ткнула меня в бок. Я же не могла

отвести глаз от Стеллы. Перед нами простирался бульвар Монпарнас: продавцы газет кричали, предлагая всем свежие вечерние выпуски, трамваи звенели, попрошайки с костылями и несчастного вида лысеющими собаками слонялись вдоль скамеек, подвыпившие гуляки переходили из одного бара в другой. Стелла шагала прямо к трамвайной остановке, как будто видела перед собой только ее, ее яркие одежды развевались на ветру. Она была похожа на яркий экзотический цветок, выращенный в оранжерее.

Я схватила Киттен за руку. В голове у меня роились десятки вопросов и обрывков мыслей. Стелла влюблена в Беккета? Она хочет, чтобы он принадлежал ей? Она пыталась… Может, они… Питает ли Беккет какие-то чувства к Стелле? Не потому ли Стелла настроена так враждебно, не потому ли она всю дорогу спорит с Киттен?

— Стелла влюблена в Беккета? — шепотом спросила я Киттен.

Стелла резко развернулась.

— Я все слышала, Лючия. Между мной и Сэмом Беккетом ничего нет. Абсолютно ничего. Я просто хотела, чтобы ты была более… Не важно! — Она сердито покачала головой.

— Это всего лишь недопонимание. — Киттен

продела свою руку через руку Стеллы, и теперь мы шли все вместе, в ряд. — И все по моей вине. Кстати, Стелла, у меня на примете есть идеальный мужчина для тебя. Друг моего нового поклонника. Почему бы нам не встретиться вчетвером? Пойти в кинематограф? Или вшестером — с тобой и Сэмом, Лючия?

Но никто не успел ничего ответить. Мы уже добрались до остановки трамвая, и к нам как раз приближался трамвай Стеллы. Я посмотрела, как она забирается внутрь, как вздрагивают ее черные блестящие кудри, выбившиеся из-под малиновой шляпки. И мысленно вычеркнула ее из списка приглашенных на мою свадьбу. Да, подумала я, пора сделать так, как советует Киттен.

Я торопилась на Робьяк-сквер, думая о своей будущей свадьбе и строя разные планы. Войдя в квартиру, я сразу поняла, что что-то случилось. Мамин голос я услышала еще из прихожей. Она кругами расхаживала по гостиной, и лицо у нее было темное, совсем больное. Баббо лежал на кушетке с закрытыми глазами и побелевшими губами.

— Она слишком старая! У нее есть муж и ребенок! Почему она не оставит Джорджо в покое? — почти с ненавистью воскликнула мама.

— Процедура развода уже завершена. И это самое главное. — У баббо был разбитый голос, а под глазами наклеены красные пластыри.

— Что произошло? — Я присела на кушетку рядом с ним и взяла его руку с кольцом в свою.

Он слабо улыбнулся и объяснил, что Джорджо и миссис Флейшман заходили на чай и объявили о своей помолвке.

— Вот что означали те две монахини и крыса, перебежавшая мне дорогу, — простонал он. — Твоя мать просто обезумела от горя.

— Джорджо помолвлен с разведенкой! Ей должно быть стыдно! Не то что я хочу, чтобы он совсем не женился, — что-то похожее на раскаяние прозвучало в ее словах, — но почему он не может жениться на девушке, которой столько лет, как ему? На девушке без чужого ребенка и мужа на хвосте?

— По крайней мере, она богата, Нора. И она уже разведена. — Баббо тяжело вздохнул.

— Ох, Джим, вечно ты высматриваешь, нет ли где денег поблизости! И наверняка сейчас думаешь, что ее богатенькая семейка в Америке как-то поможет тебе с книжкой.

Баббо смущенно закашлялся, но промолчал.

— Это ты все затеял, Джим. Позволил ей прихо-

дить в наш дом, вроде как печатать да книжки тебе читать. А она с первой минуты вела себя как бесстыжая шлюха! Сначала строила глазки тебе, потом ничего у нее не вышло, она и перекинулась на Джорджо… а он-то всего лишь молоденький паренек! А она уже замужем побывала и ребенка прижила! И как я подумаю, что ей лет столько, сколько мне… Вот ведь позор!

Баббо бросил на маму предупреждающий взгляд — как будто она зашла слишком далеко и переступила какую-то невидимую границу.

— Она приходит в мой дом, вертится здесь со своими деньгами и бриллиантами, как будто она графиня какая, а я никто. А потом крадет его, моего единственного сына, нашего сына, нашего Джорджо! — Мамин голос задрожал, и ее глаза наполнились слезами. — А как же семья, Джим? — Она упала в кресло и обмякла, словно из нее выпустили всю жизненную силу.

— Теперь у нас будет семья из пяти человек. Они не уедут далеко, останутся жить поблизости, — успокаивающе произнес баббо. — И разве тебе не приятно, что они хотят детей? Разве ты не желала бы иметь внука?

Только когда баббо упомянул внука, словно пелена упала с моих глаз. Джорджо уходит,

по-настоящему уходит, чтобы строить свою собственную жизнь, писать свою историю. Последние десять месяцев он проводил все больше и больше времени с миссис Флейшман, и мы постепенно привыкли к его постоянному отсутствию. Но несмотря на это, мысль о том, что они могут пожениться, почему-то ни разу не пришла нам в голову. И лишь когда я подумала о том, что у Джорджо и Хелен, возможно, родится ребенок, я вдруг осознала, что Джорджо наконец совершил побег и освободился от мамы и баббо. Это повергло меня в шок.

— Она слишком старая, чтобы родить. В ее возрасте это плохо. — Мама сжала губы.

— Ей еще и сорока нет. Пока еще не очень поздно.

— Она, как змея, пробралась в наш дом и украла у нас Джорджо. И клянусь чем угодно, они укатят в Америку быстрее, чем ты скажешь «Дублинский залив»! И семья у нее — евреи! Ну почему, о боже мой, он не женился на ирландской девушке, которая стала бы мне хорошей невесткой!

Баббо поморщился, помял край пиджака и снова промолчал.

— Как, как я могу смириться с ее еврейскими деньгами? И как она им командует! Это стыд и

позор, когда женщина имеет наглость так командовать мужчиной. Говорят, у нее было полно любовников, так что она еще, может, устанет от Джорджо и выгонит его из дома с поджатым хвостом. Я не стану с ней разговаривать. Вообще никогда. Не стану — и все. А что Стелла Стейн? Она милая ирландская девушка, и молодая. Или хотя бы Киттен. — Мама повернулась ко мне, будто только теперь заметила мое присутствие. — Как там Киттен? Он ей вроде бы когда-то нравился.

Я не успела ничего ответить. Баббо твердо сказал, что если она будет продолжать вести себя подобным образом, это еще больше отвадит Джорджо и лишь крепче привяжет его к миссис Флейшман. После этого он довольно резко напомнил ей, что Киттен — американка, а Стелла — еврейка.

— О-о-о, да что мне за дело! Я теряю своего мальчика! Отдаю его прямо в когти вампирше! — Мама коротко всхлипнула, и у нее перехватило голос.

— Ты просто думай о ней как о… — Баббо умолк на полуслове, и его взгляд стал отсутствующим.

Я знала, что сейчас он начнет восхвалять ее богатство, призывать маму подумать, сколько пользы могут принести нам деньги миссис

Флейшман, и связи миссис Флейшман, и американская родня миссис Флейшман.

— А они могли бы помочь отменить запрет на публикацию «Улисса», баббо?

Он натянуто улыбнулся:

— Кто знает, mia bella bambina? Кто знает?

Той ночью я не спала. Я понимала, что побег Джорджо из квартиры на Робьяк-сквер лишь укрепит прутья моей клетки. И я снова и снова спрашивала себя, как мои родители решатся отпустить меня теперь, когда осталась только я одна? Когда серый утренний свет просочился сквозь ставни, я твердо уверилась, что пора воплотить мой план в жизнь. Мне было нечего терять.

Ноябрь 1934 года

Кюснахт, Цюрих

— Почему, как вы полагаете, Джорджо был любимцем вашей матери? — Доктор Юнг аккуратно набивает трубку. — Вы не станете возражать, если я закурю, мисс Джойс?

— Он был чудесным, тихим ребенком, а я все время плакала. Тетя Эйлин мне рассказывала. По ее словам, мама просто не знала, что со мной

делать. Всем было известно, что мама больше любит Джорджо. Даже она сама мне об этом говорила. — Я невесело смеюсь и потираю рукава мехового пальто. Я сильно замерзла после путешествия на пароме через Цюрихское озеро. От резких порывов холодного ветра озеро заметно штормило, паром раскачивался, то вздымаясь вверх, то опускаясь вниз.

— То, что он съехал с квартиры на Робьяк-сквер, означало, что теперь все внимание ваших родителей принадлежит только вам? — Доктор посасывает трубку и выпускает маленькое облачко табачного дыма, которое зависает над его головой, как нимб.

— После этого я несколько ночей не могла уснуть. — Я делаю жест в сторону рукописи, раскрытой на столе у доктора, как веер. — Нам с Джорджо пришлось так много пережить вдвоем. Когда мы приехали в Париж — ему было пятнадцать, а мне тринадцать, — мы поселились в ужасном, кишащем вшами отеле в Латинском квартале. Мы думали, что это временная остановка на пути в Англию, к новой жизни, но этого так и не случилось. — Я замолкаю и рассматриваю свои руки. Какими старыми и корявыми они выглядят! Неровные, обкусанные ногти, кожа,

на которой уже появились морщины. Я гляжу на красный блестящий шрам на большом пальце, но тут мое внимание привлекают предательские коричневые старческие пятнышки на запястьях.

— Сколько мне теперь лет, доктор?

— Вам двадцать семь, мисс Джойс. Что же было, когда вы переехали в Париж?

— Мы с Джорджо не знали французского и целых три месяца разговаривали только друг с другом. У нас не было ни друзей, ни знакомых. У меня даже собственной спальни не было. Если мне нужно было уединиться, я шла в комнату Джорджо. Школу я не посещала — и вообще посещать было некого. Баббо заканчивал «Улисса» и требовал темноты и полной тишины, и мы с Джорджо часами сидели в его комнате и изображали Чарли Чаплина.

Я снова замолкаю. Слезы наворачиваются на глаза, даже сейчас, после всего, что между нами произошло. Как же это получилось? Как такая тесная дружба, такая близость могла превратиться в нечто совершенно противоположное?

Я громко сглатываю слюну и продолжаю:

— Джорджо получил работу через одного из «льстецов» баббо. Стал клерком. Но сразу же ее возненавидел. Он говорил, что она невообразимо

скучна, что ему тошно прислуживать и что это ниже его достоинства. Потом он перешел в «Американ траст». Ему пообещали двести франков в месяц после испытательного срока без оплаты. Баббо сказал, что эта работа может помочь ему достичь большего. Но Джорджо не выдержал испытательного срока. Он считал, что бесплатно рыться целый день в бумажках нудно и унизительно. — Я делаю паузу и смотрю на доктора. Он курит трубку и наблюдает за мной, всегда наблюдает своими поблескивающими, как монеты, глазами.

Затем он отодвигает кресло, встает и идет к окну. У него немного поскрипывают щиколотки.

— Пожалуйста, продолжайте, мисс Джойс. Я должен понять, что же вызвало разрыв между вами и вашим братом.

— Я всегда знала, о чем он думает. Иногда могла точно предсказать, что он произнесет в следующую секунду. — Я бессмысленно смотрю на заусенец и рассеянно размышляю, были ли это моменты ясновидения или просто результат многолетней дружбы и родства. Вдруг что-то вылезает из черного, затянутого паутиной, самого дальнего уголка моей памяти. Я пытаюсь схватить это, но оно ускользает, и мне начинает

казаться, что по спине у меня ползают насекомые, маленькие черные муравьи. Мне очень хочется почесать спину, но доктор ждет, чтобы я продолжила, и я не желаю больше думать о ползающих по коже насекомых. — Когда к нам заходили «льстецы» баббо, они пробегали мимо нас, будто… будто мы были невидимками. Нас звали готовить и разливать чай. И тогда Джорджо подмигивал мне. Это был наш условный сигнал. Мы изобрели собственный язык — итальянский, смешанный с немецким и английским и чуть-чуть французского. И вот, после того, как он подмигивал, мы начинали очень громко разговаривать на этом тарабарском наречии. Это всегда сбивало «льстецов» баббо с толку — они не понимали ни слова. — Это воспоминание вызывает у меня улыбку, и я забываю о ползающих по спине муравьях.

— Значит, ваша связь была очень тесной, очень глубокой? — Доктор стоит у окна и любуется холмами и лесами за озером. Капли дождя стучат по стеклу. Из-за его плеча я вижу небо, затянутое черными, набитыми дождем тучами.

— Лишь деньги миссис Флейшман придали ему силы и… — я подыскиваю нужное слово, — и решимости совершить побег с Робьяк-сквер. Он

женился не по любви.

— Вы считаете, что он женился только для того, чтобы сбежать от родителей?

— Я это знаю. — Я роняю голову на грудь и закрываю лицо руками. Как я могу объяснить то, что теперь известно мне наверняка: родители вцепились в меня крепче прежнего, когда Джорджо еще только познакомился с миссис Флейшман. Конечно, они за него боролись. Но миссис Флейшман оказалась настойчивой особой. И она была богата. Она тоже боролась за Джорджо, и в ее арсенале были деньги и определенное очарование. И эти же орудия она использовала, чтобы вернуться в круг «льстецов» баббо.

— Вы явно прогрессируете, мисс Джойс, и мне это очень приятно. Мисс Бейнс сообщает мне, что вы ведете себя спокойно, что у вас нет очевидных проблем с памятью.

— Так когда я смогу выйти отсюда, доктор? — Я поднимаю голову. — Я чувствую себя намного лучше.

— Когда мы докопаемся до воспоминаний, которые вы заблокировали, подавили. У меня появилась теория. Все началось с того, что вы ощущали себя эмоционально брошенной, еще будучи грудным ребенком. Потом вся жизнь

вашей семьи вертелась вокруг доминирующей фигуры отца…

— Баббо вовсе не доминировал надо мной! Это мама командовала мной и решала, что мне надеть. Вы все неправильно поняли! — Я гневно смотрю на доктора Юнга. Этот глупец ничего не соображает!

— Вы правы, мисс Джойс. Ваш отец не авторитарная личность. Не тиран. Но ведь он держал все под контролем, верно? Вы сами говорили, что беспокоились о том, как мистер Беккет постепенно попадает под его влияние. Его чары, если угодно.

— Так это все, к чему вы пришли? Я приезжаю сюда уже два месяца, и это все выводы, которые вы сделали?

Я вскакиваю и хватаю с маленького столика свои перчатки и сумочку. Я должна вернуться в отель. Баббо станет волноваться. Весь этот дождь и ветер. Доктор Юнг показывает на кресло, призывает меня сесть обратно. Теперь он уже кричит на меня и толкает к креслу. Я замахиваюсь на него сумочкой, целя прямо в лицо, в эти красные самодовольные щеки. Он пригибается, и я чувствую его толстые руки на своих руках. Ему удается прижать меня к креслу. Я дышу коротко и прерывисто, как ветер, что то и дело налетает

на окна кабинета. Сумочка валяется на полу, ее содержимое разбросано вокруг: жестянка воска для туфель, серебряная вилка для торта, ситечко для чая, розовое перо фламинго из цюрихского зоопарка, патрон с губной помадой, птичья лапка, коробка спичек. И всемирно известный врач стоит на коленях, собирает мои вещи и осторожно складывает их обратно в сумочку.

— Мисс Джойс… — Он смотрит на меня снизу вверх, и в первый раз я ловлю в его взгляде искру… чего? Нежности? — Это только начало. — Он оглядывает ситечко для чая и тоже возвращает его в сумочку. — Я думаю, что у вас глубоко спрятанный комплекс, результат чего-то, что случилось с вами в детстве. И это воспоминание для вас столь кошмарно, столь невыносимо, что вы похоронили его так глубоко, как только могли.

Когда он произносит это, я ощущаю, как что-то во мне закрывается, как морская анемона, в которую ткнули вилкой. Все, что у меня внутри, захлопывается, скручивается в тугие завитки. И воздух вокруг становится зеленым и холодным.

— Подавление подобных воспоминаний может привести к раздвоению личности и, иногда, развитию мощных, ярких фантазий о совсем другой жизни. Моя гипотеза подразумевает, что

вы сублимировали это воспоминание в танцы. А когда прекратили танцевать, оно стало медленно всплывать в подсознании. — Он длинно вздыхает и поднимается. — Я говорю все это потому, что верю: вы достаточно умны и способны понять мою мысль.

Доктор Юнг передает мне сумочку, и я тоже встаю.

— Мне нужно идти, — натянуто произношу я. — Здесь слишком холодно. Но вы должны кое-что знать, доктор. — Я молчу и кусаю губы, долго, несколько бесконечных секунд. Я хочу что-то сказать ему, но что? Понятия не имею. Я ищу нужные слова… хоть какие-нибудь слова… но мой разум пуст, голову заволокло туманом, а по спине снова ползают муравьи. Вверх и вниз.

Он выжидательно смотрит на меня.

— В следующий раз, — наконец ласково говорит доктор. — Полагаю, на сегодня уже достаточно. — Он направляет меня к двери и протягивает носовой платок. — Ваши губы, мисс Джойс. Они кровоточат.

Глава 16

Апрель 1930 года

Париж

Мама наотрез отказалась разговаривать с миссис Флейшман. Думаю, мы все прекрасно понимали, что уже слишком поздно, что миссис Флейшман победила, а Джорджо освободился. Но мама все равно упорно молчала в ее присутствии несколько недель.

В это время я планировала собственную свадьбу. Собственный побег. Платье я надену, разумеется, белое. Но это будет современное платье, сшитое по последней моде, с заниженной линией талии и короткими рукавами. На мне будет фата, а в руках букет из розовых бутонов и белой сирени. Гостей я приглашу очень мало — маму, баббо, Сэнди, Киттен и, возможно, пару старых знакомых из моей распущенной теперь танцевальной труппы. Еще мы пригласим семью Беккета, и Макгриви тоже надо будет позвать, но больше никого из «льстецов». Джорджо споет нам, а Мэн Рэй займется фотографиями. Я исполню танец,

который уже некоторое время репетирую на уроках Маргарет Моррис, а свадебный прием мы устроим в «Фуке» — шампанское, холодный цыпленок и альпийская земляника.

Вопрос о том, где именно заключить брак, я оставлю на усмотрение Беккета, потому что моя семья — католики, но его семья — протестанты. Медовый месяц мне хотелось бы провести в Ирландии и своими глазами поглядеть на дом, где вырос Беккет. А потом мы отправимся в Дублин и Голуэй и увидимся с моими бабушками и дедушками, тетушками, дядюшками, кузенами и кузинами. Я так ясно все себе представляла: он и я, рука в руке, наши щеки болят от улыбок. И слова моих родственников, когда мы будем уходить и они решат, что мы уже ничего не слышим: «Ну разве Лючия не умница! Какой удачный брак! Они замечательно смотрятся вместе!»

А если Беккет не захочет ехать в Ирландию, возможно, мы отправимся в Германию, повидаться с его дядей и тетей. И после свадьбы нам нужно будет где-то жить. Когда мы найдем себе собственную маленькую квартирку, я покрашу стены в приглушенный серо-голубой цвет и куплю фортепиано. У него будет кабинет для работы, где я повешу много полок из выбеленного

дуба для его книг, и письменный стол красного дерева — за ним он сможет писать хоть целый день. На балконе я посажу красные герани, чтобы они радовали нас яркими красками в хмурые дождливые дни. Я сделаю наш дом таким уютным и удобным, что Беккет станет обязательно возвращаться туда по вечерам. Я буду играть на фортепиано и петь для него. И конечно, я буду снова танцевать на сцене. Я снова буду выступать, под именем миссис Сэмюэль Беккет!

Мои счастливые раздумья прервала мама. Она стояла передо мной и махала у меня под носом письмом.

— Мы должны съездить в Цюрих, Лючия. Назначена дата операции отца — это на следующей неделе.

— Но я не могу никуда ехать! На следующей неделе из Англии возвращается миссис Моррис, и она не даст мне место преподавательницы, если не увидит меня воочию. Эта неделя для меня очень важна! — Я даже повысила голос, придя в ужас от мысли, что мне придется пропустить визит миссис Моррис. Я знала, что она хочет посмотреть, как я веду класс.

— Тебе и не нужно никуда ехать, — ровным тоном сказала мама. — Можешь остаться с миссис

Флейшман.

— Не хочу я оставаться с миссис Флейшман! Почему я не могу остаться здесь? А потом, ты ведь с ней не разговариваешь. Как же ты ее попросишь?

Мама фыркнула.

— Пожалуйста, позвольте мне остаться здесь! — взмолилась я. — И разве Джорджо не может со мной побыть?

— Я поговорю насчет этого с Джимом, но никаких обещаний.

В ту секунду я осознала: вот он, мой шанс. Моя возможность стать официальной нареченной Беккета. Родители уедут, и мы сможем свободно обсудить свадьбу. Без баббо, который дышит в затылок и изучает каждый мой или Беккета жест, каждый взгляд, мы наконец-то сможем без помех поговорить о нашей любви. Я чуть не закипела от волнения и стала прикидывать, как проделать все наилучшим образом. Я не могла пригласить Беккета на Робьяк-сквер — вдруг мама все-таки решит, что я должна это время пожить у кого-то еще, или дома будет Джорджо. Театры и кинематографы отметались — слишком мало времени для беседы. В танцевальных залах и барах слишком многолюдно, и там полно людей, которые

нас знают…

Нам был нужен тихий ресторан с укромными темными уголками. Немодное место с безразличными официантами. Чтобы он находился рядом и мы могли добраться туда пешком, а потом разговаривать и целоваться, скрытые от посторонних глаз. Я перебрала все рестораны, где мы бывали с родителями — в одном было слишком дорого, в другом недостаточно тихо, в третьем недостаточно романтично… Я мысленно отметила любимые заведения баббо: «Фуке», «Трианон», «Франсис», «Клозери де Лила». А потом вспомнила о маленьком бистро с низкими потолками и свечами, возле южного входа в Люксембургский сад. Мы ходили туда всей семьей — родители, Джорджо и миссис Флейшман, Беккет и я, вскоре после дня рождения баббо, который праздновался в феврале. Для родителей и миссис Флейшман бистро оказалось недостаточно роскошным, и официанты не кланялись и не пресмыкались перед баббо, как в «Фуке», но Беккету там понравилось, и он сказал, что здесь подают лучшие стейки с жареным картофелем по-французски, какие ему только доводилось пробовать. Бистро будет идеально для первого признания в любви.

Беккет скажет, как он не мог думать ни о чем,

кроме меня, как он приходил на Робьяк-сквер только ради того, чтобы увидеть меня. Мы будем шептаться о том, как сильно нас тянет друг к другу телесно, сильно до боли, и как долго мы ждали этого момента. Мы вспомним о том, как страсть овладела нами в гостиной у мамы, и посмеемся, вновь представив себе выражение ее лица, когда она на нас наткнулась. Потом мы назначим дату свадьбы и обсудим его костюм, и церковь, и цветы, и кольца. Я спрошу, что он думает о букете из розовых бутонов и белой сирени, а он попросит у меня совета относительно того, какой цветок вдеть в петлицу. Конечно, ему захочется, чтобы это был бутон дикой ирландской розы. Или одна-единственная роза, срезанная с живой изгороди. И у нас будет традиционный ирландский свадебный торт в три яруса, украшенный сахарными розами. Я предложу, чтобы фотографиями занялся Мэн Рэй. А Беккет, может быть, скажет, что ему всегда нравились мои фотографические портреты, сделанные Беренис Эббот. Мы оба расхохочемся, а затем он скажет: «Нет, если ты хочешь, чтобы это был Мэн Рэй, у нас будет Мэн Рэй».

А когда мы обсудим все детали свадьбы, перейдем к медовому месяцу, не сводя друг с друга глаз,

соприкасаясь коленями под столом. Я отмахнусь от официанта, и Беккет скажет, как он мечтает отвезти меня в Ирландию, показать мне свой сад, собак, родителей, горы, где они гуляли с отцом, спальню на чердаке, которую они делили с братом.

А потом, переплетя пальцы, мы поговорим о том, где будем жить. Стоит ли нам подыскать маленькую квартирку неподалеку от мамы и баббо или переехать на окраину Парижа, чтобы у нас был свой сад с сотнями желтых нарциссов и собака? Я опишу ему пышные подушки и драпировки, которые уже давно себе нарисовала, узнаю, что он любит есть на завтрак и какой кофе предпочитает.

Выйдя из ресторана, мы, рука в руке, побредем сквозь Люксембургский сад. Длинные полосы бледного дрожащего лунного света будут освещать дорожки, а нежный весенний ветерок, напоенный ароматами тюльпанов, охладит наши пылающие щеки. Мы остановимся под старым каштаном, что возле фонтана, и сольемся в поцелуе. Это будет дикий, необузданный поцелуй, полный страсти, и мы оторвемся друг от друга, тяжело дыша и изнывая от желания. Он станет умолять меня заняться любовью прямо

здесь, у каштана, прижимаясь к старому, с жесткой, потрескавшейся корой стволу. И признается, как часто воображал себе этот момент и мечтал о нем, а я признаюсь в ответ, что много месяцев думала только о нем. И его руки проникнут мне под платье, а мои пальцы окажутся у него под рубашкой, затем в брюках…

Я настолько погрузилась в свои мечты, что даже не услышала, что ко мне стучится мама. Повернулась ручка двери, и она предстала передо мной.

— Лючия, уже больше десяти. Ты опоздаешь на свой урок танцев как пить дать.

Киттен, с которой я все обсудила, согласилась, что я выбрала идеальный ресторан. Но добавила, что мне нужен новый наряд и новая косметика. И я купила бледно-зеленое платье и новую губную помаду землянично-красного оттенка, а еще новые тени для глаз, подходящие к цвету платья, мятно-зеленые. Зеленый выгодно подчеркивал мою фарфоровую кожу и темные волосы. И конечно, зеленый являлся цветом Ирландии. Я записалась на завивку волос и подобрала к платью ожерелье из нефритовых бусин. К тому времени, как родители уехали в Цюрих, я была полностью готова. Джорджо согласился перебраться

на Робьяк-сквер на время их отсутствия, но его никогда не было дома, так что насчет него я не волновалась. Я позвонила Беккету по телефону и пригласила его на ужин в восемь часов. В трубке возникла пауза, как будто внезапно прервалась связь, а затем он сказал:

— Да, с большим удовольствием, Лючия.

Когда я шла к ресторану, мое сердце билось и трепетало, как бабочка в сачке. Я осознала, что с момента нашего знакомства не прошло и дня, чтобы я не думала о нем, не представляла себе, как его руки обвиваются вокруг меня и наши губы сливаются. И тем не менее теперь, когда до подтверждения всех моих мечтаний и планов оставалось всего ничего, меня переполняло беспокойство. Мои ладони стали холодными и влажными, грудь стеснилась, а в горле запершило. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и начала бесконечно повторять про себя магические слова «миссис Сэмюэль Беккет».

В ресторане меня проводили к столику на двоих — в углу. Я села так, чтобы Беккет увидел меня сразу, как войдет. И я его тоже. Угрюмый официант, к моему величайшему облегчению, понятия не имел, кто я такая. Он зажег свечу на столе и принес мне меню. Какое это счастье — находиться

где-то инкогнито, подумала я. После публикации «Улисса» баббо сделался так знаменит, что нас узнавали везде, куда бы мы ни направлялись, разевали рот, показывали пальцами. Но теперь я была одна, в ресторане, никто меня не знал, и по моей спине пробежала дрожь возбуждения.

Ожидая Беккета, я мысленно повторила разговор, который предстоял нам за ужином. Вернее, его начало. Я решила не упоминать ни Сэнди, ни Стеллу, но вместо этого рассказать о миссис Флейшман и Джорджо и их свадебных планах, чтобы подготовить сцену. Беккет любит говорить о книгах, и я заговорю о «Любовнике леди Чаттерлей» — опять же чтобы подготовить сцену. Как обычно, я спрошу его, что он сейчас читает и что пишет и кто его любимые студенты. Но задерживаться на этих темах надолго я не стану. Потом мы поговорим о наших любимых местах в Париже, любимых оттенках, любимых художниках, любимых цветах. И конечно, об Ирландии. Мне всегда хотелось услышать все о его матери и об их саде. И то, что вскоре я должна буду с ней встретиться, придаст нашей беседе пикантности. Мне нужно удостовериться, что она с радостью примет меня в семью Беккет. Мне не хотелось бы, чтобы ко мне относились так, как мама к миссис

Флейшман, хотя в данном случае виновата была сама миссис Флейшман и ее наглое похищение Джорджо. У нас с Беккетом все совершенно по-другому. Мы одного возраста, мы оба ирландцы, и мы влюблены друг в друга.

Перечисляя про себя все, что отличает меня от миссис Флейшман, я подняла голову и увидела, что ко мне направляется официант. За ним маячил Беккет, так что я быстро поправила прическу. Беккет помахал мне из-за плеча официанта, и я так обрадовалась, что невольная широкая улыбка расползлась у меня по лицу. Официант сделал шаг в сторону, Беккет наклонился и поцеловал меня в щеку. И только когда он отошел, я заметила, что за ним стоит еще один молодой человек. Я решила, что сейчас официант проводит его к другому столику. Но вместо этого он сказал, что тотчас же принесет еще один стул и поставит еще один прибор.

Я нахмурилась от удивления и какого-то неприятного предчувствия — пока еще ничего не понимала. Я уже собралась сообщить официанту, что нам не нужен еще один стул, когда Беккет вдруг произнес:

— Я надеюсь, вы не возражаете, Лючия, я привел с собой своего студента, Джорджа Пелорсона.

Он был… голоден.

Они оба коротко рассмеялись, а я ощутила, как внутри меня сгущается тьма, собирается в ком, крутится, поднимается вверх. В груди у меня все сжалось; меня охватила паника, стало трудно дышать. Хорошо, что стол освещает только одна свеча. Хорошо, что я сижу. Я попыталась сосредоточиться на дыхании.

Прибыл официант с третьим стулом и двумя меню. Пелорсон и Беккет обсудили вино и никак не могли сойтись, выпить им красного или белого.

Затем Пелорсон обернулся ко мне и сказал:

— Мне очень приятно с вами познакомиться. Я столько слышал о вашем отце. Можете ли вы открыть хоть какие-нибудь его секреты? Мы все умираем от желания узнать, как все же называется его новая книга, не так ли, Сэм?

Я буквально открыла рот и тупо покачала головой. Меня настолько сбивало с толку присутствие Пелорсона и то, что оно означало, что я совсем перестала соображать. Я все время спрашивала себя, зачем Беккет привел с собой студента. Я припомнила наш телефонный разговор. Когда я позвонила ему и пригласила на ужин, то сказала, что мне нужно обсудить с ним нечто очень важное и личное, что-то, что не терпит отлагательств.

Да! Именно эти слова я и произнесла! Очень важное, личное и не терпящее отлагательств. Так зачем он притащил сюда этого человека с его вопросами и невыносимым любопытством?

Я почувствовала, как вздымается моя грудь, а дыхание становится неровным и хриплым. Я закрыла глаза и начала дышать. Вдох через нос. Выдох через рот. Вдох через нос. Выдох через рот. Когда я открыла глаза, мне стало немного спокойнее, но я заметила, что Пелорсон пялится на меня во все глаза. Он быстро уткнулся в меню, но было слишком поздно. Я увидела, что по его лицу скользнуло отвращение.

Подошел официант, чтобы принять наш заказ. Он вежливо смотрел на меня, ожидая, когда я сделаю выбор. Но слова в меню расплывались, буквы скакали и менялись местами. Не в силах прочитать ни слова, я выпалила первое, что пришло мне в голову: салат. Но вместо того, чтобы записать его и уйти, официант засыпал меня вопросами, на которые я была не в состоянии ответить. Какой именно салат? Хочу ли я что-нибудь к нему? Будет ли это закуска или главное блюдо? Я бессмысленно таращилась на него и молчала. Мне хотелось, чтобы он просто ушел. Взял с собой Пелорсона и ушел.

Я услышала, как Беккет говорит, что я буду большой салат «Нисуаз». Пока они с Пелорсоном диктовали официанту свой заказ, я дышала. Вдох через нос. Выдох через рот. Вдох через нос. Выдох через рот. И смотрела на Беккета, на его непроницаемое лицо и светлые сине-зеленые глаза — он читал меню. И на его руки. О боже мой — его руки! При виде их моя любовь к нему переполнила сердце. Ее было так много, что она распирала меня изнутри, разрывала душу. И в то же время я не могла избавиться от дурного предчувствия — я знала, зачем Беккет привел Пелорсона. Вовсе не потому, что тот был голоден.

Я сдвинула колени — так сильно, что едва не захрустели суставы. Села по-другому, выпрямилась, как доска, не забывала дышать. Таким образом мне более или менее удалось взять себя в руки. Беккет и Пелорсон обсуждали заказанные блюда. Было очевидно, что Пелорсона я совершенно разочаровала. Разумеется, он ожидал встретить этакого литературного гения в миниатюре, который просветил бы его относительно творчества великого Джеймса Джойса и открыл мистическое значение его работ. Несомненно, он оповестил всех своих друзей, что сегодня ужинает с дочерью знаменитого писателя, и все они мечтали узнать

каждую деталь этого необыкновенного ужина.

Официант принес вино, а затем еду. Следующие двадцать минут я возила по тарелке вялые салатные листья и пересчитывала серебристые анчоусы и стручки зеленой фасоли. И радовалась, что мне есть чем заняться и есть на чем остановить взгляд. Пелорсон спросил меня что-то о моих танцах, но я не ответила. Я была слишком занята, в сотый раз пересчитывая фасоль, — стручков было довольно много, они плавали в лужице масла и поскрипывали, когда я накалывала их на вилку. Беккет говорил очень мало; он постоянно ерзал на стуле, и его щеки были тронуты румянцем. Я понимала, что ему неловко за меня перед своим студентом.

Я играла с салатом, но не могла проглотить ни крошки. Ни единого стручка фасоли, ни одного скользкого анчоуса. Когда официант забрал у меня тарелку, я подняла взгляд и встретилась глазами с Беккетом. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и на минуту мне почудилось, что я снова стою на вершине Эйфелевой башни: все предметы вдруг отдалились, уменьшились и словно слились с горизонтом. У меня закружилась голова и затошнило, будто я взглянула вниз. Ощущения были те же самые. У Беккета был

настороженный вид, и мне стало еще хуже — я медленно начинала осознавать, что он, возможно, питает ко мне совсем не такие чувства, как я к нему. Неужели я что-то неправильно поняла? Беккет повернулся к Пелорсону и спросил, не желает ли тот десерт.

Может, мне поднять вопрос о свадьбе прямо сейчас, невзирая на Пелорсона? Вероятно, он поймет намек и уйдет. В конце концов, ведь именно за этим я сюда и пришла, в новом платье, с уложенными, завитыми волосами, замаскировав вновь открывшееся косоглазие мерцающими зелеными тенями? Но вдруг, совсем неожиданно, я словно воочию увидела, как все, на что я надеялась, о чем мечтала, разлетается на тысячи, десятки тысяч мельчайших осколков. Я видела, как мой свадебный букет взрывается прямо у меня над головой, и бледно-розовые крошечные бутоны, мертвые, опадают на землю. Маленький домик, что я воображала, разломался на куски, пышные подушки разорвались, и из них высыпались облака белого пуха. А миссис Сэмюэль Беккет… миссис Сэмюэль Беккет растворилась в воздухе, как привидение. Исчезла. Постепенно, член за членом, пока от нее не осталась одна голова. Единственный глаз вертелся в глазнице.

Я сделала судорожный вдох. Воздух! Надо выбраться отсюда. Воздух! Мне нужен воздух! Я встала, держась за стол. Беккет смотрел на меня тревожно и сконфуженно одновременно. Пелорсон спросил, не больна ли я, и попытался поддержать. Но я стряхнула его руку и бросилась к выходу из ресторана. Оказавшись снаружи, я начала жадно глотать воздух, а потом побежала вниз по дороге, по направлению к Сене. Горячие слезы обжигали мне щеки — слезы стыда, отчаяния и поражения. Все кругом было черным, кроме луны — она висела в небе ледяной серебряной монетой. Откуда-то издалека до меня донесся крик Беккета — он звал меня. Но я не оглянулась. Я бежала и бежала, роняя слезы, пока не добралась до Робьяк-сквер.

Я пробыла дома не более десяти минут, когда раздался звонок в дверь. Я лежала на диване в гостиной, в полной темноте, слушала и не двигалась. Звонок повторился. Опять и опять. А потом раздался голос Беккета — он вышел на улицу и звал меня, стоя под окнами. Моя голова гудела, но все же мне удалось встать, добрести по темному коридору до прихожей и впустить его. Я знала, что мой макияж размазался, лицо было мокрым от слез, но мне было уже все равно.

В полумраке — гостиную освещала только луна — Беккет запинающимся голосом сказал мне, что я неправильно оценила его намерения.

— Вы… вы ожидали… Ожидали чего-то другого? — На его лбу, прямо у линии волос, выступили крупные капли пота.

Я молча кивнула.

— Мне нравится ваше новое платье, — неуверенно, но ласково произнес он. — И я считаю, что вы очень красивая. Но надеюсь, я не ввел вас в заблуждение? Каким бы то ни было образом?

— Вы приходите к нам каждый день, — безжизненно выговорила я. — Я думала, что мы поженимся.

Как только я сказала это вслух и слова повисли между нами, как блики света, мне тут же стало легче.

— О, Лючия… Я прихожу к вашему отцу, а не к вам.

Я отшатнулась.

— Что? — прошептала я.

— Я прихожу, чтобы помочь ему с работой. Это единственная причина, по которой я бываю у вас.

Его слова… холодные и жесткие. Его глаза… два ледяных голубых огня, предостерегающие: не

приближайся ко мне. Я застыла. И сразу же миллионы вопросов хлынули мне в голову. Почему же он так смотрел на меня? Почему касался меня, когда мы оказывались рядом? Все эти мгновения близости… мы ведь почти занимались любовью! Он трогал меня там, где не трогал ни один мужчина! Мы почти занимались любовью. Неужели он обо всем забыл? Неужели виски стер это из его памяти? И наши прогулки, походы в кинематограф, чай у него в комнатах. Все это было только ради того, чтобы видеть моего отца?

— Если это единственная причина, то что означало все остальное? — еле выговорила я.

Беккет уставился вниз. Его плечи поникли.

— Вы мне как… как сестра, — заикаясь, пробормотал он. — Но такая… такая красивая, полная жизни, что я… иногда… не мог… не могу… — Он замолчал и поднял голову. Пот градом катился у него по лицу. — Я не из тех, кто женится. Я прихожу к вашему отцу, Лючия. Не к вам.

Я почувствовала, что больше не могу оставаться в его обществе. Преданная, обманутая, униженная, я встала, выпрямилась во весь рост и с нечеловеческими усилиями овладела собой.

— Значит, я была не более чем… чем hors

d'oeuvre[20]?

— Нет, это не совсем так… не так… — тихо сказал он и тыльной стороной руки отер лицо.

— Я полагаю, вам следует уйти, — твердо произнесла я. — Немедленно.

— Мне очень жаль. — Беккет снова ослабел, повесил голову и сгорбился. — Я как будто мертв внутри. Я не способен испытывать нормальные человеческие чувства… поэтому и не могу влюбиться в вас. Я пытался…

— Немедленно, — повторила я. Я не могла слышать эти жалкие объяснения. Он использовал меня, чтобы стать ближе баббо. Он просто еще один угодливый, отвратительный «льстец». Ради него я отвергла Эмиля — милого, доброго, очаровательного Эмиля. Я была готова отдать ему свою девственность. И все это время я являлась не более чем пешкой в его игре «погоня за гением». Всего лишь дочь Джеймса Джойса. Маленькая, но очень недурственная hors d'oeuvre, которую можно прожевать и проглотить за секунду.

— Вы расскажете все отцу? — Его голос дрогнул от страха.

Я промолчала. Он вычерпал из меня все. Я ощу-

---

[20] Примечания: 20
Закуска *(фр.).*

щала себя не человеком, а шелухой, оболочкой — тонкой, хрупкой оболочкой, пустой и ненужной. И все, что его беспокоит, — скажу ли я отцу? Как живой человек может быть настолько жестоким, настолько бездушным?

Беккет встал и пошел к двери, шаркая ногами, как старик. Я услышала, как щелкнул замок, а потом тихое эхо его шагов на лестнице. Он спускался вниз.

Я любила его восемнадцать месяцев. Жаждала его. Тосковала по нему. Восемнадцать месяцев я каждый день ждала его прихода. Восемнадцать месяцев тихих разговоров в прихожей, нежностей, семейных выходов в свет. Я подумала о нашем брачном ложе… он обнимал меня, залитый медовым светом, полуодетый, тяжело дыша от страсти и желания.

Я включила свет и подошла к телефонному аппарату. Рядом с ним лежал номер цюрихского отеля, в котором остановились родители. Я подняла трубку и попросила оператора соединить меня с ним.

Через несколько минут я уже разговаривала с мамой. Я все ей рассказала. Передала каждое слово Беккета. Сказала, что он разбил мне сердце, бросил меня и мне пришлось одной в темноте

возвращаться домой, что он унизил и опозорил меня. Мама была вне себя от ярости. Я слышала, как ее голос кипит от гнева, когда она пересказывала все баббо. Мама сообщила, что операцию ему пока еще не сделали, но они вернутся так скоро, как только смогут. Вешая трубку, я услышала, как она воскликнула:

— Я никому не позволю играть с нашей дочерью, Джим! Никому!

Два дня я провела в постели. Ни с кем не разговаривала, ничего не ела. Лишь прислушивалась к крикам старьевщиков, что расхаживали со своими тележками вниз и вверх по рю де Гренель. Я смотрела на медленно движущиеся стрелки часов… вот они приблизились к часу, когда должен был состояться мой урок в присутствии миссис Моррис… безжалостно миновали его… Но я не могла пошевелиться. Я пыталась встряхнуться, твердила себе, как это грубо — пропустить назначенную встречу, как долго я ждала этого урока. Однако единственное, о чем я думала, был наш последний ужасный вечер с Беккетом. Я без конца задавала себе один и тот же вопрос: как же я так запуталась? Как и почему поняла все настолько превратно? Как можно было видеть знаки и читать их совершенно по-другому? И

все же, даже в самые горькие секунды раздумий, я знала, что виновата не только я. Если все его ласковые слова и жаркие объятия являлись всего лишь залогом расположения великого Джеймса Джойса, то он жестоко обманул меня.

Мне вспомнились слова Сэнди о том, что весь Париж болтает о нашей помолвке. И снова стыд и унижение пронзили меня насквозь, как молния, прошли сквозь все мое тело, так что я скорчилась и сжалась в комок. Как мне теперь смотреть людям в глаза? Я уже представляла этот шепоток в кафе и барах на Монпарнасе. Брошенная дочь Джойса… да-да, та самая, с косым глазом… да, с ней все кончено.

И зачем я устроила это жуткое представление в ресторане? Как бы поступила на моем месте Киттен? Выбежала на улицу, трясясь и рыдая? Нет, она осталась бы сидеть на своем месте, сумела бы скрыть свой шок и разочарование за хорошими манерами. Она приняла бы свою боль и страдание и тихо признала бы поражение. А я? Что сделала я? Распалась на части, причем устроила из этого целый спектакль.

Когда вернулись родители, внутри у меня все горело от горя и стыда. Глаза впали, опухли и покраснели от рыданий. Волосы были грязными

и непричесанными. Лицо побледнело, его черты заострились. Мама ворвалась в комнату, открыла окна, подняла с пола разбросанную одежду, носовым платком стерла с зеркала помаду. Я заметила, что она оглядела мое платье, прежде чем повесить его в гардероб. Потом опустилась на колени, подобрала все до одной раскатившиеся по комнате нефритовые бусины и сложила их в чашу.

— Мы нанижем их заново, — сказала она и отправилась в ванную комнату.

Она набрала мне ванну и щедро плеснула туда своего любимого ароматического масла. Лежа в горячей, благоухающей лавандой воде и тупо наблюдая за тем, как на стенах собирается пар, превращаясь во влагу, я слушала разговор родителей. Это случилось нечаянно — я забыла до конца затворить дверь, а мама говорила очень громко:

— Я знала, что происходит, Джим. Видела вот этими вот глазами, моими собственными. И если бы ты не закопался в своем мире, то ты бы тоже это увидел. А может быть, ты все и видел, да только решил не обращать внимания, потому что тебя это устраивало. Тебе было удобно, что он всегда под рукой, всегда здесь. А он этим и воспользовался, Джим. Он завлек ее, а потом, когда

получил от тебя все, что нужно, бросил. Она даже не пошла на этот свой урок с… как ее… Маргарет Моррис. А ведь для нее это было так важно, что она наотрез отказалась ехать с нами в Цюрих. И выглядит она ужасно. Косоглазие вернулось, теперь-то уж это точно видно. Что за бесполезная, паршивая трата денег!

Ее слова на секунду зависли надо мной, а потом принялись так и этак кружиться у меня в голове. Затем я услышала голос баббо и постаралась выгнать из себя то, что сказала мама.

— Что же мне делать? — Его голос дрогнул.

— Что? А разве тебе и так не понятно? Конечно, я хочу, чтобы ты отказал ему от дома. Всем им. Потому что подбирать осколки приходится мне. Не тебе, Джим, а мне!

— Да-да, ты права, Нора. Я теперь же поговорю с ним по телефону.

— И не только с ним, Джим. Ты позвонишь им всем. Всем неженатым мужчинам, которые ходят сюда помогать тебе с твоей проклятой книгой!

— И даже набожному и честному Макгриви? Он же может мне помогать? Почему нет? Кто-то ведь должен это делать? Кто мне поможет?

— Мне на это ровным счетом наплевать, Джим. Может, твои поклонницы — мисс Бич, мисс

Уивер. Я больше не хочу, чтобы люди, которых интересуешь только ты, приносили горе моей семье. С меня хватило и миссис Флейшман, но она хотя бы выходит за Джорджо замуж. Но Лючия другая. Ей нужна наша защита, Джим. И как я сказала, подбирать осколки приходится мне.

Когда они замолчали, я вдруг поняла, насколько серьезно то, что сейчас произошло. Беккету откажут от дома. Я больше никогда его не увижу. И могу распрощаться с мечтами о любви, побеге и свободе.

Через неделю к нам зашла Стелла, на чай. Она хотела отвести меня в Лувр, посмотреть еще одну картину, но я пока была не готова никуда выходить и, кроме того, знала, что Беккет иногда бывает в Лувре, поэтому мы остались на Робьяк-сквер и долго разговаривали. Стелла видела Беккета и без обиняков сообщила мне, что он совершенно подавлен и опустошен. Баббо позвонил ему в «Эколь» и сказал, чтобы он никогда больше не переступал порог нашего дома. Она добавила, что Беккет просто обожествляет баббо, и без их ежедневных встреч он потерял смысл жизни. Она выложила мне все это прямо и откровенно, и я спросила себя, на чьей она стороне.

— Что ж, Стелла, — сказала я. — Теперь ты мо-

жешь забрать его себе.

Она встала, никак не ответив на мои слова, и подошла к окну. Как будто что-то вдруг привлекло ее внимание. А затем она заметила:

— Он возвращается в Дублин. Будет преподавать там.

На мгновение меня скрутила боль. И это сделала я? Я заставила его покинуть Францию? Невозможно вообразить Париж без Беккета. Без него все разваливалось, разламывалось на куски.

— Он ужасно выглядит. Очень похудел, и на лице выступила какая-то сыпь, — спокойно продолжила Стелла, как будто она уже произносила это вслух, возможно, репетировала свою речь по дороге сюда. — Он день и ночь трудится над своим Прустом. И пытается закончить перевод для твоего отца.

— Я думала, они больше не имеют никаких дел вместе, — бросила я.

— Он пообещал сделать это еще до того, как все случилось. Для него очень важно, чтобы твой отец хорошо о нем думал. Без этого он… пропадает. Их отношения были для него всем. — Стелла не отводила глаз от вида из окна — парижское небо, исполосованное красным, желтым и серым,

все цвета сливаются и тонут в ярком свете. Интересно, мелькнуло у меня в голове, она любуется этой картиной, как художник, или избегает моего взгляда?

— Зачем ты мне все это рассказываешь? — спросила я. — Ты, кажется, забыла, что он разбил мне сердце.

— Так ли уж необходимо разбивать в отместку его сердце? — Она повернулась и посмотрела прямо на меня. Ее лицо было жестким, губы сжались в твердую линию.

— Я с ним ничего такого не делала! Мой отец сердит на него. Он больше не хочет видеть Беккета. И это не моя вина! — с негодованием воскликнула я. Для чего Стелла все это говорит?

— Я пыталась тебя предупредить. Донести до тебя, что твой план не сработает. Но ты слушала только Киттен. Что Киттен может знать об ирландцах или об артистах?

— У Киттен полно поклонников, — возразила я. — Она знает о мужчинах все.

Стелла отвернулась обратно к окну и снова уставилась на закат.

— Есть еще кое-что, о чем ты должна знать. — Она помолчала, и я услышала, как она громко вздохнула. На секунду мне показалось, что она

хочет сказать это, глядя мне в глаза, но нет, Стелла продолжала разговаривать с окном. — У Беккета была любовница. Не сейчас, но весь прошлый год. Пока ты думала, что он смотрит только на тебя, он крутил роман с другой женщиной. Мне сказал Макгриви. Никто не знал об этом, кроме него.

У меня в голове так зашумело, что я всерьез испугалась, что оглохну. Слова Беккета, слова мамы, теперь еще и слова Стеллы — все смешалось, перепуталось, все жужжало, как потревоженный рой.

— Кто? — хрипло спросила я.

Стелла присела рядом со мной на диван. Еще раз глубоко вздохнула. И наконец призналась:

— Его кузина. Вот почему он то и дело ездил погостить у дяди с тетей в Германии. Мне жаль, Лючия, но я думаю, тебе все же следует об этом знать. Мистер Макгриви считает, что сейчас между ними уже все кончено, но он не знает наверняка, потому что Беккет никогда не поднимает эту тему. Мистер Макгриви говорит, она написала ему миллион писем, не меньше. Тогда он догадался, что дело здесь не просто в дружеских отношениях.

— Это не может быть правдой. Это неправда! Мистер Макгриви ошибся! — Я вдруг вспомнила

те письма под кроватью Беккета. Пачки писем, аккуратно перевязанные веревочками.

— Не думаю, Лючия, — очень мягко сказала Стелла.

Я закрыла голову руками и прикусила губу, чтобы не разрыдаться. К такому повороту событий я была совсем не готова. Как можно быть такой дурой! Я выставила себя на посмешище перед всем Парижем. Пока город сплетничал о нашей помолвке, Беккет был влюблен в свою кузину! Как же это случилось? И все же… И все же я до конца не верила, что ошибалась буквально во всем. Я не могла забыть нежную привязанность Беккета, то, как он смотрел на меня, прикасался ко мне, целовал меня. И его подарок — книгу Данте, и то, как его руки тянулись к моим, как только возникала возможность. Не могла забыть тяжесть его тела, его губы на моей шее, его дрожащий голос, когда он говорил, что я красива. Нет, меня обманули и предали, и я не позволю Стелле думать, что все было иначе.

— Мне плевать! Он подонок! Проклятый двуличный подонок! — закричала я. Передо мной стояло шокированное лицо Стеллы. Я услышала торопливое цоканье маминых каблуков — она спешила по коридору к гостиной.

— Я надеюсь, ты не накручиваешь себя снова, Лючия? — Мама внимательно оглядела мое лицо, левый глаз и скошенную радужку. — Тебе надо успокоиться. — Она повернулась к Стелле: — Как хорошо, что вы зашли, Стелла. Лючия никуда не выходила уже много дней. Так Париж совсем забудет, что она существует.

— Может, в самом деле куда-нибудь сходим на следующей неделе, Лючия? Если тебе не хочется в Лувр, пойдем в другое место. Возможно, посмотрим маленькие галереи, — неуверенно и осторожно предложила Стелла. Не спросит ли она сейчас, должна ли она это делать, потому что дала баббо обещание рассказать мне об истории изобразительного искусства, подумала я. Но прежде чем я что-то ответила, вмешалась мама:

— Да, Стелла, Лючия с удовольствием выберется с тобой из этой квартиры. Именно это ей сейчас и нужно. И еще ей надо с кем-то познакомиться. Завести новых друзей. Не писателей. Не ирландцев. Не умников. Просто нормальных друзей. Вот что я себе постоянно говорю. Ей нужны нормальные люди. Может быть, вы попросите Киттен? У нее много знакомых джентльменов.

Глава 17

Сентябрь 1930 года

Париж

Я проснулась, тяжело дыша. Во сне я сильно вспотела. Несколько секунд мне казалось, что я все еще стою на сцене. Я слышала громкие аплодисменты и чувствовала одновременно прилив восторга и облегчение, как это обычно бывало после выступления. Некоторое время я купалась в славе, как толстая ящерица в лучах солнца. Я широко улыбалась и делала реверансы, выискивая в темном море лиц, расстилавшемся передо мной, баббо, Джорджо и Беккета.

Лишь открыв глаза и увидев свет, неохотно пробивающийся сквозь ставни, я осознала, что лежу в своей постели, в спальне на Робьяк-сквер, что на сцене я не появлялась уже больше года и не танцевала уже несколько недель. И кислый запах, забивавший мне ноздри, напомнил, что Беккет ушел из моей жизни, Джорджо тоже ушел, а баббо настолько погрузился в книгу, над которой работал, что и его, в сущности, не было

рядом.

С тех пор как мы вернулись из летней поездки — мы побывали в Уэльсе, Лондоне, Дувре и Нормандии, — каждую ночь меня мучили чудные, искажающие действительность сны. Мне часто снилось, что я снова танцую. Две ночи назад мне привиделось, что я смотрю в зал и вижу Беккета, Киттен и Стеллу. Они стояли и хлопали изо всех сил. Но потом они вдруг превратились в странные проволочные фигуры с волосами из шерсти и злобными лицами, и я заметила, что ими движет мотор, которым управляет Сэнди за кулисами. Он нажал какую-то кнопку, и они начали плясать дикий, почти неприличный танец живота, и, пока они крутили бедрами, на их страшных лицах играли жуткие ухмылки. В другом сне я закончила танец под улюлюканье и свист аудитории. Изумленная, я замерла на сцене, но тут увидела, что Зельда Фицджеральд, сидевшая в первом ряду, вскочила с места, приложила ладони к губам и что-то кричит мне. Но гогот толпы заглушал ее слова, и только когда я взглянула вниз, я заметила, что стою у всех на виду совершенно голая. Я забыла надеть свой костюм! Сгорая со стыда, я убежала за кулисы, но вдруг наконец услышала пронзительный, визгливый голос миссис Фицд-

жеральд. Она вопила, что оба мои глаза косят и что все это видят, но при этом не упомянула, что я голая. Когда я проснулась, мое лицо было мокрым и я дрожала от унижения. Я не вылезала из кровати два часа, потому что боялась взглянуть на себя в зеркало. А вдруг все это правда?

Иногда мои сны были настолько неприятными и извращенными, что пробуждение приносило несказанное облегчение. Но порой — как сегодня — переход из сна в явь напоминал шаг из яркого солнечного тепла в ледяную тень. Я должна была придумывать поводы, чтобы встать с постели, вспоминать что-нибудь такое, ради чего стоило бы это сделать. Сегодня все было хорошо. Баббо будет позировать для портрета, Джорджо придет на чай. И еще придет Сэнди. Да, придет Сэнди.

После всего, что произошло с Беккетом, баббо стал с большей легкостью отпускать меня из дома. Полагаю, мама не желала, чтобы я целый вечер слонялась из угла в угол и путалась у нее под ногами, и, как я подозревала, оба они понимали, что я никогда не заведу друзей и не найду нового поклонника, если буду сидеть с ними и их друзьями-«льстецами» в «Фуке».

Как раз перед самым отъездом мне разрешили сходить в «Куполь» с Сэнди и его приятелями. Все

его друзья оказались богатыми американцами. Мы пили мятный джулеп, а когда стало совсем поздно, отправились в джазовый клуб и танцевали много часов подряд. Друзья Сэнди осыпали меня одобрительными возгласами и приставали ко мне с предложениями дать им частный урок танцев. Когда я предложила групповое занятие, они смеялись и отказывались, говоря, что оно непременно должно быть частным. При этом они подмигивали друг другу и толкались локтями. На следующее утро баббо подробно расспросил меня, что за люди эти приятели Сэнди, и по его лицу пробежала тень неудовольствия и осуждения. Он и мама обменялись непонятными взглядами, но оба промолчали.

Я не сказала им, что случилось по дороге домой — как Сэнди вдруг обхватил меня и впился в губы долгим и страстным поцелуем. И они не знали, что во время поездки я писала ему каждую неделю. Он помогал мне унять боль, причиненную Беккетом, хотя это и происходило очень медленно. Сэнди никогда бы не смог его заменить — да и никто бы не смог, — но он отвлекал и забавлял меня. Стелла рассказала, что у Беккета появилась подружка в Дублине, но больше я не узнала ни слова. Когда она говорила это, мне показалось,

что по щеке у нее скатилась слеза, но Стелла так быстро отвернулась, что я толком не смогла ничего разглядеть. И хотя я старалась не думать о нем, он незаметно, будто на цыпочках, все равно проникал в мои мысли. Киттен сказала, что, возможно, я буду любить его вечно, но что тем не менее мне следует не застревать на месте, а двигаться вперед и позволить себе влюбиться в кого-то другого.

Когда Сэнди явился на первый после лета урок рисования, я была возбуждена сверх меры, а мои нервы — почти на пределе. На нем были серые пумпы и ярко-красные чулки, а в руках он держал трость с ручкой из слоновой кости и свой чемодан с фигурками циркачей. Сэнди поставил трость и чемодан на пол и долго, улыбаясь, рассматривал меня, словно некое редкое и экзотическое создание, которое ему удалось поймать только благодаря своей ловкости. Я закрыла дверь, чтобы укрыться от любопытствующих глаз мамы, и, как только повернулась к ней спиной, Сэнди подхватил меня на руки и осыпал мое лицо поцелуями, говоря, как сильно он скучал по мне все это время. Через несколько секунд мы услышали чьи-то шаги и отпрянули друг от друга.

— Как насчет того, чтобы проводить уроки в

моей студии? — спросил Сэнди и поднял бровь.

Я представила себя и Сэнди наедине, каждую неделю, и дрожь пробежала у меня по спине. Никто не станет нас подслушивать или прерывать. А потом передо мной мелькнул образ Беккета… его руки, неловкие от виски, забираются мне под тунику. Какую сладкую боль вызвало это простое прикосновение к моему телу! Затем мои мысли неожиданно перепрыгнули к Эмилю и странному противодействию, почти отвращению, которые я ощутила, когда он шарил у меня под блузкой. Как давно все это было. Но как я изменилась! Теперь я наконец-то стала настоящей современной парижанкой, которая любит повеселиться и ничего не боится, — такой я мечтала быть всегда. Или не стала? Что, если мне понадобится бутылка виски перед тем, как заняться любовью с Сэнди? Нет. В этот раз я сделаю все правильно и дойду до конца, как сказала бы мама. Возможно, после этого я перестану любить Беккета.

— Как вы считаете, ваш папа позволит вам? — Сэнди вытащил из чемодана проволочную фигурку в пачке, сделанной из рогожи, с вытянутыми вперед руками.

Я заметила, что на ногах у нее пуанты. Я не успела ничего сказать — Сэнди протянул фигурку

мне:

— Я сделал это для вас, Лючия.

Я посмотрела на капризное маленькое личико танцовщицы и не могла не восхититься грацией и изяществом этой балерины, изготовленной всего лишь из куска проволоки и ненужного клочка ткани.

— Она идеальна, — прошептала я. — А подъем ее ступней… Как вы смогли добиться такого эффекта?

— Вы удивитесь, что можно сотворить из старой бесполезной проволоки, — хмыкнул Сэнди. — Однако я не могу вам ее отдать. Она будет участвовать в моем следующем представлении. Я собираюсь назвать ее «девушка, летающая по воздуху». Но она сделана в вашу честь.

Потом его лицо погрустнело, и он спросил, знаю ли я новость о Зельде Фицджеральд.

— Какую новость? — спросила я.

— Она попала в желтый дом, вот что я слышал. Сошла с ума! — Сэнди постучал пальцем по виску. — Да она и всегда была немного ненормальной. Скотт вне себя от горя, разумеется. Я подумал о том, что вы обе танцовщицы, и это напомнило мне о Зельде.

Я смотрела на девушку, летающую по возду-

ху, снова и снова поворачивая ее в пальцах. И вспомнила миссис Фицджеральд. Как она упорно карабкалась по ступенькам в тот день, ее яростную решимость быть балериной, несмотря на возраст, ее желание стать чем-то большим, нежели частью истории жизни ее мужа, ее преклонение перед «гением». Сошла с ума? Почему? Как?

— Ну же, приободритесь! Она вылечится и вернется! Давайте лучше не будем рисовать эту фигурку. Я найду вам кого-нибудь повеселее. — Сэнди осторожно забрал у меня девушку, летающую по воздуху, и взамен дал мне клоуна с шерстяными волосами, который играл на трубе. Он подвинул свой стул так близко к моему, что я почувствовала тепло его тела.

— Я надеюсь, вы хоть немного рисовали этим летом?

— Немного, да. Довольно часто шел дождь, — уклончиво ответила я. — Как миссис Фицджеральд сошла с ума?

— Возможно, это просто нервный срыв. Не думайте о ней. Могу я посмотреть ваш альбом с набросками? — Сэнди установил клоуна на столе, согнув его ноги из ершика для чистки труб так, чтобы тот не падал.

Я ничего не ответила. Сэнди взял карандаш и нетерпеливо потыкал им в груду моих альбомов.

— Вы черт его знает какой хороший художник, Лючия. Говорю вам честно. У вас настоящий талант.

— Мне нравится рисовать. — Я взглянула на крошечного клоуна в моей руке и пальцем погладила его шерстяные волосы. — Когда я рисую и полностью сосредоточиваюсь на этом, это напоминает мне танцы. Мама говорит, что рисование меня успокаивает. Она любит, когда я сижу спокойно. И терпеть не может, когда я танцую. Но смысл в том же самом. Когда я делаю наброски или пишу красками, дурные мысли уходят.

Сэнди закивал головой, но его взгляд был немного растерянным, словно он не вполне понимал, о чем я.

— Когда вы говорите, такая вот задумчивая и немного грустная, мне ужасно хочется вас поцеловать.

Его лицо вдруг оказалось рядом с моим. Я уронила клоуна, обвила его шею руками и прижалась к его рту с силой и неистовством, которые удивили меня саму. От Сэнди пахло паленой шерстью, масляными красками и скипидаром, его длинные усы щекотали мою кожу, и он обнимал меня

так крепко, что, казалось, сейчас треснут ребра. Передо мной возникли образы Беккета, Джорджо и Стеллы; они были будто выгравированы у меня на веках. Но я прижалась к Сэнди плотнее, впилась в его губы, и они растаяли. Я целовала и целовала его, вцепившись ему в волосы и притягивая к себе, словно мне хотелось, чтобы он меня проглотил.

Он оторвался от меня, и я услышала, как открывается дверь кухни. Мы тут же сделали вид, что пристально рассматриваем маленького клоуна. Вошел баббо, и я испустила вздох облегчения. Он был почти слеп и конечно же не мог ничего заметить. За его спиной стоял мужчина с густыми волосами, сильно тронутыми сединой, и пронзительными черными глазами.

— Это моя дочь, Лючия. У нее сейчас урок рисования с мистером Колдером, — сказал баббо и только потом повернулся к нам: — Позвольте представить вам мистера Огастэса Джона, который прибыл из Англии, чтобы написать мой портрет.

Сэнди вскочил со стула со сверкающими глазами и с воодушевлением потряс руку мистера Джона.

— Мистер Джон собирается перенести мое лицо

на бумагу в кабинете. Если придет Джорджо, попросите его не беспокоить нас до пяти часов.

Баббо сделал жест, пропуская мистера Джона вперед, тот кивнул нам, развернулся, и они оба вышли.

Сэнди все еще сиял, и я не могла сказать точно, был ли его восторг вызван нашим поцелуем или знакомством с известным художником. Он принялся расхаживать вокруг стола и спросил меня, не стоит ли ему пригласить мистера Джона на свое цирковое представление. Я осторожно заметила, что мистер Джон, возможно, слишком стар для «Цирка Колдера», но Сэнди расхохотался и возразил, что никто не может быть слишком стар для его цирка. А потом сказал, что не может со мной целоваться, пока здесь находится мистер Джон. Он никак не мог найти себе места и вообще сосредоточиться.

— Пойдемте сегодня в «Куполь», Лючия. Там будет целая толпа наших. И мы продолжим то, на чем остановились. — Он подмигнул мне, театрально прижал руку к груди и добавил: — Вы похитили мое сердце, маленькая негодница.

Но его слова пролетели мимо моих ушей, как ветер.

— Как начинается безумие, Сэнди? — Я опять

взяла клоуна в руку, потерла его полосатый комбинезон, покачала на ладони.

— Вы снова думаете о Зельде? Уверяю вас, она поправится. А теперь откройте альбом. Я не стану повторять.

Баббо протирал очки и жаловался на портрет, когда явился Джорджо, в новом бархатном жилете с серебряными пуговицами, украшенными гравировкой, и белоснежных гетрах. Я еще никогда не видела такой ослепительной белизны.

— Мистер Джон не слишком верно нарисовал нижнюю половину моего лица. Что мне делать, Джорджо?

— Не стоит себя так выдавать, Джим. — Мама принялась усердно взбивать диванную подушку.

— На мой взгляд, все выглядит прекрасно, отец. Что в действительности привело меня сюда сегодня, так это ваше свидетельство о браке. — Джорджо упал в кресло и вытянул перед собой длинные худые ноги. — Хелен хочет сделать с него копию, так что, если вы отыщете его и позволите взять на пару дней, мы будем крайне благодарны.

Мама побелела. Баббо опять снял очки и еще раз протер их. В комнате повисла тишина.

— Вам не нужно наше свидетельство о браке,

чтобы пожениться, — наконец сказала мама.

— О, это не для свадьбы. Как вы знаете, Хелен хочет как можно скорее родить ребенка. Сразу, как только мы поженимся. Она уже не так молода. — Джорджо провел рукой по свежеуложенным волосам, поправляя прическу, сцепил пальцы и стал ждать, что скажет мама.

Я тоже посмотрела на нее, полагая, что сейчас последует очередное ядовитое замечание насчет возраста миссис Флейшман. Но странным образом мама промолчала. Она была очень бледна, а ее губы сжались в нитку.

— Когда именно оно вам требуется? — Баббо продолжал с преувеличенным вниманием протирать очки.

— Полагаю, особенной спешки нет, — протянул Джордже — Но когда родится ребенок, она хочет, естественно, чтобы его фамилия была Джойс.

— Господи спаси нас и помилуй! — огрызнулась мама. — А почему бы ему не быть Джойсом? Какая у него еще может быть фамилия? Если отец ты, то он — Джойс!

— На самом деле все не так просто. Он будет Джойсом только в том случае, если я — Джойс. А я Джойс, только если вы состоите в законном браке. Да, мы все знаем, что вы женаты. Мы все

знаем, что я и Лючия — ваши законнорожденные дети. Мы бывали на всех ваших юбилеях, видели кольца, но закон признает лишь то, что написано на бумаге. Поэтому мне и нужно ваше свидетельство о браке. — Джорджо поковырял в зубах мизинцем, что-то вытащил, внимательно рассмотрел и снова заложил руки за голову, переплетя пальцы. — Я надеялся, что оно у вас где-то под рукой. Если вдруг оно потерялось, Хелен говорит, можно получить копию у того человека, который вас поженил. Но это, вероятно, займет некоторое время, а она хочет уладить все заранее. Эти еврейские женщины удивительно организованные.

Все снова замолчали. Было так тихо, что я слышала, как чирикает в клетке соседская канарейка, а где-то очень далеко гудит поезд. Мама присела на диван, прямая, как натянутая струна. Ее лицо, все еще бледное, неподвижное, лишенное всякого выражения, напоминало маску. Левая нога баббо чуть подрагивала. Он продолжал полировать линзы очков клочком оранжевого шелка, который всегда носил в чехле вместе с ними. Я попыталась поймать взгляд Джорджо, но он бесцельно смотрел в потолок.

— Думаю, здесь еще замешаны и разные наслед-

ственные дела, — добавил он. — Хелен знает всю подноготную. Богатые евреи — особенно богатые американские евреи — любят подготавливать все заблаговременно. Если нашему ребенку полагается что-то в наследство, это должно быть законно, то есть прописано в бумагах. Иначе он лишь маленький бастард без каких бы то ни было прав. — Джорджо хрипло рассмеялся.

Мама резко вздохнула.

— Достаточно, Джорджо, — твердо произнес баббо. Он аккуратно свернул клочок оранжевого шелка вчетверо, положил его в чехол для очков, а очки надел на нос. Затем он серьезно посмотрел на Джорджо и сказал, что отдаст ему свидетельство о браке в течение недели.

— Какая суматоха, подумать только! — Мама поднялась с дивана, подошла к баббо и встала рядом с ним. — Она ведь еще даже не ожидает ребенка. Может быть, у нее уже и не может быть детей, в ее-то возрасте. А ты заставляешь отца копаться в бумагах. И ради чего?!

— О, ребенок будет, можете не сомневаться. — Джорджо коротко и сухо хохотнул. — Она твердо намерена родить наследника Джойса. Маленького отпрыска гения, как она говорит. Она сделает для этого все, даже если ей придется посетить

каждого доктора на свете. А потом, у нее ведь уже есть ребенок, так что мы можем быть уверены, что она не бесплодна. Ну а я-то уж точно. Тут сомнений быть не может. Так что маленький Джойс обязательно появится на свет, это само собой разумеется.

Слова и тон Джорджо показались мне грубоватыми и отчего-то распутными. Он говорил как настоящий мужлан, и это неприятно меня поразило. Куда делся наш прежний Джорджо? Разве может один человек настолько полно и безоговорочно перевоплотиться в совершенно другого? Ведь это как сменить личность. Джорджо обернулся и увидел, что я наблюдаю за ним. На секунду мне показалось, что сейчас его глаза блеснут и мы обменяемся заговорщическими взглядами, как раньше, когда мы молча посмеивались над родителями или их гостями. Но его взгляд остался холодным и бесстрастным, и он быстро отвел глаза.

— Да, — подытожил он. — Ребенок родится, и он не будет бастардом.

Позже, вечером, пришел Сэнди, чтобы отвести меня в «Куполь», и принес мне маленький подарок, завернутый в папиросную бумагу, за то, как он сказал со смехом, что я была такой хорошей

ученицей. Я предположила, что это кто-то из его миниатюрных циркачей, может быть, даже девушка, летающая по воздуху. Но, взяв крошечный сверток в руки, я поняла, что ошибаюсь. Я быстро разорвала бумагу. Под ней оказалась брошь, сделанная целиком из проволоки, скрученной в простую спираль, с обыкновенной булавкой вместо застежки. Маме и баббо она бы точно не понравилась, это украшение было не из тех, которые они желали бы на мне видеть. И если честно, такую брошь я не выбрала бы и сама. Но мне нравилось, что Сэнди думал обо мне, пока трудился над проволокой с молоточком и паяльником в руках, и воображал, как я обрадуюсь, крутя тонкую металлическую нить в своих больших пальцах.

— Как красиво! — воскликнула я. — Я буду носить ее каждый день, чтобы брать с собой маленькую частичку вас, куда бы я ни шла.

— Позвольте мне. — Сэнди взял брошь и приложил ее к моему платью. — Где бы лучше всего ее приколоть? Рядом с шеей, я думаю. Мне нравится, как эта округлость контрастирует с вашей длинной шеей.

— Я могу надеть другое платье. Вы считаете, она будет смотреться более выгодно с горловиной другой формы?

— Нет, все идеально. — Он приколол брошь к вырезу платья, прямо под ямочкой у основания шеи. Потом отошел, полюбоваться мной.

Я вдруг почувствовала себя счастливой. За последние пять месяцев боль от отказа Беккета начала отступать, и я мысленно благодарила за это Сэнди. Его нахальные поцелуи, его желание, которое он не утруждался скрывать, его вера в меня — он восстановил то, что отнял Беккет. Когда мы шли по Монпарнасу и Сэнди страстно целовал меня, не заботясь о том, что на нас смотрят, унижение, что причинил мне Беккет, уходило. Передо мной снова забрезжило будущее — и все потому, что рядом был Сэнди.

И в конце концов я очень осторожно начала представлять себя миссис Александр Колдер. На это раз я знала, что все по-настоящему и не имеет никакого отношения к моему отцу. Сэнди восхищался баббо, но не интересовался ни им, ни его работами. Он приходил к нам только ради того, чтобы видеть *меня*, учить *меня*. Порой я вспоминала Беккета и горько усмехалась. Как я была ослеплена любовью! Как наивна! Но с Сэнди все было совсем не так. Беккет был сдержан, молчалив и держал свои мысли при себе. Сэнди громко говорил и ничего не скрывал. Его не вол-

новало, кто на нас смотрит, когда мы целуемся. А когда мы случайно сталкивались с его друзьями (которых у него было великое множество), он представлял меня так: «Лючия, свет моей жизни» — и сообщал им, что я — великий художник. И ни слова о моем отце. Сэнди знал, что произошло с Беккетом, почему отец отказал ему от дома. Рискнет ли он вызвать гнев баббо, если у него нет в отношении меня серьезных намерений?

Конечно, миссис Александр Колдер будет очень отличаться от изгнанной миссис Сэмюэль Беккет, и ее свадебный букет тоже будет совсем другим. Вместо нежных розовых бутонов — огненно-красные гладиолусы, вместо белой сирени — багровые хризантемы. И разумеется, придется столкнуться с препятствиями. Например, Америка. Если я перееду в Америку, это разобьет баббо сердце. Я вынуждена буду настоять на том, чтобы мы жили в Париже. Я воображала, как начну помогать Сэнди с «Цирком Колдера». Я ведь могу так много сделать! Например, чинить его фигурки и приспособления, если они сломаются, или заводить граммофон, или продавать билеты и разносить напитки.

Сэнди посмотрел на мою новую брошь, склонил голову вправо, потом влево, потом подошел ко

мне так близко, что я почувствовала на шее его дыхание.

— Как я выгляжу? — с тревогой спросила я.

— Возможно, мне придется на время забрать ее у вас. Я сейчас подумал, как было бы здорово, если бы она качалась на пружинках. Пройдитесь по комнате, Лючия. Ради меня. Как будто вы модель на показе мод.

Покачивая бедрами, я заскользила по комнате. Сэнди шел сбоку и смотрел одновременно на меня и на брошь. У него было оживленное, постоянно меняющееся лицо. Как не похоже на Беккета, мелькнуло у меня в голове. В эту секунду я вдруг вспомнила, как много месяцев назад инстинкт танцовщицы подсказал мне, что неподвижность и неподатливость Беккета, язык его тела что-то означают. За этим что-то кроется, подумала я тогда. Почему я не прислушалась к своему шестому чувству? Почему любовь заставляла меня закрывать глаза буквально на все? Я ведь еще тогда догадывалась, что он что-то недоговаривает.

Я остановилась и посмотрела на Сэнди. Глазами танцовщицы. Он двигался свободно и энергично, и это очень отличалось от скованности и неловкости Беккета. Каким деревянным казалось его тело, когда я пыталась научить его чарль-

стону, — до того, как мы приложились к виски. Я танцевала с Сэнди много раз — он делал это легко и непринужденно. И я поняла, что, если мы займемся любовью, это будет похоже на танец — необузданный, честный, с полной отдачей.

Сэнди не заметил моего внимательного взгляда. Его глаза сияли, и он так сильно кивал, что я побоялась, что голова сейчас отвалится, как у одной из его фигурок.

— Если я приделаю маленькие пружинки позади спирали, между ней и булавкой, она будет качаться, когда вы ходите. Она будет танцевать! — Он положил руки мне на плечи и отстегнул брошь. — Я знаю, это говорит о моих дурных манерах, но представьте только, насколько лучше она будет с пружинками! Танцующая брошь для моей танцующей девочки! — Сэнди замолчал, прищурил глаза и посмотрел на мои уши. — Серьги! — с восторгом воскликнул он.

Подумать только, какой энтузиазм. Я не могла не рассмеяться, хотя и знала, что мне придется вернуть «дар любви» уже через несколько минут после того, как я его получила.

— Вы собираетесь сделать мне серьги в пару? — спросила я.

— Им не потребуются пружины, не так ли? Они

будут раскачиваться сами по себе, от дуновения ветра, от каждого вашего движения. У вас будет и то и другое. Я добавлю к броши пружинки и сделаю серьги в форме спиралей. — Сэнди нежно потер мою мочку двумя пальцами. — Я прикидываю, какой вес смогут выдержать ваши ушки.

Я опять улыбнулась и погладила его локоть. Затем он взял мою руку — левую руку, — поднял ее, как будто взвешивая и оценивая размер и силу, и загадочно замолчал.

— Брошь, пара сережек и… сюрприз, — сказал он и неожиданно поцеловал меня.

— Сюрприз? — переспросила я. Я была так ошарашена, так переполнена радостью — от меня не укрылось то, что стояло за его словами, — что мой голос слегка охрип.

— Больше я ничего не скажу. Ни слова. Или это будет уже не сюрприз, не так ли? — Сэнди отпустил мою руку и сунул брошь в карман. — Идемте же, Лючия, свет моей жизни. «Куполь» ждет нас!

Внезапно мне очень захотелось танцевать, закружиться в пируэте, так чтобы волосы и юбка полетели за мной. Как быстро я избавляюсь от прошлого! Но Сэнди уже надел на свою крупную голову шляпу и направился к парадной двери.

— Не могу ли я показать брошь баббо?! —

крикнула я вслед. Я хотела, чтобы кто-то другой увидел, как сильно любит меня Сэнди. Как будто часть меня не верила своему счастью, и мне нужно было, чтобы кто-нибудь, кроме меня, взглянул на его подарок и подтвердил, что я правильно поняла его значение.

— Пока еще нет. Когда я закончу, вы сможете носить ее, и тогда все обратят на нее внимание. Обещаю вам!

Он схватил меня за руку, и мы вместе вышли из квартиры на Робьяк-сквер и двинулись вперед по рю де Гренель и далее к авеню Боске. В какой-то момент в моей голове, словно из ниоткуда, возникли слова Стеллы. Когда мы были в Лувре, она сказала, что Сэнди с кем-то помолвлен. Какое безумное предположение.

— Сэнди, — сказала я и продела затянутую в перчатку руку в кольцо его руки. — Стелла Стейн думает, что у вас есть невеста. Нареченная.

Больше я не успела вымолвить ни слова. Сэнди остановился прямо посреди улицы. Автомобили гудели в рожки, дребезжали телеги, нагруженные бутылками с вином. Он прижал меня к себе с такой силой, что я едва не задохнулась. А потом его губы впились в мои, теплые, влажные, настойчивые, его язык проник глубже…

— Вы сводите меня с ума, Лючия. — Он засунул мою руку обратно себе под локоть. — Вы уже спросили родителей, можно ли нам проводить уроки в моей студии… о, моя маленькая обворожительная девочка…

— Я обязательно спрошу. Обещаю.

От предвкушения я даже слегка подпрыгнула. Я ощутила себя освобожденной, как лодка, которую отвязали от берега. Выразив свои чувства ко мне так недвусмысленно, так ярко, Сэнди освободил меня. Воображение перенесло меня в студию Сэнди. Мы лежали на полу, обнаженные. Маленькие циркачи вокруг как будто подбадривали нас и кричали «браво!», пока мы катались по полу, пожирали друг друга, сливались воедино. Это было совсем не так, как с Эмилем или Беккетом. И как не права была Стелла с ее змеиным языком! Да, миссис Александр Колдер постепенно обретала контуры, росла, наполнялась плотью, как миниатюрные скульптуры Сэнди.

— Вы ни на кого не похожи, Лючия. — Сэнди вдруг расхохотался так громко, что я почувствовала, как сотрясается его тело. — Спросите их завтра. Обещаете?

Разумеется, мама и баббо не разрешили мне заниматься рисованием в студии Сэнди. И Сэнди

больше не упоминал об этом. Так что мы продолжили наши уроки в кухне на Робьяк-сквер.

Однажды, после долгого вечера в «Куполь», полного поцелуев в самых разных темных уголках, Сэнди прибыл на урок с большим опозданием. Он задыхался от волнения. Как выяснилось, он только что побывал в студии Пита Мондриана. Сэнди говорил так быстро, что я едва успевала его понимать. Слова сталкивались, переливались через край, перемешивались, а он все не мог остановиться, круг за кругом обходя кухонный стол. Он был слишком пьян от возбуждения, чтобы сесть.

— Его студия целиком белая. Почти никакой мебели, только самые необходимые вещи. И их он тоже перекрасил в белый. Никаких украшений. Единственный тюльпан в вазе… и угадайте? Да-да, верно, он и его выкрасил в белый! Только один предмет в студии не белого цвета — его граммофон. Но угадайте снова? Он покрасил его красным. Граммофон! Можете себе представить? — Сэнди на мгновение замолчал, чтобы набрать воздуха в легкие, и продолжил, размахивая руками как безумный и мотая головой от изумления: — Окна студии выходят на две противоположных стороны, так что свет проникает

туда и справа и слева, но к той стене, что между ними, он прикрепил огромные прямоугольники картона, выкрашенные в основные цвета. И он передвигает их в зависимости от настроения. Я никогда не видел ничего подобного!

— Он перекрасил тюльпан в белый? Почему же он просто не купил белый тюльпан? — Я потянулась, чтобы погладить его по руке, но Сэнди или не слышал моего вопроса, или не обратил на него внимания… хотя вопрос был довольно дерзкий. Он почти бегал по кухне, так что я даже не могла до него дотронуться.

— Мондриан верит только в цвет и линию — говорит, это самая чистая форма выражения, а все остальное не имеет значения. Но его прямоугольники подарили мне замечательную идею — вещи, зависшие в пространстве, разных форм и цветов. Некоторые движутся, некоторые нет. Я спросил, могу ли я немного поиграть с его прямоугольниками. Подвигать их туда-сюда. — Сэнди описал еще один круг, сжимая и разжимая кулаки.

— И что он ответил?

— Отказал. Наотрез. Сказал, что его работы и так имеют достаточную скорость. А его взгляды на цвет… О! Он использует только черный и

белый и иногда красный. Такая у него и студия — все белое, черная ваза и красный граммофон. Ни зеленого, ни розового, ни фиолетового. Он считает, что все эти цвета лишь сбивают с толку и все смазывают.

— Должно быть, он и одевается только в белое? Покрасил ли он волосы в один из основных цветов? — серьезным тоном спросила я, но Сэнди снова меня не услышал. Интересно, подумала я, а со мной ли он вообще разговаривает? И заметит ли, если я потихоньку выйду из кухни?

— Он все время говорил о концепции «как». То есть о сути. Все его работы посвящены «как», или сути расположения, сути объема, сути цвета. Черт подери, как же это вдохновляет!

Сэнди почти поднялся на цыпочки. Я нервно взглянула на открытое окно. Что, если он нечаянно вывалится? Ведь тогда он обязательно разобьется насмерть.

— Может, начнем урок? — предложила я и опять потянулась к его руке, желая про себя, чтобы он отошел от распахнутого окна подальше.

Сэнди с удивлением взглянул на свои карманные часы.

— Нет времени. Мне нужно вернуться в свою студию. Я хочу начать работать над своей идеей

уже сегодня днем. Может быть, встретимся в «Куполь» позже? Вечером?

Я кивнула и подумала, что неплохо бы подготовить пару умных вопросов о пространстве и объеме. На всякий случай.

— Как там моя брошь? И серьги? И сюрприз?! — крикнула я уже вслед Сэнди. Но ответа не услышала. Только топот его ног на лестнице.

Тем вечером в «Куполь» было еще оживленнее, чем обычно. Театралы, зашедшие сюда после спектакля, любопытствующие туристы и художники кучками толпились у бара. За столиками восседали вызывающе одетые завсегдатаи и сплетничали. Все окутывало густое облако голубоватого сигаретного дыма. Я быстро нашла Сэнди и нескольких человек из его «банды», как он называл своих приятелей, — Уолдо Пирса, окруженного целой группой девушек с подровненными по последней моде короткими волосами, Айви Трутман (безмятежно-спокойную и весьма привлекательную жену Уолдо) и Жоана Миро. И порадовалась, что прихватила с собой Стеллу для поддержки. В присутствии друзей Сэнди, самоуверенных и нагловатых, я порой слегка робела.

Сэнди принес нам всем по «Джин-физзу», и Уол-

до тут же начал приставать ко мне с вопросом, когда же состоится наш частный урок танцев. Девушки вокруг нашли эту шутку ужасно смешной и хихикали без перерыва, но Айви посоветовала мне не обращать ни на кого внимания. На ней было потрясающее платье из оранжевого шелка, расшитое бусинками, дополненное маленькой черной бархатной накидкой, небрежно наброшенной на плечи. Она курила сигареты через оранжевый мундштук и стряхивала пепел прямо на пол, хотя рядом с ней стояла пепельница. Я услужливо пододвинула ее поближе, так что пепельница оказалась прямо у бокала с шампанским, но Айви по-прежнему продолжала обсыпать пеплом паркет.

Сэнди был в состоянии говорить только о студии Пита Мондриана. Он повторил то, что уже рассказывал мне — о перекрашенном белом тюльпане и перекрашенном красном граммофоне, — всем, кто находился вокруг. В первый раз Уолдо и Миро, оба тоже художники, нашли все это очень интересным. Даже Стеллу удивили способности Мондриана к отделке помещений. Забавно, но никто не спросил, а почему в самом деле Мондриан просто не *купил* белый тюльпан, а у меня не хватило смелости задать этот вопрос

самой — я побоялась, что все сочтут меня глупышкой. Когда Сэнди принялся описывать свой день с Мондрианом во второй раз, друзья отказались его слушать, и он начал подходить к незнакомцам, чтобы поделиться впечатлениями о белой студии с ними. Когда стало скучно и им, Сэнди зажал в углу Гастона, добродушного главного бармена. Уолдо заказал нам по очередному «Джин-физзу», а потом шампанского, и еще шампанского.

Стелла сказала, что устала и хочет домой, и я по секрету рассказала ей, что Сэнди сделал мне брошь, а теперь работает над серьгами в пару к ней — серьгами, которые будут танцевать, когда я иду. Я пообещала надеть их на следующей неделе, чтобы показать ей. А потом я сообщила ей главную новость — Сэнди готовит мне сюрприз, и пошевелила пальцами левой руки. Она с изумлением взглянула на меня, словно я только что призналась, что совершила убийство.

— Угадай, какое украшение станет следующим? — У меня слегка заплетался язык; духота, стоявшая в баре, нежно обволакивала меня, окутывая дымом и шумом, и я чувствовала себя на редкость уютно.

— О чем ты говоришь, Лючия? Я тебя совершенно не понимаю.

— Сначала брошь. Потом серьги. А сейчас он хочет сделать что-то для моей левой руки. Разве это не очевидно, Стелла? У тебя есть глаза? И хоть капля соображения? — Я хихикнула. Некоторые люди так медленно понимают, что к чему.

— Он твой учитель рисования, — с сильным неодобрением выговорила Стелла.

— Не только учитель рисования. — Я обернулась и посмотрела на Сэнди.

Он стоял, опершись на барную стойку, с взъерошенными волосами, и бездумно потирал ямочку на подбородке. Какие у него широкие плечи… Мне захотелось подойти и провести ладонями по его спине. Погладить его. Но тут все начало кружиться и расплываться. Стелла бросила на меня разъяренный взгляд, вытащила из пальцев бокал, схватила меня за руку и рывком подняла с банкетки, где я так удобно устроилась.

— Мы идем домой. Сейчас же, — прошипела она. — Ты слишком много выпила. — Она потянула меня к выходу, и не успела я возразить, как мы оказались на улице, на тротуаре, и холодный осенний ветер играл нашими волосами.

— Он целует меня часами, и он сделает мне кольцо, и мы займемся любовью до свадьбы, как современные люди, — пролепетала я, стараясь

сохранить равновесие.

— Нужно, чтобы кто-нибудь проводил нас, — коротко бросила Стелла. — Подожди меня здесь. Я попрошу Уолдо.

— Нет, позови Сэнди. — Я чувствовала, что медленно покачиваюсь из стороны в сторону, а мои веки делаются все тяжелее и тяжелее.

Но, несмотря на мою просьбу, Стелла все же вернулась с Уолдо. Мы обе взяли его за руки и поплелись по бульвару Монпарнас. Уолдо, как всегда, изображал кричащего осла, а Стелла молчала, и у нее было абсолютно каменное лицо.

На следующем уроке Сэнди заявил мне, как он зол на нас со Стеллой за то, что мы «улизнули домой с Уолдо», и спросил, почему я не дождалась его. Я открыла рот, чтобы ответить, но он тут же сказал, как мечтал поцеловать меня по дороге домой. Он улыбался и смеялся, и я знала, что, в сущности, он совсем не сердится.

О студии Мондриана Сэнди больше не говорил, но сообщил, однако, что Мондриан приходил посмотреть на его цирк, и ему очень понравилось. Цирк Сэнди стал довольно знаменит среди художников, которые специально приезжали, некоторые даже издалека, чтобы попасть на представление. Всякий раз, когда он упоминал,

что в студии присутствовал кто-то известный, я ощущала необыкновенную гордость и представляла себя его ассистенткой. Вот я сижу на корточках на полу и слежу за граммофоном. Или собираю билеты у дверей. Но Сэнди вдруг выдал нечто, отчего я похолодела.

— Цирк Колдера, кажется, подошел к концу своего существования. Не знаю, как долго я еще смогу им заниматься.

— Нет! — вскричала я.

Сэнди удивленно взглянул на меня.

— Вы не можете его бросить, — произнесла я как можно тверже и убедительнее, пытаясь скрыть охватившую меня панику. — Каким же будет Париж без вашего цирка?

— О, Париж всегда останется Парижем. Но мне нравится ваша пылкость, Лючия.

Сэнди наклонился, как будто затем, чтобы посмотреть на мой рисунок, и вдруг, без всякого предупреждения, обхватил мое лицо своими огромными, запятнанными краской руками и поцеловал в губы, глубоко-глубоко. Его язык ощупывал мои зубы и десны, проникал дальше, встречался с моим… Я уронила альбом и обняла его за шею, чтобы прижать ближе к себе, но Сэнди так же неожиданно отстранился и вытер губы

рукавом.

— Дело в том, Лючия, что после встречи с Мондрианом у меня появились совершенно поразительные идеи. Цирк отнимает слишком много времени, и я не могу заниматься тем, что меня действительно влечет. Я хочу раздвинуть границы искусства скульптуры. Работать на гораздо более высоком уровне. Цирк был великолепной затеей, но мне нужно двигаться дальше.

Отказаться от образа миссис Александр Колдер, цирковой ассистентки, было нелегко. На некоторое время это поставило меня в тупик. Несколько последних ночей я только и думала о том, как буду расклеивать плакаты, продавать билеты, чинить маленьких циркачей, и мне требовалось как-то привыкнуть к тому, что всего этого не будет. Я растерялась. Что я буду делать в белом доме с перекрашенными тюльпанами и парящими в воздухе цветными прямоугольниками? Сэнди, должно быть, почувствовал мою тревогу, потому что странно на меня посмотрел, отодвинулся и нахмурился, отчего его брови слились в одну прямую линию.

— Может быть, сделать цирк больше? Более крупные фигурки, трапеции и прочее? Вы ведь любите моторы и механику. Почему бы вам не

заняться этим?

— Потому что теперь я хочу заниматься чем-то совершенно другим. Пока еще точно не знаю чем, но, если у меня не будет времени это обдумать, я так никогда и не узнаю. — Сэнди задумчиво сунул в рот большой палец, отвернулся и посмотрел в окно.

Когда его слова проникли вглубь моего сознания, я ощутила настоящий ужас, словно внутри меня шевельнулось что-то темное и желчное. Я попыталась проследить за взглядом Сэнди — поверх крытых черепицей крыш, поверх покривившихся труб, на Эйфелеву башню, — но все предметы отчего-то искривлялись и теряли контуры.

— А вы будете продолжать учить меня рисованию?

— Конечно, буду! Вы — моя любимая ученица, и прекрасно об этом осведомлены. Думаете, я целую других своих учеников? — Сэнди густо захохотал, и мое настроение сразу же изменилось.

Я сделала глубокий вдох, выдохнула, и моя тревога улеглась. Конечно же для миссис Александр Колдер всегда найдется роль, с цирком или без цирка, сказала себе я. И вдруг меня осенило вдохновение.

— А кто-нибудь может управлять цирком без вас? Он, разумеется, останется вашим цирком, но вам не нужно будет присутствовать на представлениях.

Сэнди с любопытством взглянул на меня.

— А что, вы знаете подходящего человека?

— Очень может быть, — ответила я, вернулась к альбому для набросков и сосредоточилась на рисунке. Покусывая губы и улыбаясь, я сочиняла заметку для газеты: «Миссис Александр Колдер взяла на себя управление легендарным парижским цирком миниатюр „Цирк Колдера“, дав возможность своему супругу, одному из самых выдающихся скульпторов современности, перейти на следующую ступень его творческой карьеры. Мы задали вопрос мистеру Колдеру, что он об этом думает, и он ответил, что подобная самоотверженность и преданность — редчайшая вещь для жены в наши времена и что он от всего сердца благодарен своей любимой супруге».

— Отличный набросок, Лючия. — Сэнди заглянул мне через плечо, поцеловал в шею и быстро куснул за ухо.

Я прижалась к нему и тихо улыбнулась своим мыслям.

* * *

Позже, показывая Киттен танцевальные движения, которым я научилась в школе миссис Моррис, я упомянула о своей блестящей идее.

— Но я полагала, что ты мечтаешь вернуться к танцам. Если ты в конце концов займешься этим цирком, где ты возьмешь время, чтобы танцевать? — Киттен стояла на одной ноге, с перекрещенными над головой руками.

— Я могу делать и то и другое. — Я поправила положение ее рук, чуть согнула кисти. — Сильнее раздвинь пальцы.

— Как бы там ни было, мне кажется, любому человеку, кроме Сэнди, будет очень трудно управляться с цирком. И сам он, его личность — большая часть этого цирка. Все эти рыки, и ржание, и прочие животные звуки, что он издает, его маленький смешной свисток. — Киттен приподнялась на мысок и посмотрела на меня сверху вниз. — Ты правда хочешь все это проделывать?

По ее лицу пробежала едва заметная тень неодобрения, как будто она думала, что это стыдно для меня — вопить, как обезьяна, или рычать, как лев, в присутствии многих людей. Разумеется, я буду выглядеть не самым элегантным и

не самым привлекательным образом. И потом, в том, что она сказала, была правда. Я не обладала огромным обаянием Сэнди, мне не хватало его раскованности и свободы или чего-то там еще — собственно, того, что и приносило его цирку такой успех. Я бы волновалась, краснела, стеснялась, у меня бы дрожал голос. Почему я не поняла этого раньше? Что заставило меня поверить, что я смогу заменить Сэнди? Хорошо, но ведь я все равно могу выйти за него замуж? Я все равно могу стать миссис Александр Колдер, но, возможно, представления «Цирка Колдера» и в самом деле придется прекратить. И в конце концов, я всегда смогу поддержать его в любом другом начинании — во всем, что он сочтет нужным. Ему непременно понадобится моя помощь с картинами и скульптурами. И конечно, у нас будут дети — целый выводок маленьких Колдеров.

— Теперь перемени ногу. Подними другую. Медленно. Подними и задержись в этой позиции. — Я сделала шаг назад и проверила, все ли правильно, улыбаясь при мысли о маленьких Колдерах.

— А ты уверена, что он из тех, кто женится? — спросила Киттен. Без сомнения, она вспомнила, что произошло между мной и Беккетом, а также мои рассказы о Сэнди, его оранжевом велосипеде

и «банде» его безумных друзей. — Я хочу сказать, он ведь ведет очень богемный образ жизни. Чему ты улыбаешься, Лючия?

— Так живут очень многие парижане. Я знаю, в нашей семье такое не принято, но все же. И потом, он же не собирается просить меня тоже ездить на оранжевом велосипеде.

Киттен засмеялась, дрогнула и потеряла равновесие.

— Надеюсь, что нет, дорогая! Полагаю, ты знаешь — Стелла твердо убеждена, что он уже помолвлен.

— О, разумеется, знаю. Возможно, она и теперь хочет, чтобы он принадлежал ей, как было с Беккетом. — Невольно я презрительно скривила губы. — Но в этот раз все по-другому. Он то и дело меня целует, и еще он подарил мне брошь, а сейчас делает серьги к ней в пару. И я думаю, вдобавок и кольцо для помолвки.

— Кольцо для помолвки? Ты уверена?

Я рассказала, как Сэнди измерил взглядом мою левую руку и пообещал мне сюрприз.

— Я видела, что он смотрит на безымянный палец, так что это не может быть браслет, верно?

Теперь опусти ногу. Руки обратно в пор де бра[21] … замечательно.

Киттен опустила руки и набрала в легкие воздуха, отчего ее плоский живот на мгновение чуть округлился.

— Какой он романтик. Можно посмотреть на брошь?

— Ты будешь первой, кто ее увидит, моя дражайшая Киттен. Но сейчас Сэнди переделывает ее — он хочет, чтобы она шевелилась, когда я иду. Это будет очень красиво. — Я удовлетворенно вздохнула. — Сделай еще один вдох. Миссис Моррис считает, что легкие, ступни и живот — самые важные части тела.

Киттен нахмурилась.

— Как брошь может шевелиться?

— Он прикрепит сзади пружинки. Сэнди одержим движением. Все должно шевелиться, вращаться и переворачиваться вверх ногами.

Киттен потрясла руками и ногами и засмеялась.

— Дорогая. Ну почему ты не можешь влюбиться в нормального, обычного мужчину? Такого, чтобы работал в конторе и копил деньги на ав-

---

[21] Примечания: 21
Пор де бра — правильное движение рук в основных позициях.

томобиль.

— Похоже на твоего нового поклонника. — Я сделала шаг в сторону, к дивану, один раз крутанулась и села.

Поклонник Киттен работал в финансовой конторе при заводе шин «Мишлен» и постоянно приносил ей розы и шоколадные конфеты.

Она размяла плечи и улыбнулась:

— Ричарда столько раз повышали в должности, что я уже потеряла счет.

— Баббо никогда не примет такого зятя. О чем они станут разговаривать? Баббо ведь не может говорить о шинах.

— Но ведь он женится на тебе, а не на твоем отце. Так что имеет ли значение, о чем они будут — или не будут — разговаривать? — Киттен одну за другой подняла бледные ступни и повертела ими.

Я с отчаянием посмотрела на нее. Как объяснить ей, что это такое — быть дочерью гения? Ей ни за что не понять, как разочаруется баббо, если я выйду замуж за клерка в скучном костюме и туфлях. Я покачала головой и промолчала. Мне не хотелось задевать ее чувства. Киттен — единственная подруга, что у меня осталась. Змею Стеллу я подругой больше не считала.

— А у тебя были еще вещие сны или озарения, Лючия?

Я коротко, сардонически рассмеялась:

— Что ж… с Беккетом они меня немного подвели, не так ли? С Сэнди это больше физические ощущения.

— Вероятно, тогда сила твоих чувств повлияла на ясновидческие способности. Как бы затуманила их. Я слышала, что медиумы могут работать только в определенных условиях. Например, вокруг должно быть очень тихо, или они должны пребывать в полном спокойствии духа.

— Если дело в этом, то Сэнди точно не просто затуманил, а утопил их. Когда он рядом, мне кажется, даже воздух вибрирует от его присутствия. — Вспомнив о нем, я почувствовала мгновенный прилив желания. Будто что-то сжалось внизу живота.

Киттен тоже подошла к дивану, села возле меня и взяла за руку.

— Я думаю, тебе нужно больше танцевать, Лючия. Ты была так счастлива, когда танцевала днями напролет. Почему ты не напишешь Мадике? Она ведь так хотела с тобой заниматься!

— Не могу. Мне слишком стыдно после этой неудачи с балетом. И родители вполне ясно да-

ли мне понять, что выступать на сцене — это неподходящее амплуа для дочери литературного гения.

— Тогда, может, затеем что-нибудь вдвоем? Сходим парой на прослушивание для звукового фильма. Или соберем еще одну труппу. Для меня сейчас тоже подходящее время. Подумаешь об этом?

— Сейчас я слишком занята, — отказалась я. — Вот-вот стану настоящей преподавательницей системы движений Маргарет Моррис. И еще у меня уроки рисования, и я все время помогаю маме и баббо, да и к тому же уже совсем скоро свадьба Джорджо. — К концу предложения мой голос становился все тише и тише. Мама все еще не разговаривала с миссис Флейшман, значит, скорее всего, на свадьбу меня не пригласят.

— Я просто… не уверена, что для тебя этого достаточно — учить движению. Мне не хочется, чтобы ты подумала, будто я недооцениваю миссис Моррис, но… это совсем не похоже на танцы, которыми мы занимались, ведь правда?

— Нет, потому что я не выступаю. — Я пыталась подбирать слова как можно тщательнее. — Но это облегчает жизнь очень многим людям. — Я помолчала, не зная, как лучше выразить мысль. — И

миссис Моррис очень меня вдохновляет. Ее система помогает беременным дамам, инвалидам, детям и спортсменам. Она крайне полезна. А я хочу приносить пользу, Киттен.

— Но ты все же подумай о моем предложении, хорошо? Начать вместе какое-нибудь дело, может, что-то творческое или просто нечто, что позволит нам взять наши судьбы в свои руки. Обещай, что подумаешь? — настаивала Киттен.

— Я обещаю, Киттен. — В сущности, мне нравилась эта идея, и я знала, что Сэнди возражать не будет. Он обожал смотреть, как я танцую. Один или два раза я застала его за тем, что он рисовал меня на салфетке в «Куполь», после того, как я практиковала перед ним новые прыжки или па. Но готова ли я снова выйти на сцену? Готова ли противостоять гневу мамы? Конечно, если бы я сначала вышла замуж… Если бы я стала миссис Александр Колдер…

Я сжала руку Киттен.

— Давай я сперва закончу обучение у Маргарет Моррис, и мы дождемся, когда пройдет свадьба Джордже Моя жизнь вскоре изменится, и очень сильно. Вот увидишь.

У баббо появился новый раб. Поль Леон, сбежавший из большевистской России, был свояком

Алекса Понизовского, который учил баббо русскому. После того как Беккету запретили показываться на Робьяк-сквер, в доме появился мистер Леон, и постепенно он стал здесь постоянным гостем. Как и все остальные.

Баббо он нравился, потому что его второе имя было Леопольд (как у главного героя «Улисса»), а его жену звали Люси — почти как меня. Люси Леон сумела впечатлить маму тем, что организовывала экскурсии по домам мод для американских туристов. Мистер Леон был готов ради баббо на все и квартиру на Робьяк-сквер считал святилищем своего божества. Кажется, это был самый «рабский» раб из всех, которые когда-либо служили баббо. Часто он проводил у нас целый день, печатал, читал, переводил, выполнял мелкие поручения баббо. Совсем недавно мистер Леон пришел с несколькими массивными, переплетенными в кожу томами, посвященными законам Италии, Франции и Англии. Лифт был, как обычно, сломан, так что, добравшись до нашей двери, мистер Леон дышал буквально как собака, разве что не высовывал язык, сгибаясь под тяжестью огромных книг.

Новые книги для чтения меня нисколько не удивили. Он то и дело читал что-нибудь со-

вершенно неожиданное. На прошлой неделе, например, он заставил мистера Леона обегать весь Париж в поисках книги с английскими детскими стишками. А когда мы были в Торки, баббо вдруг начал сходить с ума по журналам для девочек-школьниц и велел одному из «льстецов» достать ему подшивки «Альбом Поппи» и «Дневничок школьницы».

Только позднее, когда мистер Леон ушел, я задумалась, зачем баббо нужны сборники законов. Я сидела за фортепиано, любовалась черно-белыми клавишами и лениво думала, не захочет ли Сэнди перекрасить фортепиано в красный, и вдруг из кабинета до меня донеслись обрывки разговора между мамой и баббо. Они как раз обсуждали эти сборники законов, что было крайне странно, поскольку мама никогда не читала и не обсуждала с баббо его работу. Мелодичный голос баббо поднимался и опускался, и это тоже было непривычно, потому что он очень редко разговаривал на повышенных тонах.

Я напрягла слух. Баббо сказал, что нечто (я не разобрала, что именно) должно быть сделано согласно закону в Англии и что это нельзя сделать где-либо еще. Мама бросила, что все это — его вина, после чего наступила тишина. Я подалась

вперед, вытянула шею и снова прислушалась. Вдруг мама выдала такое, что почти ошарашило меня, — она сказала, что ее семья ни за что и никогда не будет с ней разговаривать. И в ее голосе звучали горечь и боль — как это отличалось от ее обычного тона! Тут баббо совсем понизил голос, и я ничего не услышала. Мама же, наоборот, ответила ему громко и сердито — она спросила, что делать с газетчиками. Баббо сказал, что он все уладит и все будет проделано законно и без всякого шума в Лондоне. Мама ядовито проговорила, что она очень, черт возьми, надеется на это, а затем скрипнула дверная ручка, и мама вылетела из кабинета в гостиную, где сидела я. Я быстро склонилась над клавишами и сыграла гамму. Она промаршировала мимо, громко дыша и раздувая ноздри.

Все это показалось мне очень загадочным, и я решила спросить совета у Сэнди. На следующий день был назначен урок рисования, и я ожидала, что он вернет мне брошь, а может быть, принесет и новые серьги. А может, даже и кольцо. О нем я старалась не думать, но все равно воображала, как оно может выглядеть. Вероятно, в нем тоже будет миниатюрная пружинка, и оно будет танцевать и сиять, совсем как я.

* * *

Сэнди прибыл ровно в десять, с тростью в одной руке и чемоданом в другой. Он сообщил, что сегодня я должна буду нарисовать весь цирк целиком, чтобы поупражняться в передаче перспективы. Открыв чемодан, он принялся расставлять на столе маленькие шесты, развешивать проволоку для трапеций, прикреплять канаты для канатоходцев и расстилать узкие красные ковровые дорожки. Пока он готовился, я рассказала ему о подслушанном накануне разговоре родителей и спросила, что он об этом думает. Сэнди так захохотал, что нечаянно опрокинул пару трапеций и вынужден был возиться с ними опять.

— Что в этом смешного? — нахмурилась я.

— Это же очевидно, — фыркнул Сэнди. — Вы так наивны, Лючия.

— Что вы хотите этим сказать? — Я отодвинулась назад и склонила голову, наблюдая, как Сэнди пытается установить трапецию.

— Простите меня, если это прозвучит слишком прямо или грубо, но ваш папа пишет книги, которые большинство людей считают грязными. Великолепными, но грязными. Даже более чем грязными или непристойными — похабными. —

Сэнди помолчал, закрепил, наконец, трапецию и повесил на нее девушку, летающую по воздуху. — Вам ведь это известно, Лючия, не так ли? Уж не хотите ли вы сказать, что не читали «Улисса»?

— Он величайший писатель двадцатого века! Все так говорят! — Я сняла с трапеции девушку, летающую по воздуху, и стала пристально ее рассматривать. Не нужно, чтобы мой голос был таким жестким. Не нужно, чтобы мои руки так сильно дрожали. Однако успокоиться мне не удалось.

— «Улисс» запрещен почти во всех странах мира. У нас в Америке его вообще сжигают на кострах. Там можно попасть в тюрьму за его продажу. Разве не поэтому все вы здесь, в Париже?

Я кивнула. Я знала, что баббо пытался опубликовать «Улисса» десятилетиями, но думать об этом мне не хотелось.

— Какое отношение это имеет к газетчикам и к людям, которые не пожелают разговаривать с моей матерью?

Сэнди снова расхохотался. Его большое тело сотрясалось.

— Следующая книга будет еще непристойнее. Он, наверное, пишет настоящую «бомбу» там у себя в кабинете. — Он перестал смеяться и

помолчал. — Самое забавное, что при этом он выглядит так респектабельно, и он такой тихий, и манеры у него прекрасные. И он всегда называет меня «мистер Колдер». Никак не могу соотнести одно с другим. Нет, не могу. Не сжимайте так девушку, летающую по воздуху. Вы переломите ее пополам.

Я моргнула и усилием воли попыталась остановить нервный тик, который вдруг напал на оба моих глаза. Правда состояла в том, что я понятия не имела, о чем идет речь в книге, над которой работал баббо. Что-то о «темной ночи души», о реках, об Ирландии. Те куски, которые баббо зачитывал вслух, были очень красивыми, какими-то петляющими и мелодичными. Но что они означали? Неужели я — муза чего-то грязного? Еще более непристойного и похабного, чем «Улисс»? Нет, это просто невозможно. И я твердо сказала Сэнди, что он не прав, что в книге, над которой работает баббо, нет ничего грязного.

Но в то же время объяснение Сэнди насчет публикации книги я сочла довольно логичным. В конце концов, для чего еще могут понадобиться сборники законов, поездка в Англию и газетчики? И все же — что, если книга, над которой работает баббо, настолько отвратительна, что

мы будем вынуждены покинуть Францию? Хотя почему тогда ее можно законно издать в Англии, но не во Франции? В этом не было никакого смысла. Совсем потерявшись, я тряхнула головой, положила перед собой бумагу и взяла в руки карандаш. Мысли тут же примчали меня к миссис Александр Колдер. Если мои родители переедут в Англию (а мама не раз открыто говорила, что Англия — ее любимая страна, а Лондон — любимый город), наверное, нам с Сэнди тоже нужно будет туда перебраться.

— Сэнди, вы уже закончили мою брошь?

— О, дьявол! Конечно, закончил, но я оставил ее в студии. Я принесу ее в следующий раз. Обещаю. — Он мимоходом поцеловал меня в висок.

— А… и… сережки? Которые будут раскачиваться, когда я хожу и танцую?

— Это… вещь, над которой я работаю! — Сэнди расхохотался, радуясь собственному остроумию.

А что же сюрприз, который он мне обещал? Мое кольцо-сюрприз? Я хотела спросить его об этом, но потом решила, что не стану. Иначе это будет несколько бесцеремонно. Даже грубовато. Во время урока Сэнди несколько раз поцеловал меня, но чувствовалось, что он немного отрешен. Возможно, его тоже обеспокоило, что моя семья

может уехать в Англию.

Когда я закончила рисунок и Сэнди похвалил мое восприятие перспективы и начал убирать все обратно в чемодан, он вдруг спросил, смогу ли я улизнуть из дому на всю ночь. Сказал, что хочет отвести меня потанцевать, а потом домой, к себе в студию.

— Ты будешь у меня первым, — прошептала я, низко нагнув голову и не отрывая глаз от рисунка. Жаркий розовый румянец залил мою шею, потом лицо — от стыда или от волнения, я не понимала.

— Так ты еще девственница? — Сэнди взял прядь моих волос и накрутил ее на палец. — Так ты сможешь уйти из дому? На всю ночь?

— Да. — Мое сердце бешено забилось. Кто же меня прикроет? Только Киттен. Одна лишь Киттен готова ради меня на вранье.

— Тогда составим план, когда я приду на следующей неделе. — Он отошел, захлопнул крышку чемодана, подхватил трость и элегантно взмахнул ею. — Ты можешь довести мужчину до того, что он забудет обо всем на свете, маленькая кокетка.

— А до этого мы увидеться не можем? — Я говорила спокойно, но внутри у меня все сжалось.

Целая неделя без него! Да, длинная, пустая неделя… но затем миссис Александр Колдер вновь возродится из пепла прошлого, словно феникс.

— На следующей неделе у нас будет полно времени, чтобы все продумать, моя маленькая ирландская девственница. — Он лукаво улыбнулся и подвигал бровями, вверх-вниз. Затем приподнял мой подбородок большим пальцем и поцеловал меня так лихорадочно и глубоко, что меня словно обожгло огнем, и кровь в сотни раз быстрее понеслась по жилам. Когда я наконец открыла глаза, он уже ушел. В воздухе еще витал его запах, его тепло и его энергия.

Всю следующую неделю я слонялась по квартире на Робьяк-сквер, тихо улыбаясь сама себе, чем безмерно раздражала маму. Лишь только баббо ничего не замечал. Его тоже переполняла радость: ему удалось залучить знаменитого дирижера, сэра Томаса Бичема, на один из сольных концертов Джона Салливана. Я не обращала внимания на его бесконечные причитания о «восхитительном теноре», потому что моя голова была переполнена собственными мыслями. Я снова и снова рисовала себе нашу ночь с Сэнди. Я приняла сотню решений — какие туфли, платье и украшения надеть, как уложить волосы, како-

го цвета должна быть губная помада, на какие местечки нанести духи и купить или не купить новое белье.

Однажды, пока родителей не было дома, я позвонила по телефону Киттен и сказала ей, что Сэнди предложил мне провести с ним ночь и я согласилась. Я так толком и не смогла понять, что она думает по этому поводу. Когда я попросила «прикрыть» меня, кажется, я почувствовала некоторое сопротивление, нежелание, но Киттен все же согласилась. Лишь после того, как я повесила трубку, я поняла, насколько это абсурдно — я, будучи двадцати трех лет от роду, вынуждена прибегать к подобному обману. Я могла бы назвать имена десятков девушек, которые то и дело бегали к врачам, которые избавляли их от нежелательной беременности. Но, конечно, никто из них не жил дома, со старомодными родителями-ирландцами, от которых невозможно было сбежать.

Наступил день урока. Я была так напряжена от предвкушения, что буквально не могла и минуты усидеть на месте. Я ходила по квартире, потом кружила по собственной спальне, часто останавливаясь перед зеркалом, чтобы проверить, все ли в порядке с прической, и лишний раз тро-

нуть помадой губы. Я несколько раз переменила серьги и ожерелье, прежде чем вспомнила, что Сэнди сам принесет мне украшения. Я сняла с себя все побрякушки — пусть он прицепит к моему платью дрожащую, трепещущую брошь и вденет в уши танцующие серьги. Я прижала губы к зеркалу и поцеловалась с ним, но стекло было твердым и холодным по сравнению с горячим, подвижным ртом Сэнди. Так что я описала еще пару кругов по квартире, проводя ладонью по васильках в вазе, проверяя, заведены ли часы, открывая ставни — посмотреть, не идет ли Сэнди по рю де Гренель. В конце концов мама решила, что не в силах больше выносить мои метания, и куда-то ушла. Мистер Леон и баббо сидели в кабинете. Я слышала стрекот пишущей машинки и звонкий, какой-то медоточивый голос баббо, диктующего текст.

Наконец часы отбили нужное время. Я собрала свои карандаши и альбомы для набросков и разложила их на кухонном столе. И чтобы немного занять себя и успокоиться, принялась рисовать мамин нож для масла с перламутровой ручкой. Но мои руки так дрожали, что ничего не получалось. Я прошлась по кухне, произнося одними губами: «Миссис Александр Колдер». Когда все это

мне надоело, я начала представлять себе грядущую ночь. Его большие руки, стягивающие с меня (новые) подвязки, а затем (новые, шелковые) чулки, его лицо, уткнувшееся в мою (надушенную) шею, то, как он проталкивает язык мне в рот и касается (два раза почищенных) зубов. Я сунула руки под блузку, погладила ребра, грудь, живот. Промокнула выступивший под мышками пот, провела языком по зубам и деснам, сказала себе, что мое тело просто создано для любви, и пожелала, чтобы он поторопился.

Через пятнадцать минут Сэнди все еще не было. Я вышла в коридор и стала ждать его там, расхаживая взад и вперед, посматривая то на часы, то на «счастливый» греческий флаг, и думая об улыбке Сэнди, о руках Сэнди, о дыхании Сэнди.

Прошло еще пятнадцать минут. Утомившись от тесноты душного коридора, я прошла в гостиную, раскрыла ставни и села за фортепиано. Мои трясущиеся пальцы несколько раз пробежали по клавишам, но тут из кабинета высунулась голова мистера Леона, и он очень вежливо спросил меня, не могла бы я заняться чем-нибудь потише. Я была слишком взволнована, чтобы указать ему, что уже давно минуло пять и шуметь мне теперь позволено. Вместо этого я покорно кивнула и

поплелась в кухню.

Время шло. Моя нервозность понемногу оставляла меня, поскольку становилось понятно, что Сэнди уже не придет. Ее сменило разочарование и ощущение разрушенных надежд. Двигаться мне не хотелось. Когда вошла мама с корзиной овощей, я сидела за кухонным столом, положив голову на нераскрытый альбом для набросков и обхватив ее руками, будто я хотела от чего-то укрыться.

Мама начала выкладывать из пакета грязный картофель.

— А что, мистер Колдер сегодня не приходил?

— Нет, — пробубнила я в стол.

— Может, заболел. Ты не звонила ему по телефону?

— У него нет телефона. — Я подняла голову, и мне стало немного легче. Конечно! Должно быть, он заболел! Он еще никогда, ни единого раза не пропускал урока.

— Почему бы тебе не дойти до этой его студии и не проверить, нужно ему чего или нет. Я только вчера услышала о каком-то бедняге, что умер от менингита прямо в своей комнате в отеле. И ни одна живая душа не заметила. Он пролежал мертвый три дня и уже начал гнить. Если пото-

ропишься, как раз успеешь в «Фуке». И немного свежего воздуха пойдет тебе на пользу.

Деревья уже начали стряхивать сухие листья, и в воздухе ощущалось ледяное дыхание осени. Я бежала по бульвару Монпарнас к студии Сэнди, воображая, что он лежит на кровати, пораженный менингитом. А может, он уже мертв и мыши устроили себе гнездо в его волосах. Один за другим зажигались фонари, отбрасывая на тротуары круги мягкого света. На каждом углу стояли торговцы с тележками и предлагали засахаренный миндаль, завернутый в бумажные фунтики, или жаровни, рядом с которыми старики насыпали желающим почерневшие жареные каштаны прямо на клочки газет. Я прибавила шагу. Передо мной мелькали образы Сэнди, умирающего, умоляющего дать ему хоть глоток воды, слабым голосом зовущего на помощь. Боже, что, если я опоздала?

К тому времени, как я добралась до студии Сэнди на Вилла Брюн, я совсем запыхалась и с меня градом катил пот. Я забарабанила в дверь, но никто не ответил. Затем я посмотрела на окна — на меня глазели пустые черные квадраты. Я продолжала стучать в дверь, пока из ближайшего окна не высунулась сморщенная старушечья голова.

— Arrêtez vous! Que voulez vous?[22] — крикнула она.

Я спросила, не видела ли она мужчину, что живет здесь, в студии, но она велела мне убираться и захлопнула ставни с такой силой, что на тротуар полетели хлопья краски.

Наверное, Сэнди забыл. Скорее всего, он спутал дни и придет завтра. Времени у меня было еще достаточно, и я решила проверить его любимые бары. Я вернулась на бульвар Монпарнас и по очереди обошла «Селект», «Дю Дом», «Ротонду» и «Куполь». Час стоял слишком ранний, и везде было тихо. Ни следа Сэнди. Я как раз выходила из «Куполь», когда меня окликнул Гастон, главный бармен. Он стоял за стойкой и полировал стаканы. Несколько раз он видел меня с Сэнди, поэтому я бледно улыбнулась и объяснила, что ищу месье Колдера.

Его глаза загорелись, и тут же в них показалось удивление.

— А, мадемуазель Джойс, месье Колдер был здесь прошлой ночью. Я никогда не видел, чтобы он так много пил. Никогда! — Гастон хлопнул рукой по бедру, чтобы подчеркнуть значимость

---

[22] Примечания: 22
Прекратите! Что вам нужно? *(фр.)*

своих слов. — Вы не могли прийти? Я не был так занят с того самого дня, как Паскин убил себя. Quelle tragédie![23] — Он сделал паузу и взял с полки другой стакан. Потом вопросительно взглянул на меня. — Вы были подругой месье Колдера? Нет?

Я растерянно уставилась на Гастона.

— Нет, я говорю об Александре Колдере, художнике. Вы видели меня вместе с ним много раз. Он часто носит оранжевый костюм, громко говорит, всегда смеется и руки у него постоянно в клею и краске.

— Да, конечно! Месье Колдер! — Гастон замолчал и опять бросил на меня загадочный взгляд поверх стакана. — Мы устроили ему отличную вечеринку. Очень жаль, что вы ее пропустили. Не знаю, как он сел на корабль сегодня. Должно быть, утром он чувствовал себя ужасно.

— Корабль? — тупо повторила я.

— Да. Он уехал домой, в Америку. О, какой человек-загадка! Никто не знал, что он помолвлен. Но его невеста вчера тоже была здесь. — Гастон увидел мое лицо и жестом предложил мне присесть. — Я думаю, вам нужно выпить, ма-

---

[23] Примечания: 23
Какая трагедия! *(фр.)*

демуазель Джойс. Хотите что-нибудь за счет заведения? Бренди?

Я таращилась на него, полуоткрыв рот. Мое тело вдруг ослабело и обмякло. В голове жужжали его слова. Сэнди помолвлен, он уехал домой, чтобы жениться. Но предполагалось, что мы с ним однажды… Нет! Это невозможно!

Я взяла у Гастона стакан и опрокинула его содержимое в рот. Бренди обожгло мне горло, как будто ужалила пчела. Поднимающаяся паника чуть отступила. Закружилась голова. Затошнило.

— Он был помолвлен и с вами, мадемуазель Джойс? — Гастон печально покачал головой. — Эти художники такие нехорошие люди. Извините, я простой бармен… Еще бренди?

Он снова наполнил мой стакан. Я пыталась осознать то, что он сказал. Миссис Александр Колдер действительно существует, но это *не я,* и Сэнди все время это знал, он устроил прощальную вечеринку для своих друзей, но не позвал меня. Не позвал меня! Не промолвил ни слова. Ни единого слова! Я опять проглотила бренди одним махом, и мои внутренности скорчились. На глазах выступили слезы, а в висках запульсировала боль.

— Кто она? — еле прошептала я, так что Гастон

был вынужден наклониться ко мне, чтобы расслышать.

— Какая-то американская леди. Никто ее не знал. — Гастон налил мне еще, снова покачал головой и сочувственно поцокал языком.

— Как она выглядит? — спросила я уже громче и медленно разжала пальцы, вцепившиеся в стакан.

— Она не такая красивая, как вы, мадемуазель Джойс. — Его добрые глаза обежали меня с головы до ног. В них читалась жалость и озабоченность. — Вы — настоящая ирландская красотка.

— Я спрашивала его, Гастон. Спрашивала, есть ли у него нареченная.

Я осушила стакан, наслаждаясь волной жара, пробежавшей по телу, и чувством легкости в голове, хотя в глазах щипало от слез. В сознании вдруг всплыли слова Стеллы. Они то выныривали на поверхность, то погружались в глубину, как обломки затонувшего корабля. «Он помолвлен с кем-то в Америке». А ведь я спросила его напрямую! А он ответил мне поцелуем, таким страстным, что я едва не лишилась чувств.

— Он сделал ей красивое кольцо. Сам сделал. Моей жене такое не понравилось бы, но все равно

оно было очень красивое. — Гастон в который раз с грустью покачал головой.

— Подонок! Мы собирались пожениться. Я не могу в это поверить!

А затем я вспомнила о броши. Сэнди так и не отдал мне брошь, которую подарил. Проклятый ублюдок! Я представила себе его американскую невесту, с нормальными, не косыми глазами и карманами, полными американских денег, расхаживающую в *моей* броши и *моих* серьгах. Я встала и, спотыкаясь, направилась к бару. Меня переполняли ярость и ненависть. Грохнула стаканом по мраморной стойке и потребовала еще бренди.

Гастон сощурил глаза и сказал, что, по его мнению, мне следует вернуться домой.

— Она носит *мои* украшения. Как ты не понимаешь, Гастон! И она забрала *моего* жениха! Он подонок, но он мой! — Туристы, ужинавшие за соседним столиком, оглянулись на меня, замерев с вилками в руках, так и не донеся их до рта. Зал начал вертеться. Пол качался, стены вращались, как будто земля сорвалась с оси. — Я миссис Александр Колдер! — громко и хрипло выкрикнула я, повернувшись к туристам.

— Я отвезу вас домой, мадемуазель Джойс.

Гастон подозвал одного из официантов, вышел из-за стойки и, твердо подхватив меня под руку, повел к двери. Другой рукой он поддерживал меня за поясницу, двигая, как куклу, и в то же время пытаясь удержать на ногах, и махал проезжающим таксомоторам. Я не сопротивлялась. Моя напускная храбрость и гнев испарились. Меня накрыла жалость к себе и чувство безмерной усталости и опустошения. Я тяжело повисла на Гастоне, желая только одного — чтобы эта боль в висках прекратилась.

— Мы любили друг друга, Гастон. — К горлу поднимался кислый, колючий комок. — Мы любили друг друга! Как он мог так со мной поступить?

— Я знаю, знаю. Вы должны забыть его, мадемуазель Джойс. Вы должны выбросить из головы мистера Александра Колдера.

К обочине подкатил таксомотор, и я услышала, как Гастон просит водителя отвезти нас на Робьяк-сквер.

— Откуда ты знаешь, где я живу? — заплетающимся языком пробормотала я и рухнула на заднее сиденье.

— Все знают, где живет великий месье Джеймс Джойс. А теперь дайте мне руку, мадемуазель Джойс, и держитесь за меня. Утром вам будет

намного лучше.

Я лежала на кожаном сиденье. Все колебалось, все качалось — деревья, здания, фонари, водитель. Меня сильно затошнило.

— Я оставлю вас у двери, мадемуазель Джойс, — сказал Гастон, когда мы подъехали к Робьяк-сквер. — Великий месье Джойс не должен подумать, что я напоил его дочь. — Он обнимал меня за плечи, надежно и крепко, и держал за руку.

— Не бросай меня, Гастон, — пробубнила я. — Если ты меня отпустишь, я упаду. Пожалуйста, не отпускай меня.

— Я не брошу вас, мадемуазель Джойс. Я доведу вас до квартиры, постучу в дверь и спрячусь. И подожду, пока ваши родители не откроют и не впустят вас. Вы не останетесь одна ни на секунду. Я вам обещаю. Если никто не откроет, я отвезу вас обратно в «Куполь». Обещаю.

Он сделал все в точности так, как сказал. Попросил водителя подождать и осторожно стащил меня с заднего сиденья. Лифт был, конечно, сломан, и мы с величайшим трудом поднялись на пятый этаж. Мои колени подгибались, я совсем не могла идти; Гастон подталкивал, поддерживал и увещевал меня. Наверху, у двери, он сложил меня, словно стопку белья, и устроил у двери.

Потом быстро постучал и сбежал вниз на один марш. Я полусидела-полулежала, кажется, целую вечность, аккуратно сложив руки вместе. А потом дверь отворилась, на пороге возник долговязый мистер Леон и уставился на меня. За ним маячила миссис Леон в ярко-розовой шляпке с пером. Я услышала, как мама зовет баббо:

— Боже милосердный! Джим, пойди-ка посмотри, что нам кошка принесла. Хотя вид не так чтобы очень красивый. Хвала Господу, что ты наполовину слеп.

Сквозь ее голос я слышала топот Гастона, сбегающего по лестнице. И думала обо всех, кто любил меня и оставил, и их прощальные шаги гремели у меня в ушах.

Я ничего не рассказала о Сэнди ни родителям, ни Джордже После того вечера с Гастоном я десять дней пролежала в постели, изображая болезнь. Баббо был полностью поглощен своими юридическими изысканиями (мистер Леон приносил все новые и новые сборники законов и справочники) и предстоящей операцией на глазах. За последние шесть месяцев он едва ли написал больше восьми страниц книги, над которой работал, и единственным, что его подбадривало, были оперные успехи Салливана. Мама думала только

о скорой свадьбе Джорджо и Хелен Флейшман и мечтала как-нибудь разрушить ее.

Валяясь в постели с «простудой», я без конца рыдала, всегда беззвучно, накрывшись одеялом. Иногда я вставала и подходила к зеркалу, и, если видела, что радужка снова сместилась, я возвращалась в кровать и рыдала еще сильнее. Я оплакивала молчаливое вранье Сэнди, его невыразимо жестокие лживые слова и обещания. А когда у меня не оставалось слез для Сэнди, я думала о Беккете, и рыдания начинались снова. Я плакала по всем моим мертворожденным надеждам и мечтам — о любви и привязанности, о свободе, о свадебных букетах, о маленьких домиках с пухлыми подушками, о садах, полных желтых нарциссов. Все было раздавлено, разбито, все разлетелось на тысячи мелких осколков. Но больше всего я оплакивала преждевременную смерть миссис Сэмюэль Беккет и миссис Александр Колдер.

Через десять дней я заставила себя встать с постели и отправиться на урок в школу Маргарет Моррис. Когда я скручивалась в спираль, вертелась, изгибалась, прыгала, складывалась в кольцо и кружилась, темнота, царившая внутри, боль и унижение постепенно отступали, прята-

лись в самые глубокие карманы моей памяти.

Тогда же я вспомнила о предложении Киттен — о том, что нам следует танцевать вместе. Или начать какое-нибудь общее дело. Что-то творческое. Как она это назвала? Нечто, что позволит нам взять наши судьбы в свои руки. Да, вот оно! Я позвоню Киттен. Я возьму свою судьбу в собственные руки — не в качестве чьей-то жены, а сама по себе — как мисс Лючия Джойс.

Однажды утром, вскоре после того, как я оправилась после «простуды», баббо сообщил, что получил письмо от мистера Колдера.

Я замерла, не закончив пируэта.

— Он приносит свои извинения. Говорит, что был вынужден вернуться домой по семейным обстоятельствам. Сожалеет, что больше не может быть твоим преподавателем.

Баббо протянул письмо мне, но я отмахнулась, сказав, что давно знала о планах Сэнди уехать в Америку. Мой голос при этом дрогнул, а ноги задрожали, но голова баббо была занята чем-то другим, и он ничего не заметил. Закрыв лицо огромной книгой, он спросил, не хочу ли я, чтобы мне наняли другого учителя. Я минуту подумала и ответила:

— Нет, спасибо.

— Мистер Колдер крайне высоко оценивает твои способности к рисованию. — Баббо бросил на меня взгляд поверх своего толстенного тома. Его глаза были затянуты молочной пленкой. — Я не могу забыть свою мечту — ты и я работаем вместе, mia bella bambina.

— Ты хочешь, чтобы я делала иллюстрации к твоим книгам вместо Стеллы? — спросила я и неслышно всхлипнула. Несомненно, Стелла знает об отъезде Сэнди и считает меня легковерной наивной дурой.

— Конечно, — спокойно произнес баббо, перелистывая пахнущие плесенью страницы. — Мисс Стейн больше не связана никакими обязательствами со мной.

В гостиную вошла мама, с новой шляпкой и подходящей к ней булавкой. Баббо рассказал ей, что мистер Колдер уехал и я не хочу другого учителя рисования. Она жестко посмотрела на меня, ее лицо стало злым и напряженным, и сказала, что не желает, чтобы я всю зиму слонялась по дому и мешала ей. Когда она плотно сжала накрашенные губы, мне вдруг представилось, что захлопнулся капкан. Внутри меня поднялся вихрь ярости. Я почувствовала, что где-то низко в горле закипают грубые, ужасные слова. Меня

затрясло от страшного, неконтролируемого гнева — то же самое я ощущала, когда обнаружила, что у Джорджо роман с миссис Флейшман.

Я крепко сцепила зубы и заставила себя двигаться и дышать. Глубоко дышать. Нужно продолжать танцевать! Маленькими тройными прыжками я обогнула диван, хотя ноги меня почти не слушались, а поднятые руки дрожали.

— Я продолжу рисовать. И заниматься в школе Маргарет Моррис. Так что мешать тебе я не буду.

Я подумала о Киттен и наших тайных планах, и моя ярость словно растворилась в воздухе, оставив после себя лишь тупую боль от письма Сэнди — низкий навязчивый комариный звон в ночи.

Я прикинула, не рассказать ли родителям, что Киттен и я собираемся работать вместе, танцевать, как в старые добрые времена. И возможно, если бы не было мамы, я бы так и поступила. Но ее холодные, настороженные глаза ослабляли мою волю, я боялась, что эмоции все же возьмут надо мной верх и этот жуткий дьявольский голос вырвется наружу. Этого я хотела меньше всего и потому промолчала.

— Тебе нужно больше друзей, вот что я скажу. — Мама оглядела шляпу и пронзила ее булавкой. — Почему ты не можешь быть такой, как Киттен?

У нее полно друзей-джентльменов. — Она покрутилась перед зеркалом, сдвинула шляпу набок и поправила поля. — Вечно у тебя эти прыжки и скачки. Говорят, миссис Моррис расхаживает по студии полуголая.

Баббо оставил письмо Сэнди на столе и быстро улизнул в кабинет, где его давно поджидал услужливый и покорный мистер Леон. Мама взяла письмо в руки, пробежала его глазами и сказала, что мистер Колдер ей никогда не нравился. Слишком «богемный», слишком «необузданный», водится с «неправильными людьми». Потом она уронила письмо обратно на стол и сообщила, что уходит на примерку нового пальто.

Я осталась в гостиной, наедине с письмом Сэнди, и из глаз тут же покатились слезы. Почему он написал не мне? Почему отправил такое сухое, официальное послание баббо? Разве я не заслужила даже объяснения или извинений? Мое тело согнулось от боли, но вместо того, чтобы упасть на диван или уползти обратно в кровать, я заставила себя подойти к телефонному аппарату, набрала номер оператора и попросила соединить меня с квартирой Киттен. А когда ответила ее мать и сказала, что Киттен нет дома, я, заглушая всхлипы, попросила передать Киттен, чтобы

она позвонила мне как только сможет, потому что мне нужно обсудить с ней неотложное дело. А потом я вытерла слезы, подавила рыдания и поклялась возродиться снова. На этот раз не как феникс, но как подснежник, зеленая стрела которого упорно пробивается сквозь мерзлую землю. Да, я возрожусь снова.

Ноябрь 1934 года

Кюснахт, Цюрих

— Два раза отвергнуты в течение одного года. — Доктор Юнг указательным пальцем поглаживает усы. — Должно быть, вам пришлось очень трудно, мисс Джойс.

— Беккет теперь тоже лечится психоанализом, доктор. Как и я. Прямо сейчас. Три раза в неделю, в Лондоне. Разве это не странное совпадение? Мы оба лечимся, делаем одно и то же в одно и то же время. — Всю неделю я думала о Беккете, и он снился мне каждую ночь. Обсуждает ли он меня со своим доктором, как я его? Думает ли обо мне, как я о нем? Мучают ли его сны обо мне, как меня? Может, это еще одно предзнаменование?

— Вы верите, что обладаете даром ясновидения — повлиял ли на него каким-либо образом

отъезд мистера Беккета? — Доктор Юнг встает и начинает, как обычно, кружить по кабинету. Большая синяя муха ползает по окну и сердито жужжит. — Не усомнились ли вы тогда в своих «силах Кассандры»?

— Может, Беккет все же моя судьба. — Я неуверенно замолкаю. И вдруг вспоминаю, что произошло вчера. Баббо снова напомнил мне о моих способностях видеть будущее. Я предложила ему начать курить трубку. Это более солидно, чем сигареты, больше подходит такому эрудированному человеку, как он, сказала я. После того как я вернулась в санаторий, баббо пошел в парк и присел на скамейку. А когда собрался уходить, то заметил, что рядом лежит трубка. Но я не могу рассказать об этом доктору Юнгу, потому что он не должен знать, что баббо все еще в Цюрихе. Нет, это наша маленькая тайна, моя и баббо.

— Насколько важны были танцы для состояния вашего разума в тот период?

— Танцы помогали мне говорить без слов. В то время я этого не осознавала, но они были моим спасательным кругом, доктор. — Я смотрю на окно. Муха продолжает биться о стекло с возрастающей радостью. Иногда на ее блестящее ярко-синее тельце падает луч света, и жужжание

становится громче и настойчивее.

— Я считаю, что вы очень творческая личность, мисс Джойс. И мне кажется, что эту часть своей натуры вы выражали через танец. Возможно, когда вы танцевали, ваша мать завидовала вам сильнее, чем обычно?

— Завидовала чему? У нее было все… красота, баббо, дети, жизнь, в которой были смысл и значение. С чего бы ей мне завидовать?

— Ваш отец говорил мне, что подозревал миссис Джойс в том, что она втайне завидует вам. Вы были молоды, талантливы, красивы. Умела ли она танцевать, или петь, или рисовать и играть на фортепиано? Была ли она музой для его новой книги? Скажите мне, мисс Джойс.

Муха загудела с особенным остервенением и, я бы даже сказала, с отчаянием. Я отворачиваюсь от доктора и рассматриваю окно. Муха запуталась в паучьей сети и безнадежно бьет тонкими крылышками, пытаясь выбраться. Липкие нити окружают ее со всех сторон.

— О, какое это имеет значение! Все, что я делаю, — это говорю, говорю, говорю без остановки. Почему вас не заботит физическая активность? Почему ваше так называемое лечение не подразумевает какого-либо движения или занятий

спортом? — Я встаю и приближаюсь к доктору Юнгу. Он отступает назад, и в выражении его глаз появляется настороженность. И все это время муха жужжит, жужжит и жужжит.

— Мисс Джойс. Мои ассистенты наблюдали за вами в течение нескольких недель, и они не видят причин, по которым вы не могли бы вернуться к нормальной жизни. — Доктор заходит за стол и жестом предлагает мне сесть в кресло. — Но чтобы психоанализ принес плоды, мы должны исследовать глубины вашего подсознания. Можете ли вы встретиться лицом к лицу с вашим подсознанием? Можете ли вы принять то, с чем столкнетесь? Это может потрясти вас. Шокировать. Вы готовы пройти сквозь тень долины смерти?

— Долину смерти? — словно эхо, повторяю я и быстро моргаю.

«Почему эта муха не перестанет жужжать? Я не могу сосредоточиться на словах доктора… жужжит, жужжит… в моей голове… голоса… жужжат…»

— Именно. Столкнуться с тайнами подсознания нелегко. Некоторые на это не способны. Но это необходимо, если мы хотим вернуть вас в мир. Мне нужно знать, достаточно ли у вас для этого

жизненных сил. Выносливости. — Он делает паузу и снова поглаживает усы.

«Почему муха не отвлекает его? Не сбивает с мысли?»

— И должно произойти кое-что еще, чтобы психоанализ сработал. Я считаю, что вы «застряли» в психике своего отца. Словно запутались в его сетях. Я неоднократно просил его оставить Цюрих, чтобы процессу трансформации, который крайне важен для того, чтобы мое лечение оказалось успешным, ничего не мешало.

— Но он уехал. — Я зажимаю уши руками, чтобы не слышать муху.

«Когда она прекратит жужжать? Моя голова едва не лопается от этого лихорадочного жужжания…»

— Не лгите мне, мисс Джойс. Он скрылся в отеле «Карлтон» в Цюрихе, и я не смогу продолжать лечить вас, пока вы оба ведете себя подобным образом. Я снова попросил его уехать. Если он и теперь этого не сделает, я буду вынужден отказаться от вас как от пациентки. — Доктор берет со стола свою толстую тетрадь для записей, подходит к окну и шлепает ею по стеклу. А затем тетрадью же стряхивает раздавленную муху на пол. — Это мое требование. Ваш отец должен

покинуть Цюрих.

По мне пробегает паническая дрожь. «Если баббо уедет из Цюриха, как я смогу его вдохновлять? Кто будет подавать ему идеи, в которых он так отчаянно нуждается? И кто будет навещать меня? Я буду сидеть под замком и без друзей — опять. Работа над его великим произведением застопорится — опять». Я обвожу глазами кабинет и вдруг замечаю на полу муху. Она раздавлена, но не до конца.

Одна лапка продолжает дергаться… дергаться…

— Вы и в самом деле femme inspiratrice[24] вашего отца. Его анима. Не могу этого отрицать.

— Анима?

Я не в силах оторвать взгляда от мухи на полу под окном. Почему у нее не перестает дергаться лапка? Почему доктор не убил ее по-настоящему? Сразу, без боли и страданий? Дергается… дергается… Когда она кончит дергаться?

— Внутри у каждого мужчины есть некий вечный образ женщины… он живет в подсознании, конечно, и всегда проецируется на женщину, которую он любит. Это и есть анима, и она служит

---

[24] Примечания: 24
Вдохновительница *(фр.)*.

мостиком к творческому началу, к бессознательному. — Доктор Юнг замолкает. — Вы меня слушаете, мисс Джойс?

Он подходит к окну, нагибается, берет муху за порванное крылышко и бросает ее в мусорную корзину за письменным столом. Потом тяжело опускается в кресло. Его колени довольно громко поскрипывают.

— Давайте поговорим о вашем отце.

Я, словно в тумане, смотрю на доктора Юнга, сидящего за столом. Он барабанит пальцами по тетради и наблюдает за мной, прищурив глаза.

— Нет, — отвечаю я. — Не баббо живет в долине смерти. Он — единственный человек, который меня понимает. И единственный, кому я верю.

Я соскальзываю с кресла и присаживаюсь на корточки, пытаясь заглянуть в корзину для бумаг. Ее лапка все еще дергается? Я должна знать, жива муха или мертва… Я ползу по полу, пока корзина не оказывается прямо у меня перед носом. Где же муха? Где она?

— А кто живет в долине смерти, Лючия? Кто в долине смерти вместе с вами? — Доктор Юнг свешивается с кресла, так что его лицо переворачивается вверх ногами, как у летучей мыши.

«Почему он называет меня Лючией? Где муха?

Где муха?»

— Кто вместе с вами в долине смерти? — настойчиво и резко повторяет он.

Я вижу муху в корзине. Ее расплющенное тельце неподвижно, лапки не дергаются. И яркая синева ее тельца кажется уже не такой яркой в тени корзины для бумаг. И тогда я вспоминаю, кто находится вместе со мной в долине смерти.

Доктор Юнг тоже слезает со своего кресла и садится рядом со мной. Огромная сгорбленная фигура. Под столом почти темно, как в коридоре в нашей старой квартире на Робьяк-сквер, как в кабинете баббо. Ставни закрыты, занавеси задернуты. Все эти квартиры, всегда темные, без единого луча света. От доктора пахнет соснами, мылом и трубочным табаком. Как приятно от него пахнет…

— Она мертва, — говорю я.

— Кто мертв?

— Муха. У нее больше не дергается лапка.

— Что случилось в долине смерти, Лючия?

Но уже слишком поздно. Я закрылась, ушла далеко-далеко, туда, где доктор не может меня достать. Где никто не может меня достать. Где никто не будет ковырять меня, чесать, отдирать, словно я — старая болячка. Нет, я не готова к тому,

чтобы из меня выпустили кровь и подожгли.

— Мисс Джойс! Мисс Джойс, вы меня слышите?

На все ложится тень, все расплывается. И тьма заполняет мою голову, как черный дым горящего дома. Слова не выходят из моего горла. Я ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не чувствую. Ничего не осталось… только запах сосновых иголок… какой приятный запах… какой чудный запах…

Глава 18

Март 1931 года

Париж и Лондон

— Я знаю, что ты не готова снова вернуться на сцену, дорогая. — Киттен прислонилась ко мне и дотронулась до моей руки. — Поэтому у меня появилась другая мысль. Куда лучше.

— Я вернусь на сцену, когда избавлюсь от косоглазия. Мне просто нужна еще одна операция, только и всего. Мама говорит, что теперь мой глаз выглядит еще хуже, чем раньше.

Мы сидели на скамейке в Люксембургском саду и любовались нарциссами и первыми зелеными листьями. Недавно прошел дождь, и теперь все казалось особенно чистым и блестящим.

— Я думаю, мы должны открыть свою собственную танцевальную школу, дорогая. — Киттен замолчала, взглянула на меня, и ее глаза были такими же яркими и сияющими, как мокрые листья на деревьях. — И придумать свою программу физических тренировок. Мы сами поставим все движения, все хореографические элементы. И

назовем это «системой Джойс — Нил». Что скажешь, Лючия?

Да! Конечно! Я вскочила со скамейки, отряхнула свое мокрое пальто и принялась расхаживать перед скамейкой, крутя открытым зонтиком.

— Мы начнем с того, что будем давать частные уроки.

А когда наберем достаточно учеников, откроем школу Джойс и Нил. Или Институт танца и физической культуры Джойс и Нил!

— Точно, дорогая! — Киттен тоже подпрыгнула и присоединилась ко мне.

Мы ходили туда и обратно по дорожке, и гравий поскрипывал у нас под ногами. Неуверенные, слабые лучи солнца пробились сквозь дымку и мягко осветили нарциссы и траву. В лужах отражалось бледно-голубое небо.

— Когда учеников станет много, мы сможем арендовать танцевальную студию. У меня столько идей для нашей «системы»! — Я на ходу крепко сжала ее руку. — Это будет смесь гимнастики, эвритмии и джазового танца. — Я поднялась на мыски и сделала пируэт, увлекая за собой Киттен.

— Мы можем использовать все свои знания! — Перевернувшись, она притянула меня к себе,

будто собралась увлечь в вальсе по Люксембургскому саду. — Балет, джаз, импровизацию — все, чему мы научились. Я уже начала составлять программу, и, думаю, если нам удастся закончить ее на следующей неделе или около того, мы сможем приступить к поиску учеников в мае. Как ты считаешь, дорогая?

— Нам понадобится визитная карточка! Что мы на ней напишем?

— Я думаю, «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». А под этим — «ЧАСТНЫЕ УРОКИ». А затем телефонный номер. А уроки мы будем проводить у меня дома.

Я крутанула зонтом, а потом подняла его вверх, как флаг победы. Россыпь мелких дождевых капель полетела с фестончатой оборки, я подняла голову и увидела бледную радугу, протянувшуюся дугой по всему небу.

— Я спрошу маму, можно ли написать на карточке наш номер телефона. Ведь у нас дома всегда кто-то есть. О, Киттен, я так рада!

— Представь, что будет, если наша система окажется действительно успешной? Мы будем управлять собственной школой танцев. Это будет просто божественно, не правда ли?

— Да, — согласилась я. Я уже думала о своей независимости и свободе. И в этот раз провала не

будет. Я твердо намеревалась сделать все, чтобы добиться успеха. Я стану мисс Лючией Джойс, основательницей Института танца и физической культуры Джойс — Нил. Не миссис Колдер, или миссис Беккет, или миссис Фернандес. Не чья-то муза. Просто я, я сама, собственной персоной. И я не допущу провала.

Следующие две недели мы с Киттен работали над нашей системой, придумывали разные последовательности движений, позиции для укрепления мышц и чувства равновесия. А когда программа показалась нам вполне удовлетворительной — да что там, мы обе были ужасно ею довольны, — я спросила маму, можем ли мы использовать номер телефона квартиры на Робьяк-сквер, чтобы принимать звонки, которые, несомненно, скоро начнут нам поступать.

Она сидела за кухонным столом, склонившись над клочком бумаги. Перед ней были расставлены все подарки миссис Флейшман за прошлый год: фарфоровый чайный сервиз, несколько шелковых шарфов, четыре граненых флакона духов и одиннадцать книг для баббо.

— Все эти штуки больше, чем двести фунтов, — самодовольно заметила она. — И это еще если не считать сигареты или вино.

— Что ты делаешь, мама?

— Подсчитываю, сколько стоят подарки вампирши. Тебе она тоже что-то дарила?

— Только ненужную ей одежду и вон тот шарф. — Я показала на шарф от Коко Шанель, который мама обернула вокруг фарфорового чайника.

— Что ж, думаю, если подарки будут поступать так же, я, может, и приду на свадьбу. — Мама потыкала воздух карандашом. — И тебе тоже разрешу пойти, Лючия.

Но мне не хотелось думать о неизбежной свадьбе Джордже, поэтому я лишь кивнула и спросила:

— Мама, можно я напишу телефонный номер нашей квартиры на наших визитных карточках? Пожалуйста!

— Каких еще визитных карточках? — Она еще раз оглядела подарки и смачно причмокнула губами.

— Мы с Киттен хотим давать частные уроки танцев, и нам понадобится номер телефона, по которому люди смогут с нами связаться.

— Так вот что вы двое задумали! А я-то гадала, к чему все эти шепотки и разговоры в спальне! Можешь дать наш номер, но непременно укажи

часы, когда звонить. У меня нет желания отвечать на звонки днем и ночью или записывать сообщения, когда Джим пытается работать. И что скажет твой отец об этой глупой затее?

— Я ему еще не рассказала. Он так занят со своими юридическими книгами.

Мама повертела на пальце обручальное кольцо и взглянула на меня.

— Да, лучше его не тревожить. Он опять начнет распевать песни о переплетном деле, только и всего.

— Я попрошу звонить нам только с двух до трех и буду сама сидеть этот час возле аппарата. Каждый день. Я обещаю.

— А как же твои танцы в школе Маргарет Моррис? Я не хочу, чтобы ты болталась тут целыми днями без дела и мешала мне.

— Я сказала им, что ухожу. Мне нужно сосредоточиться на нашей с Киттен работе. — Я незаметно стала пятиться к двери. Времени на болтовню у меня не было. Начиналась новая глава в моей жизни, и мне нужно было торопиться в печатную мастерскую, пока мама не передумала.

Четыре дня спустя принесли карточки. И как же элегантно они смотрелись! Небольшие прямоугольники плотного белого картона с нашими

именами, набранными черным шрифтом. Внизу был телефон квартиры на Робьяк-сквер и вежливая просьба звонить между двумя и тремя часами дня. И на ней было мое имя! Не миссис Александр Колдер, не миссис Сэмюэль Беккет, а Лючия Джойс, преподавательница танцев для частных лиц. Основательница Школы танцев Джойс — Нил. Я убрала коробку с карточками в свой гардероб — их было ровно двести штук, — но потом вспомнила о маме и баббо и сунула несколько в карман. Я подарю им по карточке и дам еще несколько, чтобы они передали их своим друзьям. Но прежде я позвоню по телефону Киттен и расскажу ей, какие у нас восхитительные, потрясающие визитные карточки!

— У них такой современный и модный вид, — выдохнула я в трубку. — Шрифт, что мы выбрали, великолепен! Подходит идеально. Когда ты сможешь прийти и взять часть себе? И когда мы начнем раздавать их людям?

— Я приду завтра утром, дорогая. И думаю, у нас уже есть первая ученица. — Киттен даже пискнула от волнения.

— Это прекрасно! Кто? — Я тесно прижала трубку к уху, чтобы не упустить ни слова. Передо мной, за окном, высилась Эйфелева башня. На

ней как раз начинали загораться огни, этаж за этажом, освещая парижское небо.

— Подруга моей матери. Она хочет научиться танцевать. Что ж, она обратилась в самое подходящее место! Система Джойс — Нил готова штурмом взять Париж!

Смех Киттен пронесся по телефонным проводам, и я тоже захохотала, словно она заразила меня весельем. Потом я сказала, что мне пора идти, и повесила трубку. Мне не терпелось сделать маму и баббо первыми официальными получателями наших чудесных визитных карточек.

Не успела я положить трубку на рычаг, как баббо позвал меня в столовую. Я мгновенно поняла: что-то произошло. Мама сидела за столом с вытянувшимся лицом и плотно сжатыми, как завязанный кошелек, губами. Ее руки были сложены на коленях, и она шумно сопела носом.

Баббо жестом велел мне сесть и прочистил горло. Мой взгляд перелетел от мамы к нему. Я опустила руку в карман и осторожно сжала тоненькую пачку карточек. Наступала новая глава *моей* жизни, и, что бы ни сказали родители, они не смогут ничего изменить.

— Лючия, я написал домовладельцу, что оставляю квартиру на Робьяк-сквер, — очень медленно

и четко произнес баббо.

— Но ты не можешь этого сделать, — еле слышно выдавила я. — Наши визитные карточки уже напечатаны, и на них указан телефон этой квартиры. Ты должен сказать об этом домовладельцу — немедленно. Смотри! — Я вытащила из кармана карточки и дала одну маме и одну баббо.

Он посмотрел на нее и нахмурился.

— Что ж… ну… они тебе не понадобятся, — сухо заметила мама и вернула мне карточку. Она с особенным значением посмотрела на баббо, и я увидела, как движутся его губы и дрожат темные мешочки под глазами.

— Что т-ты… имеешь в виду? — заикаясь, выговорила я и обвела родителей диким взглядом.

— Нам нужно на некоторое время уехать. Всем троим. Мы проведем лето в Лондоне. — Баббо замолчал и беспомощно посмотрел на маму, но она упорно уставилась в стол, отказываясь встречаться с ним глазами.

— Но я не хочу ехать в Лондон. Я хочу остаться здесь, на Робьяк-сквер! — По мере того как слова баббо доходили до моего сознания, я говорила все громче и громче. — Мои ученики будут звонить сюда! Это единственное место, где мы прожили дольше, чем несколько месяцев! Я никуда не еду!

— Боюсь, ты вынуждена поехать. Я и твоя мать едем в Лондон, потому что это необходимо, и ты едешь тоже. — Баббо тяжело вздохнул и закрыл глаза.

— А я вам говорю, что никуда к черту не поеду! — Я грохнула кулаком по столу. — Я останусь с Киттен, или миссис Флейшман, или с любыми из твоих подобострастных рабов — с кем угодно, кто согласится меня приютить.

— Лючия! Не смей говорить так с отцом! — Глаза мамы напоминали гранит. Но потом она повернулась к баббо и сказала: — Это все твоя вина, Джим. Таскать нас по всей Европе, так и не завести своего угла. Чего теперь еще ожидать?

— А что Джорджо? Он тоже едет?

— Он будет жить с миссис Флейшман, ведь они все равно что уже женаты. Нужны только мы, так ведь, Джим?

Я в изумлении посмотрела на баббо. Его глаза были закрыты, но адамово яблоко дергалось, а руки, унизанные перстнями, постоянно двигались, словно не могли успокоиться.

— Вы чего-то недоговариваете, — с подозрением протянула я. — Зачем мы должны ехать в Лондон? Это как-то связано с твоей новой книгой? — Я вспомнила слова Сэнди об отце и его

«грязных» книгах и взглянула на него с нескрываемым отвращением.

— Нет-нет. Дело совершенно не в этом. — Он открыл свои молочного оттенка, налитые кровью глаза и бросил на маму умоляющий взгляд.

Мама прищелкнула языком и потерла ладонью лоб.

— Мы должны поехать в Лондон, чтобы пожениться. Вот. Я это сказала. Это связано с законом, и только.

Я застыла на месте, не в силах пошевелиться, пока мой мозг медленно впитывал ее слова. Что за бессмыслицу они оба несут? Может, они разом сошли с ума?

— Вы, кажется, не понимаете. — Я решила сделать еще одну попытку. — Мои ученики будут звонить сюда. Сюда! Я открываю школу танцев. Киттен и я разработали целую программу. Мы занимались этим весь последний месяц и потратили на визитные карточки все наши сбережения. Я не могу никуда ехать. И в любом случае вы уже женаты, так что не говорите глупостей.

— Мы женаты… не как следует, — резко возразила мама. — Я не знаю, почему ты молчишь, Джим, а все разговоры и объяснения достаются мне. — Она оглядела белое лицо баббо и покачала

головой, с негодованием приподняв брови.

— Твоя мать и я должны пожениться. В Лондоне. — Баббо вынул из кармана сигарету, сжал ее губами, прикурил и глубоко затянулся.

Ничего не понимая, я посмотрела на левую руку мамы. На четвертом пальце тускло поблескивало золотое обручальное кольцо. Перед моим внутренним взором пронеслись все годовщины их свадьбы, которые мы праздновали. Каждое восьмое октября. Особенно ярко мне припомнился их двадцатипятилетний юбилей и роскошная вечеринка, которую устроила мисс Бич по этому поводу. Мама тогда купила мне платье горохово-зеленого оттенка, и я надела к нему довольно смелый фиолетовый тюрбан и накидку, одолженную у Киттен.

— Что это значит «женаты *не как следует*»? Зачем вам жениться *еще раз?* Почему мы должны уехать? Я ничего не понимаю. — Я скрестила руки на груди и недоуменно нахмурилась.

Баббо затянулся сигаретой и снова жалобно посмотрел на маму. Но она лишь покачала головой и плотнее сжала губы.

— Вы поженились восьмого октября тысяча девятьсот четвертого года. Всем это известно. И мы всегда отмечаем эту дату. Вы — мистер и миссис

Джойс. И мама носит обручальное кольцо.

— Все не так просто, — выговорил баббо и замолчал. Цилиндрик пепла упал на его жилет с цветочным рисунком.

— Ох, да скажи ей уже прямо, Джим, или мы будем сидеть тут весь день. Просто скажи! — раздраженно воскликнула мама.

— Ты и Джорджо — незаконнорожденные. И нужно, чтобы вы стали нашими законными детьми, чтобы дети Джорджо и Хелен могли по праву носить фамилию Джойс. — Баббо устало затушил сигарету и наконец повернулся ко мне: — Восьмое октября — это день, когда мы с твоей матерью сбежали из Дублина.

Я смотрела в его бледное лицо, пытаясь осознать всю важность сказанного. Шок, ужас и нежелание верить — эти чувства вертелись, сталкивались и никак не желали укладываться в голове.

— Значит, я ублюдок? Это так? — Я закрыла лицо руками. Какое унижение, какой стыд, какая грязь! Я — никто, просто ублюдок. А они врали и врали. Все время врали. Врали годами.

— Мы обязаны пожениться в Лондоне, чтобы стать гражданами Британии и сделать вас законнорожденными. А чтобы получить британское

подданство, мы должны сделать вид, что собираемся там остаться. Так что я снял квартиру в Лондоне на пять месяцев. После этого мы сможем вернуться обратно в Париж. — Баббо закурил еще одну сигарету. Когда он зажигал спичку, его пальцы дрожали.

— Стало быть, я не Лючия Джойс? — Я с яростью посмотрела на него. — Я Лючия Барнакл, не так ли? Обыкновенный ублюдок Барнакл!

Баббо закрыл глаза.

— Ты станешь Лючией Джойс, как только мы поженимся.

— И вы врали всем столько лет! Что же мы, к чертовой матери, праздновали, если мы — ублюдки? — Я уже кричала, и из моего рта вылетали капельки слюны. — И как насчет всего этого дерьма — дескать, сначала свадьба, а потом все пакости? Ср… ирландские обычаи!

— Боже милостивый! Успокойся, Лючия. Это не конец света. Мы просто ненадолго уедем в Лондон. — Мама встала и отодвинула стул. — Мне-то все равно придется хуже всех. Моя собственная мать не будет со мной разговаривать до конца своих дней. Что уж говорить об остальной моей ирландской родне.

— Что? — почти провизжала я. — Вы разру-

шили мою мечту! Я хотела основать свое дело с Киттен! Вы сказали мне, что я — ублюдок! Ничуть не лучше, чем нежеланное шлюхино отродье! Я узнала, что вы врали мне — каждому человеку на свете — всю мою жизнь! Вы лишаете меня единственного места, которое я считала домом! И ты говоришь, что это не конец света? Что тебе придется хуже? Может, для тебя это и не конец света, но для меня это чертов конец всего! Мой мир разрушен! — Я вытащила из кармана визитные карточки и швырнула их в нее. И оттолкнула свой стул с такой силой, что он полетел на пол. Я ударила его ногой и рванула мимо мамы, оттолкнув ее с дороги, так что она потеряла равновесие и чуть не упала.

На пороге я остановилась и посмотрела на баббо. С его лица совсем сбежала краска, и он выглядел совершенно больным. На секунду я замерла. Но тут же вспомнила, что все это — его вина, что он и мама разрушили мою жизнь.

— Не волнуйтесь за меня! — крикнула я, открыв дверь. —

Я всего лишь жалкий ублюдок!

Я захлопнула дверь со всей силой, на которую была способна, и побежала в свою спальню. Там я вынула из гардероба коробку с карточками,

открыла окно и выбросила их. Они посыпались на землю, кружась и порхая, словно слишком большие конфетти. Прохожий в цилиндре поднял голову и с любопытством взглянул вверх.

— Не волнуйтесь за меня — я всего лишь ублюдок! — прокричала я ему сквозь рыдания. Мужчина быстро отвел глаза, ускорил шаги и скрылся за углом. — Ублюдок, и ничего больше! — Мой голос разнесся над кривыми крышами Парижа, и ветер подхватил мои слова.

Когда мое сердце перестало колотиться, а ярость улеглась, я забралась в постель, с головой накрылась одеялом и безутешно заплакала. Я не стала миссис Сэмюэль Беккет. Я не стала миссис Александр Колдер. А теперь я даже не мисс Лючия Джойс. Я ублюдок Барнакл, лишенный всех прав и ограбленный.

Мне вспомнились все лживые слова, которые говорили мне люди, которых я любила. И которые, как я думала, любили меня. Сколько вранья, сколько обмана. Джорджо лгал мне. Беккет лгал мне. Сэнди лгал мне. И мои собственные родители лгали мне — всю мою жизнь. Я плакала, плакала горько, навзрыд и думала, что слезы никогда не кончатся.

Позже, намного позже, я услышала, как мама

заворачивает и укладывает фарфор, а баббо снимает со стен фамильные портреты. И поняла, что все по-настоящему. Мы едем в Лондон.

Глава 19

Май 1931 года

Лондон

— Но ты обещал, что никто ничего не узнает, Джим! Ты обещал! — Мама раздвинула грязные кружевные занавески и посмотрела на целую очередь газетных репортеров, выстроившихся внизу. Некоторые принесли с собой одеяла и маленькие подушки, как будто собирались разбить лагерь у наших дверей. Она принялась расхаживать по крошечной, дурно пахнущей гостиной в квартире на Кэмден-Гроув, в Кенсингтоне. При этом она то и дело заламывала руки, а ее глаза делались странно блестящими, как будто она вот-вот заплачет. Однако она не заплакала.

Дверной звонок не умолкал весь день. Первый газетчик появился уже через два часа после того, как баббо подал заявку на разрешение на брак (он сделал это за двадцать четыре часа до свадьбы, в наивной попытке сохранить тайну). Затем они стали приходить один за другим, без конца звонить в дверь, кричать сквозь щель в почтовом

ящике, бросать в окно мелкие камушки. В конце концов, когда мы решили, что они убрались на ночь, баббо настоял на том, чтобы мы вышли поужинать — втроем. Однако вернувшись в полночь, мы обнаружили еще одного репортера. Он сидел на ступеньках, прикрыв подтянутые к груди колени одеялом. Мы быстро обошли его и скрылись внутри, а вслед нам посыпался град вопросов.

— Что нам делать, Джим? — простонала мама. — Завтра это будет во всех газетах: Нора Барнакл, сорока семи лет, мать двоих ублюдков, наконец-то выходит замуж!

— Ублюдок — это я. И это я буду во всех газетах. Ублюдок Джойсов. А потом мне придется отправиться в какую-то художественную школу и сидеть в комнате, полной людей, которых я не знаю, а они станут показывать на меня пальцами и ухмыляться. Это намного хуже. А главное, я в этом не виновата! Я ничем такого не заслужила!

— Нам нужно поспать. — Баббо потеребил ухо. У него было отстраненное, непроницаемое лицо.

— Как, ради всех святых, мы будем спать, когда вокруг нас все эти газетчики? И в спальне плесень на стенах. Не так проводят ночь перед свадьбой, нет, не так! Не стоило мне с тобой сбе-

гать. Глупая, безмозглая дура — вот кто я была. Пусть это послужит тебе уроком, Лючия. Даже не дотрагивайся до мужчины, пока он не наденет тебе на палец кольцо. Все они скользкие мерзавцы. Все до одного!

— Вы ведь знаете, что я не пойду на свадьбу, не так ли? — Я внимательно всмотрелась в лица родителей, надеясь, что они не заставят меня пройти еще и через это. Сколько раз они настаивали на том, чтобы я делала то, чего не хотела!

— Конечно нет, Лючия, — мягко сказал баббо. — Пройдись по магазинам. Купи себе что-нибудь. Это все пустяки. Пара строк в одной-двух сальных газетенках, и ничего больше.

— О, так ты думаешь, да? Пара строк в двух сальных газетенках! Ну, надеюсь я, что ты прав. Мы вроде как не знаменитые актеры или еще чего в этом роде. Хотя ты, Джим, ты-то наверняка считаешь, что ты звезда. Да только это не так. Ты не стоишь и двух строк в этих… газетах.

— Баббо всегда прав, — заметила я.

— Ах, посмотрите-ка на нее. Всегда такая преданная. Всегда слушает каждое отцовское слово. Даже после того, как она узнала, что родилась ублюдком. — Мама пронзительно рассмеялась и вскинула подбородок.

— Что ж, если я и ублюдок, то это только по твоей вине! — крикнула я. — Может быть, если бы ты была подобрее и вообще получше, он бы на тебе и женился.

— Будет, будет, Лючия. Я уже говорил, у нас было нечто вроде свадьбы в Триесте. Когда мы сошли с корабля. — Баббо повертел пуговицу у ворота. В глаза он нам не смотрел.

— Ради Господа Бога, забудь ты уже об этой истории, Джим! Надеть на палец чертово золотое кольцо в насквозь завшивленной комнате отеля, где и крысе не развернуться, — вряд ли кто назовет это свадьбой. — Она с бешенством взглянула на баббо. Белки ее глаз сверкали в полутьме.

— Ну будет, будет. Успокойся. — Баббо глубоко вздохнул. — Завтра мы все узаконим и поженимся, и не будет никаких ублюдков. Спокойной ночи, Лючия.

Он взял маму за руку, и они оставили меня одну. Я свернулась комочком в кресле с запятнанной голубой обивкой, прислушиваясь к мышам, что скреблись за стеной. Часы пробили час — единственный гулкий удар, который эхом пролетел по всей квартире. Сырой, пустой квартире, где мы должны были начать жизнь заново — как респектабельная, законная семья.

На следующее утро я проснулась рано — меня разбудил грохот лондонского подземного поезда, линия которого проходила прямо под нашей квартирой. Мама уже встала и одевалась для «свадебной церемонии». Она купила себе новый дорогой наряд, сшитый по последней моде, — летящую юбку, которая едва прикрывала ее колени, и узкое, по фигуре, пальто с модными манжетами. Несмотря на то что на улице был теплый, почти летний день, она настояла на том, чтобы надеть свой любимый воротник из лисы и шляпку-клош. Ее она надвинула чуть не на глаза.

— Чтобы никто меня не видел, — заметила она с натянутой улыбкой.

Прибывший юрист сообщил, что наша история стала главной статьей в «Дейли миррор» и что толпы фотографов с Флит-стрит поджидали родителей не только возле Кенсингтонского отделения регистрации браков, но и вдоль всей Кэмден-Гроув.

— Я могу провести вас мимо репортеров, но, если только у вас нет задней двери, очень не советую мисс Джойс выходить из дома, — сказал он.

Так что я согласилась остаться в осажденной квартире, как заключенный в тюрьме.

— Порисуй немного. Это успокаивает твои

нервы, — посоветовала мама, в третий раз припудривая нос.

— Однако приготовьтесь к худшему, — добавил юрист. — Там будут люди из всех воскресных газет, а у них много страниц, так что им нужно их чем-то заполнить. — Он передал баббо свернутую в трубку «Дейли мейл» и сказал взглянуть на страницу номер три.

— Ох, Джим, читай вслух, — пискнула мама.

— «В одно из лондонских отделений регистрации браков было подано заявление о предстоящем бракосочетании мистера Джеймса Августина Алоизиуса Джойса, сорока девяти лет, из Кэмден-Гроув, Кенсингтон. — Баббо сделал паузу и обвел нас глазами, словно он стоял на сцене, а мы были его жадно слушающей аудиторией. — Объявлено имя невесты — Нора Джозеф Барнакл, сорока семи лет, проживающая там же. Мистер Джойс — автор произведения „Улисс“. Согласно справочнику „Кто есть кто“, он заключил брак в 1904 году с мисс Норой Барнакл из Голуэя. — Он снова замолчал. Его губы шевельнулись, как будто он старался подавить улыбку. — Адвокат мистера Джойса вчера заявил следующее: „По причинам, связанным с завещанием, было решено, что партнеры должны сочетаться браком

согласно английским законам“».

— Что это значит — «по причинам, связанным с завещанием»? — спросила мама.

— А. — Баббо поправил галстук-баб очку. — Это была моя идея. На самом деле это ничего не значит, но звучит внушительно, верно? — Он был необыкновенно доволен собой, и на минуту мне подумалось, что он наслаждается всем этим — игрой с законами, жонглированием словами, вниманием и шумихой.

— Мистер Джойс решил, что это выражение расплывчато, но кажется важным и похоже на юридический термин, и это должно сбить их с толку. Посмотрим, как сработает, — неуверенно произнес юрист.

Но мама согласно закивала головой, и баббо польщенно улыбнулся.

— Мне нравится, как сказано про имя невесты, — хихикнула мама. — Мисс Нора Барнакл из Голуэя — в «Дейли мейл», рядом с именами кинодив!

— Время отплывать, моя обворожительная невеста. — Баббо с усмешкой аккуратно пристроил под локоть трость.

Я стояла и смотрела на них с мрачным лицом, но они меня не замечали. Они готовились к бит-

ве с фотографами и репортерами. Наконец они вышли из квартиры, так и не взглянув на меня. Мама поправляла шляпку и засовывала под нее выбившиеся пряди, баббо, очень прямой, то так, то этак склонял голову, пытаясь достичь наилучшего эффекта.

На следующее утро я проснулась под их смех и приглушенные голоса. Они сидели в гостиной, окруженные газетами.

— Какой ты вышел злой на этой фотографии, Джим. — Мать фыркнула от смеха и помахала перед баббо «Ивнинг стандарт». — И видишь, какие у меня красивые ноги! Я очень довольна, что все-таки купила эту юбку. А ведь сомневалась! Думала, она слишком короткая. Понимаешь, слишком короткая, чтобы выходить в такой замуж! — Она захихикала, как девчонка.

— А взгляни на это, Нора. Они называют тебя Нора Барнакл, незамужняя. — Баббо пододвинул к ней «Санди экспресс». Его глаза блестели от удовольствия.

— Ах ты, негодный мальчишка! — Мама погрозила ему пальцем. — Ты наверняка думаешь, что теперь сможешь продать больше книг, бьюсь об заклад.

Баббо не ответил. Он продолжал сиять.

— Или, может, ты вспоминаешь те дни, когда я и вправду была незамужней девчонкой из Голуэя, Норой Барнакл? Ах, вот ведь гадкий, гадкий мальчишка! Что ж, теперь я просто обыкновенная миссис Джойс, и ты ничего не можешь с этим поделать. — Она жеманно протянула руку за газетой.

— Возрадуйся, о, миссис Джойс, более не печальная, лишенная жизненных соков старая дева, но счастливая, сочная, прекрасная жена, — фыркнул баббо. Его плечи тряслись от смеха.

— О-о-о, я и вправду чувствовала себя дурочкой, — жалобно протянула мать.

— А ты видела телеграмму от Джорджо? — Баббо передал ей тонкий конверт. — В Париже говорят, что свадьба — не более чем хитрый трюк, чтобы помочь издать книгу. — Он радостно хлопнул себя по бедру. — Мы повенчали мои работы, Нора, о, моя цветущая Флора.

Я, незамеченная, стояла у дверей и поражалась. Как они довольны собой! Это просто смешно. Я же чувствовала лишь отвращение и горечь, которые вскоре сменились злостью. Как быстро они преодолели свой стыд и неловкость!

В бешенстве хлопнув дверью, я скрылась в своей спальне.

Под одеялом было хорошо. Темно и тепло. Я ощущала себя семечком, глубоко захороненным в черной земле. Или трюфелем, бородавчатым и шершавым, уютно и тихо лежащим среди гниющих березовых листьев.

Пока я валялась в кровати, меня охватило странное чувство. Словно нечто внутри меня пробуждалось к жизни. Я вообразила, что это росток, пробивающийся наружу, или готовая раскрыться почка. Но ночью поняла, что это что-то совсем другое. Я не могла понять что или дать ему имя. Оно скреблось внутри и грызло меня. И под периной из гагачьего пуха, с узором из рассыпанных роз, я дышала, дышала и дышала.

Я стояла в вонючем полутемном коридоре в квартире на Кэмден-Гроув и ждала, когда раздастся дверной звонок. Беккет был в Лондоне, и он собирался зайти, чтобы поужинать с нами. Баббо осторожно спросил, не хочу ли я к ним присоединиться. Поначалу я застеснялась, но потом решила, что мне, может быть, полезно повидаться с ним. И показать ему, что он потерял благодаря своей глупости. Кроме того, у меня совсем не было друзей в Лондоне, никого, кто подходил бы мне по возрасту, с кем я могла бы поговорить или вспомнить прошлое.

Послышалось тоненькое дребезжание звонка. Я открыла дверь — и на пороге стоял он. Беккет. Зелено-голубые глаза за очками в проволочной оправе, нос, похожий на клюв, худое лицо, которое по-прежнему казалось высеченным из камня. Увидев меня, он удивленно отступил, как будто не ожидал встретить меня снова… как будто его каким-то образом обманули. Однако он быстро овладел собой и сказал, как это прекрасно и как он счастлив меня видеть.

— Вы не думали, что я тоже здесь? — спросила я, и мой голос дрогнул. Воздух вокруг вдруг сжался и стиснул меня со всей силы, сдавливая легкие.

— О нет, мистер Джойс говорил, что вы идете с нами, и я очень обрадовался. — Пальцы Беккета нервно пробежались по шее, коснулись фурункула, волос и снова вернулись к фурункулу. — Но вы выглядите… вы выглядите немного по-другому. У вас… несколько усталый вид, Лючия. Поэтому я немного удивился, только и всего.

Я с облегчением вздохнула и коротко рассмеялась. Предполагалось, что это будет веселый, даже немного кокетливый смешок, но из моего горла вырвалось что-то, похожее скорее на лай встревоженной собаки.

— Мы все пережили довольно нелегкое вре-

мя, — сказала я. А потом вспомнила, как родителям понравилось, что в газетах напечатали об их свадьбе, как баббо негодовал, что в «Тайме» об этом не было ни слова, а «Нью-Йорк тайме» спрятал заметку в колонке «Свадьбы, смерти и рождения». — Во всяком случае, некоторые из нас, — поправилась я.

— Видимо, вы с нетерпением ожидаете, когда станете тетушкой? — Тон Беккета был холодным и официальным, как будто он говорил с едва знакомым человеком.

— Ах, это, — небрежно бросила я. — Полагаю, да. Баббо очень доволен, что его род будет продолжен. Будем надеяться, что это мальчик. — Я снова переливчато рассмеялась, но тут же замолчала, заметив, что Беккет смотрит на меня немного странно. — Как бы там ни было, добро пожаловать в Кэмден-Грэйв[25]. Больше похоже на могилу, чем на рощу, вы не думаете? Проходите, выпейте чего-нибудь, а потом мы отправимся ужинать. Я хочу узнать все ваши новости. — Я старательно поддерживала бодрую, жизнерадостную интонацию и при каждой возможности делала глубокие вдохи. На самом деле я вовсе

[25] Примечания: 25

Игра слов: Campden Grove — Campden Grave. Grave *(англ.)* — могила, grove — роща.

не была уверена, хочу ли я выслушивать его новости. Увидев его опять, я почувствовала себя словно в агонии. Желудок, казалось, был наполнен верткими, скользкими угрями. Я внезапно страстно пожелала очутиться в своей постели, под толстым одеялом. Зачем он пришел? Зачем я согласилась с ним поужинать? Ничего этого я, конечно, не сказала.

— Мы пойдем в «Слейтер», — сообщила я. — Это совсем недалеко, прямо за углом.

— Прекрасно, — машинально заметил Беккет.

Я неожиданно осознала, что так и не взяла у него пальто и шляпу и не проводила внутрь. Мы так и стояли в тускло освещенном коридоре с обоями, усеянными пятнами, которые пузырились и местами отставали от стен. И здесь отвратительно пахло вареной капустой и плесенью.

В этот момент до нас донесся голос баббо:

— Беккет, это вы? Проходите же, проходите, и я налью вам выпить.

За напитками дома и позже за ужином баббо и Беккет обсуждали свои труды. Мать трещала о том, каких замечательных жареных цыплят она покупает за углом каждый день, и о своей свадьбе, и о будущем ребенке Джорджо и Хелен. Я гоняла по тарелке телячью котлету и пыталась

не подавать виду, что мне невероятно одиноко и грустно. Я смеялась там, где требовалось рассмеяться, и делала серьезное лицо, когда разговор шел о чем-то серьезном. Но кажется, мне никак не удавалось попасть в такт. Когда баббо рассказывал о трудностях, что преследуют его с книгой, над которой он работает, я расхохоталась как безумная, а когда мать, стараясь разрядить обстановку, стала подшучивать над англичанами и их привычками, из моего горла вырвались чудные, всхлипывающие звуки.

— Может, съешь что-нибудь, Лючия? — Мать ткнула вилкой в сторону моей тарелки с перемешанной кучей еды.

— Я не голодна, — ответила я. — Сегодня у меня был довольно плотный ланч.

Конечно, она знала, что сегодня я вообще не обедала, но не могла же я объяснить, что меня томит тошнота, как удав, кольцами свернувшийся в желудке.

Беккет осторожно и вежливо спросил меня, как поживают Киттен и Стелла и нравится ли мне в Лондоне. Я ответила, что понятия не имею, как там Киттен и Стелла, потому что Стелла уехала учиться в «Баухаус» в Германию и связи со мной не поддерживает, а Киттен очень огорчилась

и обиделась на меня, когда я разрушила наши мечты основать школу танцев, и тоже не имеет со мной никакой связи. Я слышала, что мой голос звучит все громче и пронзительнее, и видела, что мать не сводит с меня гневно горящих глаз, но все равно продолжала. Раз уж он спросил.

— Нет, мне не нравится Лондон. Квартира ужасна. У меня нет друзей в художественной школе. Никто со мной не разговаривает, потому что я ублюдок. Здесь у меня совсем нет собственной жизни. Я ненавижу этот город! И хочу вернуться в Париж как можно скорее. Я ненавижу англичан — они все ослы. В Лондоне их никак не избежать. Они повсюду. И постоянно пялятся на меня. Потому что знают, что я — ср… ублюдок! — Эти слова против моей воли соскользнули у меня с языка, и я произнесла их еще громче, чем все остальные. Я удивленно нахмурилась. Мой рот говорил — нет, кричал — сам по себе, без моего участия.

Люди за соседним столиком глазели на меня. Баббо не мог оторвать от меня глаз. Беккет смотрел в тарелку и очень сосредоточенно разрезал стейк на кусочки. Мать бросала на меня разъяренные взгляды. И вдруг баббо обратился ко мне по-итальянски. Он сказал, что все будет хорошо, что я могу вернуться в Париж когда только захочу

и остановиться у Джорджо и Хелен. После этого я большей частью молчала. А Беккет был достаточно умен, чтобы не задавать мне вопросов.

К тому времени, как мы вышли из ресторана, я уже обрела способность говорить вполне нормально. Баббо спросил Беккета, не хочет ли он поужинать с нами на следующей неделе, до того, как вернется в Дублин. Но я… я заметила его взгляд. Взгляд человека, которого загоняют в сарай, как овцу. И выражение глаз баббо — мягкое, просящее, едва ли не умоляющее. И я знала, что Беккет не в силах отказать моему отцу.

— Просто скажите моему отцу, что вы не хотите с нами ужинать, Беккет. Давайте — скажите это! Скажите ему правду! Вы не хотите находиться рядом со мной. Не хотите сидеть за одним столом с косоглазым ублюдком. Мне все равно. Скажите — и точка!

Беккет изумленно посмотрел на меня, покраснел и быстро отвернулся.

— Идем, Лючия. — Баббо положил свои руки — паучьи лапы — мне на плечи и повел за угол, к Кэмден-Гроув.

Я взглянула под ноги. Тротуар на Кенсингтон-Хай-стрит был усеян маленькими кучками собачьего дерьма. Потом я подняла голову — и

темнеющее небо вверху задрожало, словно в любую секунду могло обрушиться прямо на меня. Я обернулась. Беккет шел вверх по Кенсингтон-Чёрч-стрит, ссутулившись и сгорбив плечи. О, Беккет. Мой Беккет…

Той ночью я поняла, что внутри меня живет нечто темное и чудовищное. Оно затаилось и ждет своего времени. Я не могла объяснить, что это, или назвать его по имени, но оно меня пугало. Иногда оно пробиралось ко мне в горло и овладевало мной. Матери я ничего не сказала. И не смела потревожить баббо. Ему нужно было закончить великую книгу, над которой он работал. Ничто не должно было стоять между ним и книгой, над которой он работал. И я так устала. Так устала. Я больше не могла танцевать. У меня не было на это сил. И мать говорила, что квартира слишком маленькая. Даже взбираясь по лестнице, я начинала задыхаться. Самое простое и естественное действие — набрать воздуха в легкие — безмерно меня утомляло. Все свое внимание я отдавала рисованию — рисованию и дыханию.

Глава 20

Осень 1931 года

Париж

Это была идея баббо. С тех самых пор, когда я начала брать уроки рисования, он то и дело заговаривал о нашей совместной работе. Вернувшись из Лондона, я ощущала себя совершенно потерянной. Я совсем выдохлась и не могла снова заняться танцами, растеряла всех своих парижских друзей и знакомых. Осталась разве что Киттен, но она была постоянно занята своим женихом. Мы уже не жили на Робьяк-сквер, а поселились в маленькой душной квартирке в Пасси, где в ванной комнате рос мох, а потолок был весь в пятнах. Все чаще и чаще я чувствовала себя пустой оболочкой, бессмысленной и бесполезной. У меня появилась привычка подолгу сидеть в своей комнате перед зеркалом и думать, как изо всех кусочков и обломков наладить хоть какую-то жизнь. И спрашивать себя, кто я теперь и кем я стану. Но мое отражение не отвечало. А мать все сильнее раздражало мое бездействие.

И тогда баббо попросил меня придумать светящиеся буквы, особый шрифт, с которых начиналось бы каждое из тринадцати его стихотворений, вошедших в особый сборник под названием «Книга Джойса». Ее собиралось выпустить издательство Оксфордского университета. Издатель обратился к тринадцати разным композиторам, чтобы они сочинили музыкальное сопровождение к каждому стихотворению. Так что я становилась частью команды блестящих артистов.

Баббо сказал, что меня должна вдохновить «Келлская книга». Так оно и бывало. В хорошие дни. Но в плохие дни я видела там лишь змей, а когда позже посмотрела на свои буквицы, ясно разглядела и в них голову змеи, скрытую в мазках нежно-серого, дымчато-голубого и бледнейшего, изысканнейшего розового.

Целых три месяца я работала над буквицами для баббо. Днями напролет, почти не отрываясь. Медленно и старательно. Баббо сказал, что они прекрасны. Мать не сказала ничего. Наконец все было готово, упаковано и отослано в Оксфорд. Но в начале декабря, когда воздух Парижа стал ледяным и острым, как осколки стекла, мои буквы вернулись обратно. Я опоздала. Стихотворения

были уже отправлены в печать.

Баббо сообщил, что у него есть другая мысль. Куда лучше. Он тут же принялся за дело, расхваливая мою работу по всему Парижу. Неделей позже он сказал, что в «Блэк сан пресс» согласились выпустить его стихи особым изданием тиражом в двадцать пять экземпляров, с моими буквицами. Книги будут напечатаны на толстой рифленой бумаге, с переплетом из зеленого шелка-сырца оттенка незрелого яблока. Каждая страница будет проложена зеленой папиросной бумагой, и на ней будет моя иллюстрация. И мое имя будет вытеснено на обложке, рядом с именем баббо. Настоящее произведение искусства, редкость для коллекционеров.

Однако еще через неделю позвонила Каресс Кросби из «Блэк сан пресс». Я слышала, как баббо разговаривал с ней по телефону. Беседа в основном состояла из долгих пауз — баббо слушал. Наконец он уныло произнес: «Благодарю вас, миссис Кросби» и «До свидания, миссис Кросби». Когда повесил трубку и вышел в гостиную, он не мог смотреть мне в глаза. Он долго в неловкой позе стоял у окна, глядя на безоблачное, бесцветное небо. Затем зажег сигарету, выпустил длинную струю дыма и сказал, что миссис Кросби не смог-

ла найти в Америке покупателей для такого издания. Я ощутила, что вокруг меня витает дух поражения, чего-то мертворожденного, и давит мне на плечи. Баббо быстро взял себя в руки и выдал, что у него появилась еще одна мысль и ему нужно лишь немного времени.

Моя лицемерная мать, настоящий двуликий Янус в человеческом обличье, теперь посещала миссис Хелен Флейшман-Джойс каждый день. Если она не сидела в апартаментах Джорджо и Хелен, то раскатывала по городу в их автомобиле с шофером. Но мне было все равно. Она и так мне никогда не нравилась.

— Она пугает меня, Джим. Вот, я это сказала.

— Ты не должна позволять этим сценам из «Короля Лира», что она закатывает, сбивать тебя с толку, Нора. Несомненно, это всего лишь небольшое гормональное расстройство, и оно быстро пройдет, если мы отыщем хорошего доктора.

— Джорджо так не думает. Он знает ее лучше, чем мы. Этих двоих всегда было не расцепить, как сиамских близнецов.

— И что же он думает о бедной Лючии, одиноко грустящей и на густой туман глядящей?

— Что она сходит с ума и ее нужно отправить в

желтый дом. В сумасшедший дом, Джим.

Я видела только ногу баббо в чулке и туфле. Она подрагивала. Потом он чиркнул спичкой, а мама подошла к двери и плотно затворила ее, так что я слышала только, как бьется о ребра мое собственное сердце.

Январь 1932 года. В тот день в Париже шел легкий снег. Я сидела у окна — жалюзи были приподняты лишь на небольшую щелочку — и смотрела, как снежинки парят в воздухе и падают на землю. И думала об Алексе Понизовском и о том, как много времени мы проводим вместе. Он больше не давал баббо уроки русского. Теперь он приходил к нам только ради меня. Он был нежен и добр, хорошо воспитан и имел только самые честные намерения. Пока я вспоминала Алекса, тихо улыбаясь про себя и любуясь снежинками, мать вдруг произнесла слова, от которых я оледенела. Каждый мускул и каждое сухожилие в моем теле стало твердым от шока.

— Лючия, — сказала она. — Я думаю, тебе надо кое-что узнать. И лучше уж тебе услышать это от меня, чем увидеть самой. Мистер Беккет бросил свою работу в Дублине и снова вернулся в Париж. Он живет на рю де Вожирар. — Она вопросительно посмотрела на меня, словно ожидая ответа.

Но мне было нечего сказать. Я медленно отвернулась к окну и опять уставилась на белый, пушистый, как перышки, снег, летящий по черному небу. В голове крутилось только одно слово. Зачем? Зачем? Зачем?

— Ну, я рада, что ты спокойна. Просто ты могла бы на него наткнуться где-нибудь… сама знаешь, как в Париже бывает. Лючия, тебе что, нечем заняться? Может, порисуешь немного или еще чего? Поглядите-ка только на этот снег. Если так и дальше будет, нас совсем занесет, еще до Рождества Господа нашего Иисуса. Нехорошо это. Нет, нет, не нравятся мне такие дела.

Иногда я душила мать — мои руки, затянутые в перчатки, легко сворачивали ее дряблую шею. Иногда насильно кормила ее морфином, который выписывали баббо, — открывала ей рот и ловко засовывала туда ложку. А иногда просто толкала — и она падала на землю с нашего балкона. Каков бы ни был способ убийства, суть сна оставалась той же. Но недавно в мои сны вторглись и другие люди. Баббо, Джорджо, Хелен Флейшман. Я лихорадочно отмеряла нужную дозу морфина, но понимала, что его не хватает. Тогда я спихивала мать с балкона, но Джорджо или баббо заставали меня, и я должна была столкнуть и их тоже. Я

видела ужас в их глазах, когда они летели вниз, к своей смерти. Одного за другим, я убивала всех, кто оказывался в моих снах, быстро, со знанием дела, без всякой жалости. И каждый мой сон оканчивался одинаково. Убив всех, я выбегала из квартиры, и моя походка была легкой и беззаботной. Я шла к набережной Сены, туда, где стояли продавцы птиц со своими лотками, и открывала все клетки. И выпускала на волю всех хохлатых канареек, голубоглазых какаду, попугаев-неразлучников с персиковыми личиками и алых ара. Расправив крылья, они взлетали в небо. А когда в вышине растворялась последняя освобожденная птица и в моих ушах стоял несмолкаемый птичий щебет, я просыпалась, вымокшая от пота и дрожащая.

Потому что это она была во всем виновата. От нее мне передалось косоглазие. Она заставила баббо не пускать Беккета на порог квартиры на Робьяк-сквер. Она вынудила меня перестать танцевать. Она родила меня вне брака. Она сделала меня ублюдком. И в другом она тоже была виновата. В чем — я не понимала. И все время где-то на задворках памяти маячило нечто… Нечто ужасное, невыносимо жестокое, злобное… Да, это была ее вина. Только ее… с самого начала…

Второе февраля, пятидесятый день рождения баббо и десятилетняя годовщина выхода «Улисса». Все метались по квартире, поправляли жилеты и юбки, отвечали на телефонные звонки, искали убежавшие перчатки и шляпы и оброненные булавки для галстука. Один из «льстецов» баббо устраивал небольшую вечеринку. Предполагалось, что там будет торт с пятьюдесятью свечами и сделанным из помадки голубым с золотом «Улиссом». Я надела новое платье, что купила мне мать, с усыпанным бусинками корсажем, и головную повязку в пару к нему, и еще новые лаковые туфли с перекрещенными ремешками, украшенными горным хрусталем, все цвета спелой тутовой ягоды.

Я не спрашивала о других гостях до самой последней минуты, когда мы уже должны были выходить. Мать стояла в кухне и пудрила нос, и я поинтересовалась, кто еще придет на вечеринку. Джорджо, который заехал на машине с шофером, чтобы подвезти нас, читал газету. Баббо был в ванной комнате; он зачесывал назад волосы, добиваясь того, чтобы они лежали идеально гладко.

— Да в этом году никого, считай, и не будет, — ответила мать. — Ты пригласила мистера

Понизовского? Очень милый молодой человек.

Я покачала головой:

— У него уже было что-то назначено на этот день. Так кто придет?

— Хелен зайдет ненадолго, так, Джорджо? — Мать повернулась к Джорджо. Тот кивнул и снова погрузился в газету. — Еще мистер и миссис Гилберт и мистер и миссис Салливан. И мистер Беккет тоже придет. Так что будет нас мало. Маленькая приятная компания.

— Беккет? — переспросила я, не веря своим ушам. — Беккет придет?

— Да. Да и почему же ему бы и не прийти? Теперь мы все дружим. — Она захлопнула пудреницу и принялась что-то напевать себе под нос.

И в это мгновение меня накрыла волна бешенства — такая мощная, такая всесокрушающая, что, не успев даже осознать, что делаю, я схватила ближайшую вещь, что оказалась рядом — массивный деревянный кухонный стул, — подняла его над головой — он был легкий, словно мыльный пузырь, — и швырнула в мать. Она увидела, как он летит по воздуху, и увернулась. Ее лицо и губы побелели от ужаса, глаза расширились от паники.

Бросив стул, я ощутила, что меня бьет крупная

дрожь. Однако я не смогла ни сказать ни слова, ни извиниться, ни понять, что вообще произошло, потому что Джорджо в одну секунду подскочил ко мне и обхватил мои запястья. Он сжал их так сильно, что я заплакала от боли. Он выволок меня из кухни и потащил по коридору к двери и к лифту. Я слышала, как он кричал матери, что на этот раз я зашла слишком далеко и что он берет дело в свои руки. Лифт со скрипом поднимался вверх. Я увидела совершенно обескровленное лицо баббо. Он тоже кричал, взывал к Джорджо, чтобы тот отпустил меня и оставил в покое. Но было слишком поздно. Дверь лифта отворилась, и Джорджо грубо впихнул меня внутрь. В полутьме, в клетке, я видела лишь злобно поблескивающие кристаллы горного хрусталя на туфлях и бусины на корсаже платья. Джорджо перехватил мои руки за спиной, костлявыми пальцами удерживая мои запястья. Его ногти глубоко впивались мне в кожу, и я была уверена, что за мной тянется малиновый кровавый след.

Мне было очень больно, и я вскрикнула, но он закрыл мне рот ладонью. А потом, тихо и жестко, сказал, что не позволит мне испортить пятидесятилетие баббо и что никогда в жизни я больше не причиню вреда маме — никогда.

— Люди говорят, что ты свихнулась. Что ты позоришь всех нас — и это после того, что мы для тебя сделали! Как ты смеешь! Как ты смеешь поднимать руку на маму! Ты зарвалась, Лючия.

Он вытолкнул меня из лифта, по-прежнему одной рукой закрывая мне рот, а другой сжимая запястья.

Возле дома стоял «бьюик», сияя даже в тусклом зимнем свете. Лицо шофера исказилось от изумления. Он выпрыгнул из автомобиля, открыл и придержал для нас заднюю дверцу. Джорджо швырнул меня на обитое кожей заднее сиденье. Я замотала головой, протестуя, и моя повязка сползла мне на шею.

— Où? — спросил ничего не понимающей шофер. — Pas le rue de Sévigné?[26]

Глаза Джорджо метнулись вправо, потом влево, словно он решал, в каком направлении нам ехать. А затем он велел шоферу ехать как можно быстрее и назвал ему незнакомый мне адрес. Но я уловила слова «Мезон де санте»[27] и поняла, куда он меня везет. До меня будто донеслось нежелан-

---

[26] Примечания: 26

Куда? Не на рю де Севинье? *(фр.)*

[27] Примечания: 27

Мезон де санте (Maison de Santé.) — психиатрическая клиника в Париже.

ное эхо из прошлого. Ведь это то же самое, что случилось с миссис Зельдой Фицджеральд! Мне вспомнились слова Сэнди, сказанные два года назад. Сначала тебя отвозят в «Мезон де санте». А оттуда всего лишь маленький шажок до сумасшедшего дома, куда запирают всех безумцев. Как миссис Фицджеральд, как Нижинского. Я широко распахнула глаза и начала бороться с Джорджо, пытаясь высвободиться. Я хотела сказать ему, что не хотела бросать стул, что это была не я, что кто-то другой завладел моим телом, моими руками. Я попыталась повернуть голову, оглянуться на дом, посмотреть, не выбежал ли баббо вслед за мной. Но Джорджо твердо прижимал мою шею к груди, и он был гораздо сильнее меня.

Он мрачно смотрел в окно. Через какое-то время я почувствовала, что его хватка чуть ослабела, и исступленно забилась, стараясь стряхнуть его ладонь с лица. Я не могла дышать, и мне нужно было доказать ему… Но он легко остановил мои попытки вырваться, и мне пришлось тяжело и шумно вдыхать и выдыхать воздух через ноздри.

В конце концов мы подъехали к тяжелым чугунным воротам. Джорджо послал шофера открыть их, в то время как сам прижимал меня к сиденью, так и не дав мне вымолвить ни сло-

ва. Но я уже не могла сопротивляться. Мое тело обмякло, я лежала неподвижно и только чувствовала, как меня время от времени сотрясают приступы дрожи. Оказавшись за воротами, мы двинулись вперед по узкой, извивающейся дорожке, и вскоре перед нами показался большой белый дом, окруженный лавровыми кустами, с просторной, посыпанной гравием площадкой у входа. Автомобиль притормозил у парадной двери, и Джорджо наконец разжал руки и выбрался наружу. Он приказал шоферу не спускать с меня глаз и вошел в здание. Через несколько минут он вернулся с двумя крупными мужчинами и показал им на «бьюик».

Шофер открыл дверцу, чтобы я могла выйти, но я лежала на сиденье и скулила, как испуганная собака. Джорджо сказал мне, чтобы я вылезала, но я не могла сдвинуться с места. Меня словно приклеили к кожаной обивке, руки и ноги отяжелели и не слушались меня. И тут я вдруг обрела дар речи и прекратила скулить. Я умоляла Джорджо отвезти меня обратно домой. Просила у него прощения. Заклинала дать мне возможность исправиться. Обещала, что никогда и никому не выдам наши тайны. Но он только покачал головой и сказал, что, если я не выйду сама, меня

вытащат эти два здоровяка. Очень медленно я выкарабкалась из автомобиля. Один из мужчин взял меня за одну руку, другой за другую. Мягко, но настойчиво они повели меня к большому белому дому. Я обернулась и увидела, как Джорджо, пригладив волосы, спокойно садится обратно в автомобиль.

— Я не делала этого! — закричала я.

Но он даже не взглянул на меня. Колеса «бьюика» захрустели по гравию, и он медленно, но неумолимо покатил к воротам.

* * *

Неделю я лежала в постели или прогуливалась по сырым, чавкающим под ногами тропинкам на территории «Мезон де санте». Я думала о Беккете, о его пальцах, похожих на веточки, тонких, чуть морщинистых на костяшках, о выступающих венах, напоминающих вылезшие из земли переплетенные корни дерева. А когда мне удавалось отодвинуть мысли о нем в сторону, я думала об Алексе Понизовском. Алекс писал мне каждый день. Говорил, как сильно хочет увидеть меня снова, обнять и поцеловать, надеялся, что мне уже лучше и что я хорошо отдыхаю.

И все это время что-то копошилось и возилось

у меня в животе, как будто там поселился другой человек… нет, не человек, а чудовище, злобный зверь. Я чувствовала, что это не Он, а Она. Она царапала меня когтями, грызла внутренности, исходя яростью и изнывая от бешенства.

Когда Она вернулась в свою клетку и я крепко приковала ее к прутьям цепями, я написала письмо баббо.

«Дорогой баббо!

Пожалуйста, приезжай и забери меня. Я отдохнула, и мне теперь спокойно и хорошо. Я хочу перед всеми извиниться. И увидеть новорожденного Хелен и Джордже.

Прости меня, баббо, но я не вернусь в Пасси и не стану жить с тобой и с мамой. Там слишком тесно и грязно, и мне нужно пожить вдали от вас. Я знаю, тебе и маме это будет тяжело, но я должна это сделать. Возможно, я на некоторое время останусь у мистера и миссис Леон, пока не найду себе квартиру. Я хочу выбрать собственную мебель и сама покупать себе одежду. В июле мне исполнится двадцать пять, и, как ты знаешь, к этому времени я твердо намерена выйти замуж!

И в любом случае ты хихикаешь по ночам, когда работаешь над своей книгой, и я не могу спать. Думаю, ты согласишься, как важен сейчас

для моего здоровья хороший отдых.

Приезжай и забери меня так скоро, как только сможешь.

Твоя любимая bella bambina

Лючия».

Глава 21

Март 1932 года

Париж

Итак, я должна была выйти замуж за Алекса Понизовского. Беглого русского еврея. Шурина раба баббо, Пола Леона. Брата Люси Леон. Человека, который в течение нескольких лет учил баббо русскому, когда мы жили на Робьяк-сквер. Он учился в Кембридже, и у него была степень по экономике. И хорошая, надежная работа во Франко-американском банке. Он был очарователен. Добр. Умен. Близкий знакомый Джорджо и Хелен. Друг и родственник Пегги Гуггенхайм. И Хейзел Гуггенхайм.

Все было устроено. Мне даже полагалось приданое. Празднование помолвки должно было состояться в ресторане «Друан» на пляс Гайон. Все одобряли этот брак. Он нравился матери, и она считала, что я наконец-то нашла достойного меня мужчину. Баббо он тоже нравился. Многочисленные «льстецы» были счастливы, что я справилась с небольшим нервным кризом и выхожу замуж,

а стало быть, оставляю баббо в покое, чтобы он мог закончить свой шедевр. Хелен также была взволнована и прислала мне поздравительную телеграмму с юга Франции, где она, Джорджо и их ребенок в данный момент отдыхали.

Только один человек не одобрял всей этой затеи. Когда баббо телеграфировал Джорджо и Хелен, чтобы сообщить им новости, Джорджо первым же поездом примчался в Париж и направился прямо в квартиру в Пасси, где сильно поругался с баббо. Позже мать говорила мне, что Джорджо кричал, что мне нельзя разрешать выходить замуж за Алекса и что меня нужно держать под замком, как и всех сумасшедших.

Когда Киттен сказала мне, что Сэнди Колдер возвратился в Париж и живет в своей старой студии с молодой женой, я осталась совершенно спокойна. Я тихо сидела на диване миссис Леон с идеальной обивкой, умиротворенно сложив руки на коленях, не швыряла стулья, не проявляла никаких признаков гнева или безумия. Я лишь взглянула на Киттен и спросила:

— Она носит *мои* серьги и *мою* брошь?

— М-м-м… возможно. Я не знаю. Я не встречалась с ней лично. — Киттен нахмурилась и отвернулась.

— Я буду молиться, чтобы нигде с ним не столкнуться. — Я не говорила Киттен, что теперь часто захожу в церковь, незаметно проскальзываю через огромные, изукрашенные резьбой двери, под покровом темноты становлюсь на колени, на холодный каменный пол, и молюсь о чудовище внутри — о том, чтобы Она умерла, чтобы Ее убили, какой бы кровавой ни оказалась казнь.

— По крайней мере, у тебя теперь есть Алекс. Кажется, он чудесный во всех отношениях.

— Да, слава богу, у меня есть Алекс.

— И как только выйдешь замуж, ты почувствуешь себя самой собой.

— Собой? — Я сдвинула брови, неуверенная, кто теперь «я». И ощутила шевеление в животе — как будто Она снова проснулась, стряхнула с себя летаргический сон, злясь на меня за мою неуверенность.

— Ты будешь миссис Алекс Понизовский, — весело добавила Киттен. — И может быть, мы снова сможем танцевать.

— Снова сможем танцевать? — эхом отозвалась я. Но как только слова Киттен проникли в мое сознание, мое тело вдруг наполнилось легкостью. Моя кровь, такая густая и тяжелая, словно превратилась в воздух. — Ты хочешь сказать,

открыть танцевальную школу?

— Почему бы и нет? Мы будем более устроены, когда выйдем замуж. И у нас еще останется время до того, как родятся дети.

— Да! — воскликнула я. — Да! — И, сжав руки Киттен в своих, я услышала, как Она мрачно ползет обратно в клетку, звеня цепями.

— Как только разберемся со свадьбами, составим план. Ты помнишь все эти движения Маргарет Моррис? Некоторые были ужасно сложными! А уроки у месье Берлина! Как он на нас кричал! Какой же он был смешной, правда?

Я спрыгнула на пол и поднялась на мыски. Помню ли я? Могу ли я снова танцевать? Я начала кружиться, медленно и сосредоточенно, выгнув спину, раскинув руки — так, как любил баббо. Мои одеревеневшие руки и ноги снова обрели гибкость, окостенелость в суставах исчезла.

— Ты все еще так прекрасно двигаешься, Лючия. — Киттен пригладила акрошкеры кончиками пальцев и окинула меня одобрительным взглядом. — Пообещай мне, что больше не бросишь танцы!

— Обещаю! — громко сказала я, заглушая тихое рычание чудовища. Я вытянула шею, подняла руки над головой, раздвинула пальцы и грациозно

подняла правую ногу. Киттен права. Почему бы мне снова не начать танцевать? Да, как только я уйду из дома, я начну танцевать!

Неделей позже я сидела в ресторане «Друан», напротив баббо и мистера Леона. Их лица порозовели от выпитого. На помолвке присутствовали все, кроме Киттен, которая заболела. И Джордже Мы пили шампанское, ели блины с русской икрой и сметаной, и все провозглашали тосты за нас с Алексом. Баббо все больше и больше краснел. Слава богу, что он произнес свою короткую речь раньше! Мистер Леон рассказывал непристойные анекдоты, а баббо уже напевал какую-то ирландскую балладу, и его голос постепенно крепчал.

От Алекса меня отделили — большую часть вечера он провел на другом конце стола, зажатый между мамой и Люси Леон. Что они ему там говорят, подумала я. И воспользовалась возможностью понаблюдать за Алексом, изучить его. Еще раз. Его густые темные волосы, мягкие и пушистые, как мох. Его круглое, с нежной персиковой кожей лицо. Его глаза цвета жженой умбры, честные и бесхитростные. Как это не похоже на резкие черты лица Беккета, мелькнуло у меня в голове. А затем передо мной предстал образ Беккета, и мой пульс участился. Я почув-

ствовала себя виноватой. Я не открылась перед Алексом до конца. Мой обман давил на меня, как толща воды, выжимал воздух из легких, мое дыхание стало коротким и отрывистым. Но когда я отогнала Беккета, снова убрала его в маленькую коробочку, где он должен был находиться, я опять поймала простодушный взгляд Алекса… и вдруг поняла, что он тоже открыл мне не все. Он чуть помахал мне рукой, и я помахала ему в ответ, с широкой неподвижной улыбкой. Мой будущий муж.

Мы договорились, что после праздничного ужина Алекс проводит меня «домой», то есть на квартиру Леонов. Я немного замедлила шаг, намеренно отстав от мистера и миссис Леон, — они шли впереди. Когда они оказались настолько далеко, что не могли нас услышать, я спросила Алекса, почему он сделал мне предложение. Он ответил — разумеется, потому, что хотел, чтобы я стала его женой. Но я попросила его сказать мне правду. Чья это была идея? Кто подсказал ему, поощрил его? И почему он предложил мне руку и сердце именно сейчас, а не раньше.

Алекс с минуту молчал. Я ощутила, как напряглась его рука под моей ладонью. А затем рассказал, что мысль о женитьбе на мне пришла

в голову Полу Леону. Пол и Люси Леон твердили, что он должен сделать мне предложение. Они убеждали его, как могли. Говорили, что я не какая-нибудь богемная американка, приехавшая в Париж наслаждаться свободой, а хорошо воспитанная, вполне буржуазная девушка из семьи с традиционными ирландскими моральными ценностями. И что я не из тех, с кем можно бездумно флиртовать, мои чувства — не игрушка, и после всего, что между нами было, он, как честный человек, просто обязан на мне жениться.

Я спросила, любит ли он меня. Алекс ответил, что, конечно, любит, остановился и поцеловал меня в щеку. Но я не задала главного вопроса — влюблен ли он в меня. И не сказала, что мое сердце все еще принадлежит Беккету.

После того как мы с Алексом поцеловались на прощание и пожелали друг другу спокойной ночи, Пол Леон сразу же отправился в постель.

— Слишком много выпил, — сухо заметила Люси, поджав губы.

Я добралась до кушетки и упала на нее. Я очень устала и была растеряна. Слова Алекса, как пули, рикошетом отскакивали от стенок черепа. Меня мучила ужасная головная боль. Я закрыла глаза и, как всегда, постаралась сосредоточиться на

дыхании. Но вместо ожидаемого облегчения я вдруг почувствовала, что падаю, проваливаюсь во тьму. Я попыталась поднять ногу, но не смогла. Пошевелила было пальцами, но они меня не слушались. Попробовала повернуть голову, но ничего не вышло. Я лишилась способности двигаться.

Ко мне подошла Люси и предложила чашку чая. Я хотела открыть рот, но мои губы будто склеились. Я молча смотрела на нее. Ни один мускул на моем лице не дрогнул. Я видела, что Люси встревожилась, ее лоб нахмурился, брови сошлись вместе. И все равно не смогла ничего ответить. Мое лицо отвердело и застыло, как алебастровая маска. Глаза таращились в потолок и не моргали. Я слышала свое дыхание — короткие, затрудненные вдохи и выдохи. Люси убежала и вернулась с одеялами и толстым лоскутным покрывалом. Она накрыла меня, вернее, завернула, как ребенка, и подоткнула концы. Я лежала, как спеленатый младенец.

И ждала, когда же наступит паника. Смогу ли я снова двигаться? Танцевать? Говорить? Эти мысли лениво вертелись в сознании. Ответа на эти вопросы у меня не было, и меня это даже не обеспокоило. Я ничего не чувствовала — только

онемение. Как будто усыпляющий газ проник в комнату и отравил мою плоть, мои кости, мой мозг. Я ощущала лишь пустоту и странное чувство покоя.

Четыре дня я пролежала на кушетке Леонов. Я не шевелилась, не говорила, не ела. Люси через трубочку поила меня водой, очень осторожно, чтобы ненароком не коснуться меня или не наклониться слишком близко. Видимо, ей не хотелось, чтобы я на нее дышала. Приходил баббо и пел мне песни. Хелен принесла ребенка, чтобы я улыбнулась. Зашла Киттен с шоколадными конфетами. Был и Алекс — с нарциссами и встревоженными глазами. Я могла разобрать только их нечеткие очертания, будто они находились по другую сторону газовой занавески. Голоса звучали гулко, с эхом, как если бы все они говорили в шахту лифта.

Алекс держал цветы у меня перед носом, и я слышала ужас в его голосе. Но он был так далеко… и его слова казались словами привидения, не больше. Однако даже будучи в ступоре, я отметила, что он не наклонился и не поцеловал меня. Словно боялся подхватить заразную болезнь. Никто не дотрагивался до меня, кроме мамы. Она подошла и положила руку мне на щеку, и ее глаза

были похожи на серебристых рыбок. И онемение на несколько секунд неожиданно оставило меня. Я почувствовала ее прикосновение, я не хотела, чтобы она убирала руку. Пусть бы она лежала на моей щеке целую вечность. Но она отступила от кушетки и отвернулась, и пустота снова заполнила меня. И мне стало все равно. Временами я не понимала, сплю я или бодрствую, жива или уже умерла. Возможно, все это просто сон. Или, может быть, я в раю? Не важно. Я была не способна реагировать, я могла только смотреть. И ждать.

Через четыре дня мое тело ожило. Заболели и задергались мышцы. Когда я спросила Люси, что со мной было, она ответила, что ходила в библиотеку и нашла симптомы в медицинском справочнике. Временная кататония[28], такой диагноз она мне поставила.

По мнению Люси, волноваться было не о чем. Обычная нервозность перед свадьбой. Очень часто встречается. Мне станет лучше, когда выйду замуж. Когда я сделаюсь миссис Алекс Понизовский.

---

[28] Примечания: 28

Кататония, или кататонический синдром, — психопатологический синдром, основным проявлением которого являются двигательные расстройства.

* * *

Несколькими днями позже, за ужином, Хелен рассказывала нам о вечеринке, где они с Джорджо побывали накануне. Она упомянула, что там присутствовала Хейзел Гуггенхайм и что она прекрасно поет. Я заметила, как Алекс непроизвольно резко обернулся. И в его глазах зажегся свет. Наши взгляды на мгновение встретились. Он понял, что я все видела. И все знаю.

Резкие порывы апрельского ветра хлопали нас по лицам, покрывая щеки свежим румянцем. Мы с Алексом гуляли в Люксембургском саду и любовались россыпью желтых нарциссов на фоне ярко-зеленой травы. Перед нами возвышалось то самое дерево, что некогда вдохновило меня и подарило идею для танца о старом платане и молодом побеге, который пытается выжить в его тени. Я вспомнила, как рассказывала о нем Беккету. И как думала, не согласится ли Зельда Фицджеральд участвовать в постановке. Как давно это было. Сто лет назад…

Мысль о Беккете вернула меня в настоящее, поскольку именно его я хотела обсудить с Алексом. О, и, конечно, Хейзел Гуггенхайм. Я призналась

Алексу, так мягко и осторожно, как только смогла, что, разумеется, люблю его, но все еще влюблена в Сэма Беккета. И что это несчастная, односторонняя любовь, что Беккет разбил мне сердце, и, по правде говоря, я пока еще так и не оправилась от удара.

Алекс ничего не ответил. Он сжал губы и смотрел вперед. Но я заглянула ему в лицо и увидела, что его глаза полны слез. И я продолжила этот нелегкий разговор, как хирург, которому необходимо как можно быстрее завершить операцию. Я сказала, что знаю о его чувствах к Хейзел Гуггенхайм, что я далеко не дурочка. Я заметила, что была с ним совершенно откровенна и ожидаю такой же откровенности от него.

Алекс сделал глубокий вздох и рассказал мне о Хейзел. В течение трех лет между ними была любовная связь, и по тону его голоса я догадалась, что он все еще любит ее. Она в третий раз вышла замуж, ждала очередного ребенка, но все равно продолжала заводить интрижки с другими мужчинами. Как оказалось, двое ее детей упали с крыши дома в Нью-Йорке и разбились насмерть, а отец утонул на «Титанике». И она ни в коем случае не та женщина, добавил он, которую он хотел бы видеть своей женой.

Наша честность друг с другом и печаль, которую мы оба чувствовали, кажется, еще больше сблизили нас с Алексом. Две недели мы ежедневно разговаривали, часами, то по телефону, то прогуливаясь по улицам и паркам Парижа… иногда за обедом в каком-нибудь немодном ресторане, где никто не смог бы нас узнать или подслушать. Мы беседовали о любви и сексе. Рассуждали обо всех за и против браков по расчету, поскольку теперь мы не питали иллюзий. Наш брак был браком по расчету. Говорили о том, чего мы оба хотим — детей, тихий спокойный дом с телефоном, собаку с длинными ушами. Я сказала, что всегда мечтала иметь сад с желтыми нарциссами, которые раскрывались бы по весне. И он улыбнулся. И сказал, что ему это очень нравится.

Я разговаривала со всеми, кого знала, о том, что называла теперь «святой троицей»: любовь, секс и брак. Так ли необходимо выходить замуж или жениться? Насколько важно при этом любить супруга? Насколько важен секс? Можно ли любить сразу двоих? Можно ли любить одного мужчину, но при этом быть влюбленной в другого? Неправильно ли вступать в брак с одним человеком, но любить при этом другого? Можно ли заниматься с кем-то сексом, но не любить? Эти вопросы сыпа-

лись на горничную Леонов, на Хелен, на Киттен. Но родителям я ничего не говорила. Алекс сказал, что лучше не посвящать их в подробности наших отношений.

Когда я сообщила ему, что хотела бы снова начать танцевать, возможно, открыть вместе с Киттен школу танцев, Алекс ответил: «Конечно». Он бы никогда не стал запрещать своей жене танцевать, заметил он. В отличие от мистера Фицджеральда…

— Тебя спрашивают по телефону, Лючия. Твой отец. — Миссис Леон сделала жест в сторону холла, где на мраморной подставке стоял телефонный аппарат из красного дерева и меди. Я положила кисть, откинула с лица волосы и кивнула.

— Здравствуй, баббо. У вас все хорошо?

— Укладывай вещи, Лючия. Нам нужно, чтобы ты поехала с нами в Лондон. Мы должны провести некоторое время на Кэмден-Гроув, чтобы подтвердить наше британское подданство. Что также подтверждает и твою законнорожденность. — Голос баббо вплыл мне в ухо и осел в голове. Лондон? Кэмден-Гроув? Я даже не знала, что у нас все еще есть квартира на Кэмден-Гроув. Жалкая, убогая квартирка, где постоянно стоит

грохот от проходящих под землей поездов, в коридоре мерзко пахнет тушеной капустой и плесенью, а на тротуаре перед дверью валяются кучки собачьего дерьма.

Я молчала.

— Теперь, когда ты вот-вот выйдешь замуж и, возможно, сама станешь матерью, ничто не должно подвергать сомнению тот факт, что ты — законнорожденный отпрыск. Уверен, что ты это понимаешь, Лючия.

— А почему Джорджо не надо ехать? — с подозрением поинтересовалась я.

— Мы бы хотели, чтобы нас сопровождала ты, mia bella bambina. Закон не требует, чтобы вместе с нами в квартире проживали наши дети, но это может укрепить наше положение.

— Значит, я могу остаться здесь? Или у Хелен и Джорджо? — Я взглянула на телефонные провода и подумала, как легко было бы перерезать их. Один щелчок ножниц — и все. И забыть о баббо и об этом разговоре.

— Мистеру и миссис Леон нужна свободная комната — к ним приезжает гость, а у Хелен и Джорджо теперь нет лишней спальни. В ней, кажется, поселилась няня. Не беспокойся, это совсем ненадолго.

Я поняла, что, в сущности, мне предлагается некий выбор, хотя и извращенный. Я могла отправиться с ними в Лондон на несколько дней или остаться в Париже. Только не у семьи Леон. Но как только я подумала о чемоданах, о том, что нужно складывать вещи и снова куда-то переезжать, у меня заныло сердце.

— Мне негде остановиться в Париже, баббо. Ты дашь мне денег на комнату в отеле?

— Сейчас у меня нет на это денег, Лючия. Мы в самом деле едем на очень короткое время. И мы хотели бы, чтобы ты была с нами. Я устрою тебе маленькую художественную студию в гостиной.

— Хорошо, — вздохнула я. — В таком случае я возьму с собой лишь саквояж. Что мне сказать Алексу — сколько я буду в отъезде?

— О, совсем недолго, как я уже говорил. Совсем недолго. — В голосе баббо послышалось явное облегчение, словно он только что успешно прошел по канату и теперь стоит на площадке по другую сторону, целый, невредимый и торжествующий. — Лондон весной — это ни с чем не сравнимое удовольствие, Лючия. Уверен, мы прекрасно проведем время.

Лишь когда мы прибыли на вокзал Гар-дю-Нор и я увидела огромную кучу чемоданов, сун-

дуков и шляпных картонок, заблаговременно посланную родителями к поезду, меня посетило тошнотворное ощущение дежавю. Двое грузчиков засовывали в поезд сундук за сундуком, на которых ясно значилось «Джойс». Они тяжело дышали, по их лицам бежали струйки пота. Я смотрела на них, приоткрыв рот. А тьма внутри поднималась, как волна, и Она, чудовище, тоже проснулась и загрохотала прутьями клетки, злобно и негодующе, как будто хотела кого-то в чем-то обвинить.

— Ты передал квартиру арендодателю, баббо? — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее и размереннее.

— Ты ведь знаешь, что да, — бросила мать, воюя с развязавшейся шляпной картонкой.

— Значит, теперь у нас нет квартиры в Париже? — снова спросила я. Глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох.

— Нет у нас квартиры в Париже. У нас есть квартира в Лондоне, туда мы и отправляемся. Мы не можем себе позволить две. А теперь возьми-ка эту картонку и полезай в вагон.

Я посмотрела на баббо — подтвердит ли он все это. Он сунул одному из грузчиков целых пятьдесят франков и царственно кивнул. Натолк-

нувшись на мой взгляд, он сморгнул, положил кошелек обратно в карман и сказал:

— Так что же, мы готовы взойти на борт?

Я в ужасе таращилась на него, не в силах оторвать взгляд. Мое дыхание участилось, из груди стали вырываться хрипы. И внезапно Она вырвалась из клетки, и я завыла, как дикое раненое животное. Я запрокинула голову и выла, так громко и отчаянно, что возле нас останавливались люди и пялились на меня. Мои глаза вращались в глазницах, как у испуганной лошади, белые от паники. Я не хотела ехать в Лондон. Я не хотела жить с родителями. Оставлять Алекса… Алекса, моего будущего мужа…

Минут через двадцать или около того (мне рассказали об этом позже, в тот момент я не имела понятия ни о времени, ни о пространстве) мои завывания постепенно стихли, и я тоненько заскулила. Баббо беспомощно стоял напротив, опустив глаза, чтобы не встречаться взглядами с зеваками. Мать, с ярко-розовым, словно обожженным кипятком лицом, приказывала грузчикам доставать весь багаж обратно. Каждый чемодан и сундук вынимался из вагона и водружался на платформу.

Когда все вещи снова оказались там, где и были,

я почувствовала себя лучше. И Она, чудовище, снова убралась в клетку, уставшая и покорная. Мое тело перестало трястись, плечи больше не вздымались, слезы остановились. Наконец я настолько пришла в себя, что смогла вытереть глаза и оглядеться. Родителей закрывала гора багажа. Когда они вышли из-за нее, баббо взял меня за локоть и повел к выходу. Он сказал, что мы идем ужинать, а потом найдем какой-нибудь отель. У матери было черное лицо. Она любила Лондон, и я знала, что она в бешенстве оттого, что я нарушила их планы. В какое-то мгновение, когда никто на меня не смотрел, я позволила себе слабо, едва заметно улыбнуться.

В ту ночь, в роскошном отеле на рю де Бассано, мне снилась «Лючия ди Ламмермур» Доницетти. Не сама опера, не музыка — в моем сне все было совершенно беззвучно. Нет, мне снилась сама Лючия, моя тезка, преданная собственным братом, вынужденная выйти замуж за человека, которого она не любит, сошедшая с ума и заколовшая мужа кинжалом. Я подняла кинжал высоко над головой и вонзила его в сердце какого-то безликого человека. Я поднимала и опускала его снова и снова, снова и снова кинжал входил в плоть, но тело не желало умирать. Оно подерги-

валось, вздрагивало, но не умирало. А потом я проснулась, как всегда мокрая от пота, замерзшая и напуганная.

Мы — мать, баббо и я — вернулись в тоскливую квартиру в Пасси. К счастью, за это время арендодатель не успел сдать ее другому жильцу, так что она была все еще свободна. Но, к несчастью, места в квартире Леонов для меня не было. Нескончаемая болтовня матери приводила меня в исступление, и, выйдя из себя три раза за четыре недели, я решила переехать к «льстецам», ирландским друзьям родителей.

Однажды вечером ко мне зашел Алекс. Я приготовила для всех ужин, а потом он спросил, не хочу ли я сегодня сходить с ним в театр. Я с удовольствием согласилась и тут же надела пальто и шляпу. Мы уже стояли у дверей, когда подошли «льстецы» и запретили мне выходить из дома. Мы с Алексом изумленно воззрились на них. Я сказала, что отправляюсь в театр со своим женихом, хочется им того или нет.

— Я пообещал, что никуда вас не выпущу, — сурово произнес мистер «льстец».

— Я покинула дом своего отца не для того, чтобы вы указывали мне, что делать! — Я крепко затянула пояс на талии и взялась за дверную

ручку. Как он смеет меня контролировать?

— Вы не можете никуда идти! — повторил мистер «льстец» и поднял руки. Под мышками у него затвердели соляные круги от пота.

Алекс переминался с ноги на ногу в коридоре, и вид у него был смущенный.

— Может, и в самом деле останемся? — тихо спросил он. — Сыграем в карты.

— Я пойду туда, куда собиралась! Одна, если потребуется! — Я распахнула парадную дверь и начала решительно спускаться по лестнице.

— Я не выпущу вас, Лючия! Вы никуда не пойдете! — крикнул мне вслед мистер «льстец». А затем я почувствовала его руку на своем плече.

Чудовище в клетке шевельнулось. Я замерла. Пальцы мистера «льстеца» все крепче сжимали мне плечо. Она издала глубокий возмущенный стон. Я подумала, что сейчас меня охватит хорошо знакомая вспышка ярости. Но ничего не произошло. Ничего не вырвалось наружу. Только тонкий, приглушенный всхлип унижения.

— Вы выиграли, — сказала я. У меня больше не было сил бороться, моя энергия иссякла. Я вспомнила о Лючии ди Ламмермур. Ждет ли и меня такая же судьба?

Я медленно поднялась наверх, с тяжелым серд-

цем, сломленная, разбитая. Мистер «льстец» шел за мной и извинялся. Я не обращала на него внимания. Мы вернулись в квартиру. Ни Алекса, ни миссис «льстец» там почему-то не было. В воздухе еще витал запах нашего ужина, но температура в комнате упала, как будто по ней пролетел ледяной ветер. Я взглянула на свои руки — они покрылись мурашками. Я села за обеденный стол и стала ждать Алекса. Где-то в глубине квартиры миссис «льстец» закрыла окно; затем хлопнула дверь. Наверное, это он, вышел из ванной, решила я. Мне вдруг захотелось обнять его, спрятать голову у него на груди, почувствовать, как ровно бьется его сердце. Все исправится, когда мы поженимся, напомнила я себе. Когда я наконец-то буду свободна и снова смогу танцевать.

Появилась миссис «льстец». Вид у нее был одновременно сконфуженный и официозный. Вероятно, она искала колоду карт, чтобы мы с Алексом сыграли в рамми, подумала я.

— Где Алекс? — спросила я. Так устала, что еле сумела повернуть голову, чтобы посмотреть на нее.

— Ушел, — коротко ответила она, собирая со стола стаканы.

— Что? — нахмурилась я. В квартире был толь-

ко один выход, через парадную дверь. Я не могла его пропустить — мы только что были там с мистером «льстецом».

— Окно в ванной комнате было открыто, — несколько обескураженно сообщила она. — Должно быть, он вылез в него.

Она поставила стаканы обратно и двинулась ко мне, но я вскочила со стула, чуть не сбив ее с ног, и выбежала из столовой. Оттолкнув с дороги мистера «льстеца», который заводил часы в коридоре, я бросилась в ванную. Длиннохвостый попугай в клетке приоткрыл сонный глаз и посмотрел на меня со своей жердочки. Я распахнула окно ванной и обежала взглядом черепичные крыши. Внизу мелькнул светлый льняной костюм Алекса — он спускался по приделанной к стене пожарной лестнице. Я хотела окликнуть его, но колокола церкви Сен-Сюльпис начали свой нескончаемый звон. Он бы все равно меня не услышал. На улице, в сточной канаве, орали дерущиеся коты. Алекс скрылся из вида.

Кровь во мне закипела и багровой волной поднялась к горлу. Мистер и миссис «льстец» оказались рядом. Они держали меня за плечи, гладили по голове. И Она оскалила зубы и с такой яростью и ненавистью впилась в прутья клетки,

что я поняла: теперь я никогда не смогу удерживать ее в цепях.

Алекса Понизовского я больше не видела.

Три дня спустя к мистеру и миссис «льстец» зашел Джордже Он сказал, что внизу нас ждет такси и мы едем обедать с мамой и баббо. Я надела пальто и шляпу и спустилась по лестнице.

— Где мы обедаем? — спросила я.

Он немного поколебался и ответил, что в «Прунье». Это был один из его самых любимых ресторанов. Через пятнадцать минут я заметила, что шофер свернул не туда, и указала на это Джорджо, который с каменным лицом смотрел в окно. Он безразлично покачал головой, давая понять, что мне не о чем волноваться. И я продолжила беззаботно любоваться яркими, словно восковыми тюльпанами в оконных ящиках и лиловой сиренью, тяжелые ароматные кисти которой гнули ветки к земле.

Еще через некоторое время я обратила внимание, что мы направляемся к окраине Парижа, и подозрительно взглянула на Джорджо.

— Мы едем совершенно в другую сторону. Вовсе не к «Прунье». Мы только что миновали парк Монсо. Куда ты меня везешь?

— Это сюрприз. Мы едем обедать, как я уже

сказал. — Не отрывая глаз от окна, он поправил накрахмаленный воротничок.

— Но мама и баббо там будут? — не отставала я.

— Это сюрприз, — повторил он, и его дыхание затуманило стекло.

— Я тебе не верю.

Я крикнула водителю, чтобы он остановил автомобиль, но он меня как будто не услышал. И кажется, только набрал скорость. Я рванула дверцу, но Джорджо был к этому готов. Он притянул меня к себе и прижал мою голову к своей костлявой груди.

— Тебя нельзя было выпускать из «Мезон де санте», — холодно и бесстрастно произнес он. — Сцена, что ты устроила на вокзале… потом четыре дня молчания после празднования твоей так называемой помолвки… половину времени ты проводишь в кровати, отказываясь разговаривать, а в остальное время бесишься, и тебя совершенно невозможно вразумить. Я знаю, что на прошлой неделе ты дала маме пощечину. Как будто недостаточно того, что ты швырнула в нее стулом! Даже Алекс считает, что у тебя не все в порядке с головой. Иначе зачем ему было выпрыгивать из окна? Только чтобы улизнуть

от тебя! — Он сделал паузу и еще крепче впился в мои запястья. — В отличие от отца я не верю, что безумие можно излечить. И я не допущу, чтобы ты сходила с ума на глазах моих друзей и знакомых и моей семьи. Я не допущу, чтобы ты позорила наше имя, имя матери, имя отца! Этого не будет!

Он снова отвернулся к окну, не отпуская меня. Я посмотрела на своего родного брата, теперь моего тюремщика, и что-то холодное и скользкое проползло у меня по спине. И в самых темных закоулках памяти забрезжила какая-то мысль. Что-то из прошлого. И оно пугало меня больше, чем все остальное.

За окном пролетали деревья, дома, фонари, женщины с детскими колясками, мужчины с собачками на поводках, клумбы с тюльпанами. И мне казалось, что кто-то или что-то высосал из них все цвета и высосал весь свет из неба. Силы покинули меня. Я не могла больше бороться. Даже Она оставила меня. Я была пуста и измучена. Они отняли у меня все.

Единственная слеза скатилась у меня из глаза.

— Вы победили, — прошептала я. — Вы победили.

Джорджо отвез меня в «Л'Ай-ле-Роз», приют для

душевнобольных. Там мне предписали пребывание в одиночной палате. Он подписал согласие на лечение, что означало — я потеряла статус взрослого человека и все свои права. С того дня я стала законной пленницей врача. С того дня только доктор мог определять, что мне делать. С того самого дня и до сих пор за мной следили, охраняли и запирали под замок.

Декабрь 1934 года

Кюснахт, Цюрих

— И после этого вы переходили от врача к врачу? — Доктор Юнг барабанит пальцами по последней странице моей рукописи.

— Да. Вы двадцатый. И у меня было двенадцать медсестер и восемь «компаньонок», как называет их баббо. А я называю их сторожами и шпионами. *Почему у него такие грязные ногти? Что он делал? Полумесяцы черной грязи на каждом пальце… улыбаются мне, смеются надо мной…*

— И никакого определенного диагноза, согласно словам вашего отца. — Доктор поправляет очки и хмурится.

— Нет. Так много диагнозов… *Преждевременная деменция, гебефрения, шизофрения, сифилис, гор-*

мональный дисбаланс, циклотимия, кататония, невроз… и все эти уколы… ежедневные инъекции морской воды… инъекции сыворотки, изготовленной из тканей эмбрионов телят. И для чего?

— Одна вещь, с которой соглашаются все доктора, опять же согласно докладу вашего отца, — это ваше стойкое неприятие любых ограничений или лишения свободы действий. — Очки доктора снова сползли на нос, и он смотрит на меня поверх них.

— Я танцовщица! *Все ли еще я танцовщица? Или художница? Или хоть кто-нибудь? Кто я? Насекомое? Заключенная… вот кто я теперь! И больше ничего…*

Я замолкаю и отираю лицо руками. И в который раз натыкаюсь взглядом на красный шрам на большом пальце, сморщенный и ребристый. Доктор тоже молчит, и поэтому я продолжаю:

— Не давать танцовщице танцевать — преступление. Разве удивительно после этого, что я дошла до последней черты? *Все эти смирительные рубашки, кожаные варежки, одиночное заключение, решетки на окнах, бесконечный звук поворачивающегося в замочной скважине ключа, все эти глаза, наблюдающие, следящие, проверяющие, подглядывающие, шпионящие…*

— В самом деле. — Доктор Юнг смотрит в свои заметки. — Причем некоторые специалисты считали, что с вами все в порядке. Легкий невроз, по заключению одного. Никаких признаков психоза, по заключению другого.

— Доктора!

Я встаю и подхожу к окну. *Какая я негибкая… каким неподатливым сделалось мое тело… я, выступавшая на самых известных сценах Парижа… я, танцевавшая с самыми знаменитыми танцовщицами мира… кто я теперь?*

— Вы не возражаете, если я закурю трубку? — Он не ждет моего ответа, засовывает в рот трубку и попыхивает ею. — Я могу вас вылечить, мисс Джойс. Но только если ваш отец уедет из Цюриха. Нельзя форсировать процесс трансформации, но без этого мое лечение не будет иметь эффекта. — Дым вырывается из трубки завитками, похожий на виноградную лозу.

— Почему все всегда связано с моим отцом? *С моим отцом, который вытянул кровь, высосал жизненную силу, энергию из всех нас, из всего, что его окружало. Даже сейчас он говорит, что это его дар, искра его гения передалась мне и воспламенила мой мозг. Какая ерунда!*

Я отворачиваюсь от доктора Юнга и гляжу в

окно, на маленькую пристань, к которой пришвартована его лодка. Снег валит сильнее, зависает над озером и проваливается в черную воду.

— Возможно, Джорджо запер вас в лечебнице, чтобы в некотором роде уничтожить отца. Удалив вас, он удалил его музу, источник его вдохновения. Несомненно, так бы сказал доктор Фрейд. Он назвал бы это «эдиповым комплексом». И это также объясняет, почему ваш отец сейчас испытывает такие трудности с работой. — Доктор шумно сосет трубку. Я поворачиваюсь к нему. Он невидящим взглядом смотрит в потолок.

— Все «льстецы» говорят, это я виновата в том, что работа над книгой никуда не движется. По их мнению, я отвлекала его и продолжаю отвлекать. *Как же я ненавижу всех этих «льстецов»… как они благоговейно склоняют перед ним головы, пресмыкаются, раболепствуют…*

— Ваш отец твердо намеревается вылечить вас. Он не желает принимать тот факт, что у вас психическое заболевание. Потому что если он с этим согласится, то должен будет согласиться и с тем, что он и сам страдает от того же. Но давайте вернемся к Джордже — Доктор разгоняет густую завесу дыма, которая скрывает нас друг от друга.

Да, Джорджо… двурушник, предатель, Иуда. Это он сдал меня врачам, это он провозгласил меня сумасшедшей, изменил мою судьбу. Но не ради того, чтобы лишить баббо его музы. О нет! Причина всегда крылась совсем в другом… Как вы ошибаетесь, доктор Юнг! Чудовище вздрагивает, ворочается, просыпается.

— Итак. Почему ваша мать настояла на том, чтобы вы прекратили спать в одной комнате с Джорджо, мисс Джойс?

Она двигается, трясется внутри меня, извивается, готовясь к атаке. Я чувствую, как Она выпускает когти, как улыбаются Ее губы, как изгибается Ее тонкое тело, как Она бьет хвостом. И тьма. Тьма тоже там. Она приближается. Идет за мной. *…Я должна сказать… пока не стало слишком поздно. Говори же! Она уже открывает пасть и издает ужасающий рык…*

— Мы нашли письма, — осторожно произношу я. Я вижу их как наяву — тонкие листки бумаги, сложенные в маленькие квадратики, испещренные чернильными пятнышками. *Почему это воспоминание вернулось? Зачем я это говорю?* — Они были в белой кожаной шкатулке… обитой изнутри белым атласом. Джорджо их нашел. Он искал что-то другое, а мамы и баббо не было

дома. — Я замолкаю и смотрю в окно. Ветер залепляет стекло хлопьями снега.

— Сколько вам было лет, мисс Джойс?

— Девять или десять, я думаю. — Снег скапливается на окне. *Какой он холодный. Какой холодный.*

— И вы прочли эти письма, мисс Джойс?

Я закрываю глаза, стискиваю колени и обнимаю себя руками, ощущая, как выдаются лопатки на спине. *Какая я теперь худая. Почему я такая худая? Худая, как насекомое. Как комар. Да, худая, как insect, насекомое. Это слово я видела тогда в тетради доктора. Вот только я неправильно его прочитала. Не «инсект», а… Я* чувствую биение сердца чудовища. Она снова ударяет хвостом. Нетерпеливо. Злобно. *Я такая худая. Мне нужно больше есть…*

— Письма, мисс Джойс, от кого они были?

— От моей матери. От матери к баббо.

Пути назад больше нет. Они снова пробираются, просачиваются в мою память, прыгают у меня перед глазами, мучают, дразнят… эти грязные, поганые слова. Такие отвратительные, такие непристойные, что они застревают у меня в горле, как куриные кости. Распутные, похотливые, сладострастные — я не могу их повторить. *Я ни-*

когда не произнесу вслух эти ужасные срамные слова, эти дикие, животные, порочные желания… Только не перед доктором Юнгом в твидовом костюме и накрахмаленной белой рубашке. Ни перед кем! Никогда!

— Вы их прочли?

— Джорджо прочел. Вслух.

У меня в ушах вдруг раздается звонкий мальчишеский голос Джорджо. Я зажимаю их руками, но он не пропадает. Я все равно его слышу. Как голос привидения, которое вернулось, чтобы мучить меня.

— Лючия, смотри, что я нашел! Письма от мамы к баббо. Они лежали в ящике баббо. В самой глубине! Мы можем прочесть их и узнать, будем ли мы жить в Ирландии.

Джорджо уже развернул один квадратик и впился в него взглядом, прищурив глаза. В окна било яркое солнце.

— Там не сказано, получим мы что-нибудь на день рождения в этом году или нет?

— Я не могу… я не… о! — Джорджо отводит взгляд и морщит нос.

— Я хочу котенка. Там не сказано о котенке?

— Там сказано о… о… — Джорджо посмотрел на меня и замолчал. Потом снова посмотрел на

письмо и закончил: — О том, чем занимаются взрослые.

— Как они убирают в доме, и выливают горшки, и разжигают огонь? Я тоже помогаю это делать!

— Я думаю, они делают еще кое-что. — Он нахмурился и вытащил из шкатулки еще одно письмо. — Ты знаешь, откуда берутся дети, Лючия?

— От Господа Бога. Дай мне тоже прочитать. Там про Бога?

Джорджо покачал головой. Он, вытаращив глаза, изумленно смотрел на письмо.

— Нет, про Бога там нет. Но там говорится о… про… п-писать, к-к-какать… и сосать.

Я прикрыла рот рукой и хихикнула:

— Фу!

Джорджо достал третье письмо и прочел его, с тем же выражением удивления и непонимания на лице. Он то и дело кривился, как будто откусил неспелое яблоко.

— Взрослые делают очень с-с-странные в-вещи.

— Что ты имеешь в виду? Прочти вслух, Джорджо! — Я немного заскучала. На кровати Джорджо лежала моя голая кукла. Нужно надеть на нее платье и шляпу. И пусть она выведет на прогулку медвежонка. — Покажи мне! — Я потянулась за

письмом.

Джорджо отдернул руку и глубоко вздохнул.

— «Я твоя птичка с коричневой задницей для е… Я наср… в трусы и лягу на живот, а ты сможешь поцеловать мою… мою задницу, а потом вы… меня сзади, как хряк свинью, а потом я сяду на корточки и насс…» — Он остановился и моргнул.

— Как противно! — Я хотела посмеяться, но это было уже вовсе не забавно. И Джорджо тоже не смеялся. — Насс… куда? В горшок?

— «На твой член, — безжизненным голосом закончил Джорджо. — И яйца».

— Яйца? — Я знала, что яйца несет курица, и мне было совершенно непонятно, почему мама хотела на них написать. И зачем ей какать в трусы, когда есть горшок? Это тоже было неясно. И почему она написала баббо о свиньях? И что еще за член такой? Что она хотела сказать?

Но Джорджо не обратил внимания на мой вопрос. Он читал дальше, шевеля губами и хмуря лоб.

— Значит, про моего котенка там ничего нет?

— Н-неужели все вз-вз-взрослые это делают? Так нас сделали мама и баббо? — заикаясь, проговорил он.

— Мы можем попробовать сделать это с куклой.

Ей нужен еще один ребеночек. Я достану яйцо и пописаю на него, как мама.

— Правда, попробуем? — Джорджо неожиданно перешел на шепот. — Быстро, Лючия. Задери свою ночнушку.

— Но мама меня отругает, если я испачкаю трусики, — возразила я. — И здесь нет яйца.

— Моя свистулька готова. — Он ухватился за подол моей ночной рубашки. — Мы можем быть как взрослые.

— Ты можешь сделать так, что у меня будет ребеночек? Своей свистулькой? — Я с готовностью подняла рубашку. Мой собственный ребеночек! У куклы Долли и у меня будет по ребеночку! Я легла на спину.

— Перевернись, Лючия. Я отделаю тебя, а потом ты отделаешь меня. Как мама с баббо.

Я почувствовала его губы на своей голой попке. Он покрывал ее мелкими торопливыми поцелуями.

— Ты уже сделал ребеночка?

— Еще нет. — Он уселся на меня верхом, и мне стало жарко.

А потом я почувствовала, как он писает мне на спину. Под моим животом лежали мамины письма, жеваные и измятые.

— Перевернись опять, Лючия.

— Только не мне на лицо… фу-у-у-у-у!

— Это чтобы был ребеночек, глупая!

Я неохотно перевернулась. Моя рубашка насквозь промокла, и в комнате сильно пахло мочой. Джорджо уже снял свою ночную рубашку и готовился сесть на корточки прямо у меня перед лицом.

— Тебе нужно это пососать. — Он показал на свой маленький бледный пенис.

— Что, правда? А я думала, надо пососать яйцо. — Я посмотрела на Долли. Эта глупая игра уже начинала мне надоедать.

— Это и есть мой член, глупая!

— Член! — Я схватилась за него, и он показался мне уже не таким маленьким. Он слегка распух и покраснел, как будто его искусали комары. Джорджо подставил его к моему лицу, и я увидела, что его тело дрожит. Мне вдруг совсем расхотелось играть. Джорджо пугал меня своей странной настойчивостью. Его глаза потемнели и остекленели. И мне не хотелось больше думать о письмах мамы. И о том, чем занимаются взрослые, и о детях. Я хотела надеть на Долли ее самую красивую шляпку и повести ее гулять, далеко-далеко. Я закрыла рот и двумя пальцами зажала

нос. Ладно. Я поцелую его свистульку один раз, а потом пойду играть с Долли. Я сложила губы, чтобы поцеловать Джорджо, и почувствовала, что его штучка скользнула по моим деснам.

Мне слишком жарко… в кабинете доктора очень жарко! Надо снять пальто… слишком жарко… А запах! Этот запах проник за мной даже сюда… Мне нужен воздух! Чистый воздух… горный воздух. Почему он не откроет окно? Эта вонь просто невыносима… меня тошнит… сейчас вырвет… Почему его не тошнит?

— Мисс Джойс, почему вы зажимаете нос? Что за запах вы чувствуете? Мисс Джойс! Мисс Джойс! Вы меня слышите?

Голос доктора звучит издалека, как будто он зовет меня из длинного туннеля. Очень длинного туннеля. *Из такой дали я едва его слышу… я далеко… очень далеко…*

— И поэтому ваша мать не разрешила вам спать в одной кровати с Джорджо? Лючия? Лючия, вы меня слышите?

А сейчас я вижу ее, маму, на коленях, она подтирает лужу, и кричит, и сыплет ругательствами. И она так сердится на меня. Очень, очень сильно сердится. И я чувствую запах чего-то горящего… яркие языки пламени мечутся в камине. И она

бросает в огонь все — свои письма, мокрую вонючую ночную рубашку Джорджо, мою грязную ночнушку. Комната полна дыма. И моя рука... как горячо! Невозможно горячо! Только не мою руку, мама! Только не руку! Пожалуйста! Я хотела, чтобы у меня был ребеночек, мама... Мы просто играли, мама... Она визжит... Ты это сделала, Лючия! Ты нашла чужие письма, ты заставила Джорджо их прочесть, ты завлекла его, как потаскуха, как грязная шлюха! Нет, мама, мы просто играли... И Джорджо молчит. Он не говорит ни слова.

— Лючия? Вы меня слышите?

В дверях баббо... он тоже кричит, зовет маму. У него вся голова в крови, и он кричит, и сжимает ее руками, и кровь капает сквозь пальцы на пол. И через завесу дыма я вижу его глаза, огромные и фиолетовые, как сливы. И он плачет, говорит, что ничего не видит, он ослеп и его жизнь кончена. А кровь все льется и льется, густая, алая. Он говорит, что со своим зрением не заметил фонаря и ударился о него со всей силы, что теперь он никогда не сможет ходить один, что его жизнь кончена, кончена...

— Лючия! Лючия! Вы меня слышите?

И мама кричит и на него... визжит, называет

его сумасшедшим извращенцем, говорит, что он и ее сделал извращенкой, что его походы по шлюхам и пьянство всех нас сделали извращенцами. И что его дьявольские грязные наклонности передались его дочери, превратили ее в шлюху, она лишила девственности собственного брата. И больше она не потерпит его шлюхиных болезней… и его мерзких желаний… И мою руку жжет, жжет так сильно… мне очень больно… мой большой палец сморщился и побагровел… он сожжен. И все это моя вина… это из-за моей порочности… Потому что я хотела ребеночка… и я заставила Джорджо сделать мне ребеночка… А в комнате пахнет мочой, и горелым, и жженой плотью… на полу лужи крови… это моя вина… я во всем виновата… Мама гладит Джорджо по голове и кричит на баббо. Он плачет, и из раны у него на голове идет кровь. А я сосу обожженный палец, скорчившись в углу…

— Лючия! Посмотрите на меня! Вы можете дышать? — Доктор стоит возле меня на коленях и держит меня за запястье, считая пульс.

Я опять зажимаю уши. И голоса затихают, запах исчезает, а за мной приходит тьма, ползет по коже, накрывает меня. Одна за другой через меня перекатываются огромные волны тьмы.

Я тянусь к чудовищу. Но Ее нет. Она ушла. Ее клетка пуста.

Я поворачиваю голову к окну и открываю рот. Мне дурно. Тошнит. Нужен воздух. Доктор бросается к нему и распахивает створки, и маленькая метель врывается в кабинет.

Я смотрю сквозь снег. Где озеро? Где леса? Ах… холмы! Далеко-далеко виднеются сине-черные холмы, расплывчатые, густо покрытые горными цветами. А снег все падает и падает. Так тихо, так мягко.

Доктор стоит надо мной, его рот то открывается, то закрывается, как у умирающей рыбы. До меня доносится его голос, и в нем звучит надежда.

— Я могу вылечить вас, Лючия. Я могу вас вылечить. Ваш отец должен покинуть Швейцарию, и тогда, клянусь Богом, я вас вылечу.

Он замолкает, и на несколько минут наступает тишина. Но потом я вдруг слышу музыку. Не знаю, откуда она. Из открытого окна, вместе со снегом, в комнату влетает коротенькая мелодия. Мой взгляд минует доктора, озеро и леса, сине-черные холмы с цветами, пелену снега…

И у самого горизонта я вижу тонкую бледно-розовую полосу. Что-то выходит из нее, приближается, подхваченное дрожащим лучом

света. Я, танцуя, подбегаю к окну. И в розовом свете далекого неба замечаю их — моих радужных дев. Только посмотрите, как они поднимают ноги… Смотрите, какой изящный подъем у их стоп… с тонкими голубыми венами и точеными косточками… Смотрите, как они кружатся и раскачиваются… струятся ко мне, как ручьи. О! Только поглядите, как они изгибают спины. И крутят плечами. Какие легкие и гибкие у них члены! Как они стремятся ко мне! Мои радужные девы пришли! Пришли… за мной!

Эпилог

Джеймс Августин Алоизиус Джойс сидел в тишине своей покрытой толстыми коврами и увешанной драпировками комнаты в отеле, закрыв голову руками. В последние дни одиночество ходило за ним по пятам, преследовало, как тень, которую невозможно стряхнуть. Или, скорее, как нарост, зоб или опухоль, выросшая на спине, у самого основания шеи. Может быть, служащие отеля втихаря смеются над ним. Может, ее видит не только он, но и все вокруг. Может, этот шарлатан, доктор Юнг, тоже ее заметил.

Он скучал по Норе. По тому, как она стряхивала пыль с его плеч. Он знал, что это перхоть, но Нора всегда говорила: «Да это только пыль, и больше ничего, Джим». По тому, как она поправляла его манжеты, и возилась с галстуком, и проверяла, крепко ли завязаны шнурки на его туфлях. Он скучал по тому, как она шла рядом с ним, гордо выставив вперед подбородок, величавая, словно носовая фигура корабля, поддерживала под руку и направляла в нужную сторону, чтобы он во что-нибудь не врезался. А ее голос! Он бы сделал что угодно, только бы услышать ее голос. Но он

уже звонил ей три раза сегодня утром, и в последний раз она уже еле подавляла раздражение. Надо будет позвонить ей еще, позже. И возможно, спросить опять — в последний раз! — не хочет ли она приехать к нему в Цюрих.

Он взял в руки голубой мелок, которым писал. Вернее, пытался писать. Он должен написать хотя бы одно слово этим утром. Лучше бы пять слов. Если он сможет написать пять слов до того, как придет Лючия, то будет счастлив. Одно короткое предложение. Одно короткое предложение в день. Этого будет достаточно. Он снял очки и быстро протер глаза. И почувствовал, что в них стоят слезы. Теперь у него всегда были слезы на глазах. Все думали, что это из-за болезни. Но на самом деле это было не так.

Глаза, гроза, слеза, егоза. Все это вошло в его книгу. Книгу, которую он никак не мог закончить. «Поминки по Финнегану». Название, разумеется, держалось в тайне. Но вчера он открыл его Лючии, когда они плясали джигу, кружась по комнате. Он объяснил ей все про игру слов, многослойность значений слов, двойные двусмысленности. Конечно же она все поняла. И ее ответ был полной противоположностью ответа Норы. Когда много лет назад он рассказывал о

том же самом своей жене, она лишь посмотрела на него пустыми глазами и сказала: «Ты и твои слова, Джим». И только. Но Лючия все поняла. А когда он заметил, что эта книга задаст ученым работы лет на триста, она откинула голову и захохотала, не сдерживая злорадства.

Он вдруг ощутил укол гнева. Почему доктор Юнг только и твердит о его, Джима, влиянии на Лючию? Иногда он воображал, как смыкает руки на толстой шее этого невежи и душит его. Почему никто не понимает, как *она* влияет на *него?* «Поминки по Финнегану», этот толстый пестрый гобелен, сотканный из слов, эта запутанная сеть языков, были ее книгой. Он не смог бы написать ее без Лючии. Почему все говорили о его гениальности, но никогда — о ее? Он посмотрел в окно и заметил, что снова идет снег. Яркая белизна резала ему глаза. Он поправил очки и пристально вгляделся в нее, так что боль пронзила роговицы. Но что-то остановило его, и он не стал задергивать портьеры. Было что-то в том, как летели эти легкие хлопья, как они парили над землей, а иногда, подчиняясь порыву ветра, легко, словно дети мизинчиком, постукивали о стекло. Как будто снег просил разрешения войти…

Он приоткрыл окно, чуть-чуть, на одну щелоч-

ку, и ветер тут же выдохнул крошечную горстку слепленных вместе снежинок ему в лицо. Они осели у него на лбу и в мгновение растаяли. Влага смочила стекла его очков. Он затворил окно и снова посмотрел на снег. Ему показалось, что снежинки пляшут, кружатся, забыв обо всем, в диком прекрасном танце. Лючия! Она пришла! И в этот момент слова хлынули к нему в голову. Он взял мелок и начал писать.

«Этак и так, туда и сюда, на пальчиках ног, на кончиках пальцев они крутятся, вертятся, вьются, вальсируют, ибо они есть ингеллес, кивающие, словно девы, что могут… И они выглядят так мило, сама любовь, освещенная любовью, заарканенные брачной ночью».

На секунду ему показалось, что он не пишет, но танцует со словами. Он сделал паузу, посмотрел в окно. Снег кружился и пел. Он почувствовал, как его захватывает этот водоворот, и закрыл глаза. И перед ним снова предстала она. Она была везде, в каждой снежинке, в каждой ниточке его памяти, в каждом волоконце его тела, в каждом слове его отвратительной книги. Он снова начал писать, и слова сами вылетали из-под мелка, из его пальцев.

«В последний раз в своей маленькой долгой

жизни она собрала воедино все мириады ее дрейфующих сознаний в одно… Легкое платье затрепетало. Она ушла. И в реку, что была потоком, упала слеза, единая слеза, самая прелестная из всех слез…»

Какой поток мыслей и слов — это словно наткнуться на золотую жилу, подумал он. Ударить в нее с такой силой, что осколки золотой руды, целые яркие слитки, взлетят в воздух. И как искусно, как ловко и проворно он подхватывал их. Он положил мелок и стал подсчитывать слова, но никак не мог сосредоточиться. То и дело сбивался со счета, путал слова и предложения, однозначные и двухзначные числа. В конце концов он бросил это занятие. Еще одна мысль всплывала на поверхность сознания. Поднималась все выше. Уверенно. Резко. Он почувствовал, что мысль принимает форму и отвердевает, как застывающая глина.

Он застыл. Слова возились на языке, требовали, чтобы их произнесли вслух.

— Она не вылечится, пока я не закончу эту книгу.

Он снял очки, нажал ладонями на глаза. Эти нескончаемые слезы… Остановятся ли они когда-нибудь? Он чихнул и снова надел очки.

— Когда я покину эту темную ночь, она тоже исцелится.

Пространство вокруг искривлялось. Снег стучал в окно.

Он осторожно положил руку на рукопись. Он может вылечить ее! И вылечит! Но только окончив эту проклятую книгу. И он опять взял мелок.

«Я отхожу. Умираю. О горькая кончина! Я ускользну еще до того, как они проснутся. Они никогда не увидят. И не узнают. И не соскучатся. И это старо, и старо есть печально, и старо есть печально и устало, я возвращаюсь к тебе, мой холодный отец, мой холодный безумный отец, мой холодный безумный страшный отец… Мои листья облетели с меня. Все. Но один еще держится, лепится ко мне. Я удержу его. Понесу на себе. Чтобы напоминал о. Лфф! Так мягко это утро наше. Да. Понеси меня, бапа, как на той игрушечной ярмарке…»

Историческая справка

После четырех месяцев, что Лючия провела в санатории в Кюснахте, К. Г. Юнг отказался от лечения, мотивировав это тем, что дальнейший психоанализ возможен, но исход его неясен, и он даже может вызвать ухудшение. Джойс, который не доверял ни психоанализу, ни лично Юнгу, забрал Лючию из Кюснахта и поселил в том же отеле, где жил сам, вместе с медсестрой. В течение всего периода лечения Юнг и его ассистенты искали в прошлом Лючии тайну, связанную с сексом, но она всегда закрывалась в ответ на расспросы. Позже он сжег все заметки и записи, связанные с Лючией, продолжал считать Джойса источником всех ее бед. Известны его слова: «Они оба опускались на дно океана, но он нырял, а она тонула».

В начале 1935 года покровительница Джойса Харриет Уивер, а также другие люди, поддерживавшие его, потеряли надежду на то, что он когда-либо закончит «Поминки по Финнегану». Главной помехой этому они считали Лючию. Харриет Уивер и помощник Джойса Пол Леон сговорились и отправили ее в Лондон, чтобы Джойс

мог продолжить писать. Лючия не протестовала — она отчаянно хотела снова увидеть Беккета. Вместе с сопровождающими она уехала в Лондон, где Беккет так же проходил курс психоанализа после смерти своего отца. Нет никаких сведений о том, что между ними произошло, за исключением фразы в одном из писем Беккета: «Тлеющий уголек Лючии вспыхнул и погас».

С этого момента Нора Джойс отказалась жить под одной крышей с Лючией. Прожив некоторое время в Лондоне с Харриет Уивер, Лючия отправилась в Ирландию, где провела несколько месяцев у своих кузенов. Там, согласно автору ее биографии, она пристрастилась к вероналу, который ей в больших количествах присылал отец, думая, что это поможет ей хорошо спать. Там же она совершила попытку самоубийства, прочитав интервью с Джорджо в New Yorker.

Лючия сбежала из дома, и в конце концов ее обнаружили в Дублине. Она жила и спала на тех самых улицах, о которых всю жизнь писал и говорил ее отец. Ее карманы были набиты потрепанными экземплярами «Поминок по Финнегану», также присланными Джойсом. Лючия рассказывала своим кузенам, что она — главная героиня и муза всех мест в книге, где говорится

о любви, танцах и безумии. Ее подобрал некий друг Джойса, который и вернул ее в Англию. Там она начала очередной курс лечения, и доктор прописал ей семь недель одиночного заключения. Как и раньше, чем сильнее Лючию пытались удержать, тем больше она сопротивлялась.

С этих пор всю свою оставшуюся жизнь Лючия провела в различных больницах для умалишенных, последней из которых стало заведение в Нортхемптоне, в Англии. Перебрав множество самых разных диагнозов, врачи в конце концов определили у нее шизофрению. Джойс до конца жизни искал для нее новые методы лечения, новых докторов, лучших сиделок и более продвинутые санатории. Он постоянно писал ей письма, не прекращая, говорил о ней и часто присылал подарки. И никогда не останавливался перед тратами, хотя они подвели его к финансовому кризису. В отличие от него Джорджо и Нора Джойс считали, что Лючию следует «запереть и забыть, и пусть она или выплывет, или утонет». Нора никогда не навещала свою дочь.

Джойс всегда верил в способности Лючии к ясновидению и говорил, что он и Нора были свидетелями «сотен» случаев проявления этих способностей и что ее «интуиция» была «потря-

сающей».

Хотя Лючия больше никогда не выступала на сцене, ее сияющие буквы («буквицы») были напечатаны в Pomes Penyeach в 1932 году, в The Mime of Mick, Nick and the Magpies в 1934 году и в A Chaucer ABC в день ее рождения в 1936 году.

Отец в последний раз посетил Лючию в 1939 году. К 1940 году нацистская Германия аннексировала Австрию, захватила Чехословакию, Польшу, Норвегию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Францию. В июне 1940 года немецкая армия вошла в Париж, где жила Лючия. И хотя многие душевнобольные и инвалиды были уничтожены, Лючия сумела избежать этой участи. Она видела войну из окон приюта в Северной Франции.

Джойс прилагал все усилия к тому, чтобы перевезти ее в Швейцарию, где было безопасно и где тогда жили он, Нора и Джордже После его смерти все связи с Лючией прервались. В конце концов Харриет Уивер привезла ее в Англию, где могла не выпускать ее из виду.

С 1951 года и до своей смерти в 1982 году Лючия жила в больнице Сент-Эндрю в Нортхемптоне. Ее единственной постоянной посетительницей была Харриет Уивер, а также крестница Харри-

ет, Джейн Лиддердейл. Однако Сэмюэль Беккет никогда не забывал Лючию. Он всегда присылал ей подарки ко дню рождения и писал письма. После его смерти среди его вещей была найдена фотография Лючии в костюме русалки, сделанная на Международном фестивале танца.

Лючия умерла 12 декабря 1982 года (вечером в канун Дня святой Лючии) и была похоронена в Нортхемптоне.

В 1938 году, после семнадцати лет работы, Джойс написал последние строки «Поминок по Финнегану». Позже он говорил, что видит глубокую связь между трудом над этой книгой и страданиями Лючии. Он умер двумя годами позже, в Цюрихе, не видев Лючию целый год, разбитый горем из-за того, что с ней произошло.

Нора умерла в Цюрихе в 1951 году, рядом с ней находился Джорджо Те самые «грязные письма», что она писала Джойсу, были уничтожены, однако письма Джойса к ней в конце концов были опубликованы и стали всеобщим достоянием. Есть мнение, что Нора участвовала в переписке только затем, чтобы удержать Джойса от посещения борделей Дублина, в то время как сама она оставалась в Триесте.

Джорджо покинул свою жену Хелен (миссис

Флейшман) в 1939 году. У нее появились признаки депрессии, затем ей был поставлен диагноз «невроз», а позже его изменили на «шизофрению». Он навестил Лючию в Англии лишь один раз, в 1967 году.

Многочисленные письма Лючии были уничтожены ее племянником, последним отпрыском линии Джойсов.

Послесловие

Сэмюэль Беккет стал одним из самых влиятельных писателей XX века и в 1969 году получил Нобелевскую премию по литературе. Считается, что прототипом для одного из персонажей его раннего романа «Мечты о женщинах, красивых и так себе» послужила Лючия Джойс.

Александр Колдер стал одним из великих скульпторов XX века и изобретателем так называемых «мобилей».

Зельде Фицджеральд был поставлен диагноз «хроническая шизофрения», и начиная с 1930 года она провела большую часть оставшейся жизни в заведениях для душевнобольных сначала во Франции, а затем в Соединенных Штатах. Она погибла при пожаре в психиатрической больнице в Ашвилле.

Стелла Стейн покинула Париж, чтобы учиться в школе «Баухаус» в Германии. Когда власть в стране захватили фашисты, она уехала из Германии и всю оставшуюся жизнь тихо жила в Лондоне. Время от времени она писала картины, которые можно найти во многих британских и ирландских коллекциях.

Алекс Понизовский едва избежал судебного иска за отказ от обещания вступить в брак. В 1942 году в Монте-Карло он был схвачен нацистами, и дальнейшая его судьба неизвестна.

Пол Леон был расстрелян нацистами в 1942 году. Однако перед этим он сумел спасти бумаги Джойса и личные вещи семьи, после того как они бежали из Парижа в 1939 году.

Эмиль Фернандес женился, но брак оказался неудачным. После его крушения у него родился ребенок от пятнадцатилетней девушки с Берега Слоновой Кости. Он так и не достиг таких же успехов в музыкальной карьере, как его кузен, Дариюс Мийо.

Систему движений Маргарет Моррис до сих пор практикуют во всем мире.